ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

В.П. АНИЧКОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ–ВЛАДИВОСТОК

(1917 - 1922)

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги родился в 1871 г. в родовом имении в Смоленской губернии. Окончил Коммерческое училище в Санкт-Петербурге и Высшее техническое — в Москве. Четверть века возглавлял отделение Волжско-Камского банка в Екатеринбурге, одновременно являясь директором-распорядителем Алапаевского горного округа.

В силу своего положения В. П. Аничков оказался в центре февральских и послефевральских событий на Урале и в Сибири.

Сразу же после Февральской революции Аничков вошёл в состав Комитета общественной безопасности. После прихода к власти большевиков и национализации банков автор пережил арест, бегство в леса Урала. В 1918 г. в его доме останавливался великий князь Сергей Михайлович, погибший от рук большевиков, следователь Н. А. Соколов, камердинер Императора Т. И. Чемодуров…

Значительное внимание в книге уделено периоду правления адм. А. В. Колчака. Аничков вошёл в состав Министерства финансов Омского правительства, деятельно участвуя в разрешении финансовых проблем Сибири того времени.

В 1919 г. Аничков переехал во Владивосток, где на протяжении трёх лет чередой сменяются правительства. В 1923 г., предчувствуя близкий захват Приморья большевиками, он покинул Россию и через Шанхай добрался до берегов Америки. В 1932 г. поселился в Сан-Франциско, где открыл первый русский книжный магазин «Русская Книга». Умер в 1939 г., похоронен в Сан-Франциско на сербском кладбище.

Воспоминания богаты живыми наблюдениями и редкими деталями.

- Владимир Петрович Аничков
  -
  - Часть первая
    - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
    - КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    - РАБОТА ИСПОЛКОМА
    - ПРАЗДНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
    - КРЕСТЬЯНЕ И РАБОЧИЕ
    - МИЛИЦИЯ И АРМИЯ
    - РЕФОРМА ПРАВОПИСАНИЯ
    - ТОРГОВЛЯ И ФИНАНСЫ
    - КОНЧИНА ИСПОЛКОМА

- ЛЕТО 1917-го
- «ЗАЁМ СВОБОДЫ»
- ПРИХОД БОЛЬШЕВИКОВ
- ВСТРЕЧА С КРЕСТИНСКИМ
- БОРЬБА В ШКОЛЕ
- МОЙ АРЕСТ
- НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
- ПОСЛЕДСТВИЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
- МЫСЛИ О КАПИТАЛЕ
- СМЕРТЬ ОТЦА

○ Часть вторая
- ПРИЕЗД ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
- ПАСХА
- ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ
- ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
- КРАСНЫЙ ТЕРРОР
- ЖИЗНЬ НА ЗАИМКЕ
- ВЫЛАЗКА В ГОРОД
- ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАРГАРИТИНО
- В ЛЕСУ
- ОЛЬГИН ДЕНЬ
- ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГ
- НОВОЕ О ТЕРРОРЕ
- ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИКОВ
- ПОХОРОНЫ ЖЕРТВ ТЕРРОРА
- ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЧЕХОВ
- ЧЕМОДУРОВ

○ Часть третья
- УРАЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
- СЪЕЗД БАНКИРОВ
- ПРИБЫТИЕ В ОМСК
- МОЙ ЮБИЛЕЙ
- В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
- РЕВИЗИЯ
- ВИЗИТ КОЛЧАКА
- ПРОФЕССОР ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО
- ВЕСТИ О ЛЖЕ-АНАСТАСИИ
- ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
- ПЕРЕЕЗДЫ И ВСТРЕЧИ
- ЭВАКУАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
- ВНОВЬ В ОМСКЕ
- НА ПУТИ В ИРКУТСК
- ИРКУТСК
- ПОСЛЕ ИРКУТСКА

- Часть четвёртая
  - ПРИБЫТИЕ
  - МЯТЕЖ ГАЙДЫ
  - БУДНИ
  - БАЛ
  - ОТЪЕЗД ЮНКЕРОВ
  - СОН НАТАШИ
  - ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА
  - ПРОБЛЕМА ЗОЛОТА
  - ОРГАНИЗАЦИЯ ФАБРИКИ
  - ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
  - ГЕНЕРАЛ БОЛДЫРЕВ
  - СВАДЬБА НАТАШИ
  - ДЕВАЛЬВАЦИЯ
  - Я БИРЖЕВОЙ ГОФМАКЛЕР
  - МЕНЯЛЬНАЯ КОНТОРА
  - БОЛЕЗНЬ НАТАШИ
  - БИРИЧ
  - НОЧНАЯ ТРЕВОГА
  - МЕРКУЛОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
  - БОЧКАРЁВ
  - ПОНЕДЕЛЬНИКИ
  - ДЕЛА КОНТОРЫ
  - ПОХОД НА ХАБАРОВСК
  - ПАДЕНИЕ МЕРКУЛОВЫХ
  - ПЕРЕВОРОТ ДИТЕРИХСА
  - ПРОЩАЙ, ВЛАДИВОСТОК

Владимир Петрович Аничков
Екатеринбург — Владивосток
(1917–1922)

Владимир Петрович Аничков

1917, Екатеринбург

Часть первая
РЕВОЛЮЦИЯ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Пока мы вели переговоры с губернатором, вести о происходящих в Петрограде событиях облетели весь город, и вечером 4 марта в думе вместо назначенного заседания гласных образовался митинг совершенно неизвестных нам людей, среди коих много было и солдат. Откуда только взялись эти подпольные ораторы?..

Трудно припомнить и передать, что именно говорилось на том многолюдном митинге, где слово брали ни перед кем не ответственные люди. Почти все они отличались недюжинными ораторскими способностями, большой наглостью и самым беззастенчивым отношением к подтасовке фактов и цифр. Словом, началось повторение того же безобразия, которое так поражало меня в революцию 1905 года. Государя иначе как «Николай Кровавый» никто не называл. Народу было так много, что городской голова предложил присутствующим перейти для развития прений в зал музыкального училища. Дышать было нечем. Нашлась масса ораторов. Что говорили они, передать трудно.

Мне, в качестве гласного, тоже пришлось выступать. Когда дали слово, в моей голове не было ни единой мысли. Я говорил в состоянии, похожем на сомнамбулический сон. Судя по громким и долгим аплодисментам, выступал я недурно и неглупо, и меня терпеливо слушали. Главной темой моего потока красноречия было уверение, что рано ещё радоваться наступившей революции. Если в настоящее время революционные завоевания настолько велики, что нет непосредственного опасения возврата к прошлому, то вся трудность переживаемого момента заключается в том, чтобы указать путь, по коему следует идти в дальнейшем. Этот путь я вижу в самоочищении от всяких скверных помыслов, в полном отречении от личных благ и в дружном направлении всех сил к одной цели — победе над врагом Родины. Неужели, говорил я, с наших рук сорваны оковы только для того, чтобы драться друг с другом? Нет, эти руки отныне свободны только для того, чтобы слиться в братских объятиях.

Не знаю, чем кончился этот митинг, ибо я покинул его часов в одиннадцать. Помню только, что особый успех выпал на долю некой Завьяловой, вероятно, потому, что это было первое робкое выступление женщины на местной политической арене. Впоследствии Завьялова играла большую роль в Екатеринбурге, в профессиональных союзах и Комиссариате общественного призрения, где она, будучи гражданской женой комиссара

Сосновского, тоже занимала должность комиссара.

На другой день вечером было решено устроить собрание думы в целях избрания комиссара с полномочиями, равными губернаторским. Но думский зал оказался захваченным толпой. Гласные собрались в комнате, где обычно шла работа всевозможных комиссий. Городской голова, надев цепь, открыл заседание. Я запротестовал. Ко мне присоединился Кванин, а за ним и другие гласные, и мы потребовали очистить зал от непрошеных гостей. Однако городской голова колебался и, видимо, боялся исполнить наше требование. Не знаю, чем бы это кончилось, но его выручил случай. К нам вошёл какой-то субъект и от имени демократического собрания заявил, что митинг закончен и постановлено образовать Комитет общественной безопасности. В комитет должно быть выбрано десять членов от демократии, столько же от солдат и офицеров, и таковое же число мест решено предоставить гласным по избранию думы.

Выдвинутое кем-то предложение о выборе только трёх депутатов отвергли и приняли моё предложение о заполнении всех десяти вакансий.

Мы перешли в думский зал заседаний.

Здесь единогласно было решено, что никто из гласных не имеет права отказываться от избрания на ту или другую должность. После этого приступили к выбору в состав Комитета общественной безопасности десяти гласных.

Выбраны были: Ардашев, Кенигсон, Замятин, Соколов, Питерский, Доброскок, Давыдов, Ипатьев, Степанов и я.

После выборов начались прения по наказу выбранным, причём к ним были допущены избранные демократическим собранием двадцать человек. Эти прения приняли страстный характер, особенно после выступления железнодорожника Толстоуха, воскликнувшего:

— Если вы не согласны с нами, то на поддержку демократии выступит весь Сто двадцать шестой полк.

Блестяще ответил ему Давыдов.

— Пусть не только полк, — во весь голос когда-то оперного певца кричал он, — а пусть весь гарнизон пожалует сюда, чтобы штыками заткнуть мне глотку. Но и тогда, пока хватит сил, я всё же буду говорить…

Но тут речь его была прервана входящей депутацией Сто двадцать шестого полка в полном составе во главе с полковником Богдановым. Торжественно-медленно продвигалась депутация. Остановившись перед городским головой, полковник заявил, что весь полк передаёт себя в распоряжение городского головы как представителя городского самоуправления и нового

правительства. Эти слова были покрыты несмолкаемыми и дружными аплодисментами. Минута была не только трогательная, но и внушительно-торжественная. Вслед явились депутации Сто сорок девятого и Сто двадцать четвёртого полков.

Заседание закончилось командировкой представителей вновь организованного Комитета общественной безопасности на большой митинг, собравшийся в городском театре. Выбрали всего троих: от военных — прапорщика Воробьёва, от демократической группы — Пиджакова, а от думской группы выбор пал на меня.

Театр был настолько переполнен, что мы с большим трудом пробрались на сцену.

Перед нашими глазами представилась никогда ещё не виданная картина… Театр был переполнен народом так, что становилось страшно. Казалось, не миновать катастрофы. Это было почти сплошное море солдатских шинелей с небольшими крапинками женского элемента и штатских граждан. Шум стоял невообразимый, все что-то кричали, и из общего гула многотысячной толпы явственно долетали слова: «Арестовать, арестовать, арестовать…»

Особенно запомнилась мне мощная фигура очень тучного лысого солдата, чей бас покрывал весь хор. И, как бы в пандан к нему, на барьере одной из лож бенуара стоял тоненький, маленького роста человек, судя по бритому лицу — актёр (что потом и выяснилось). Невероятно визгливым тенором, жестикулируя руками, с какой-то особой злобой и упоеньем он выкрикивал всё те же слова: «Арестовать, арестовать…»

Направо от меня, на сцене, впереди всех, стоял какой-то вдребезги пьяный прапорщик с солдатским Георгием и размахивал вынутой из ножен шашкой, как бы дирижируя ею перед обезумевшей толпой. Он кричал: «Губернатора, полковых командиров, жандармов — арестовать! Занять почту, телеграф, телефон и вокзал…»

Приехавший со мной прапорщик Воробьёв смело подошёл к нему:

— Вы пьяны, прапорщик, извольте вложить шашку в ножны, иначе я вас арестую.

— А вы кто такой, как смеете?.. — уже постепенно робеющим тоном возражал пьяный прапор.

— Я член Комитета общественной безопасности, и вы обязаны подчиняться мне. Слышите, что я вам говорю?..

Храбрый прапорщик, как ни был пьян, всё же опустил шашку и как-то бочком скрылся в толпе. Эта нелепая сцена привлекла внимание театра. Всё как-то сразу стихло. Воспользовавшись наступившей тишиной, Пиджаков объявил, что мы члены

Комитета, к которому отныне перешла вся революционная власть, и командированы сюда, чтобы об этом объявить народу.

Его слова были встречены криками «браво!» и дружными аплодисментами.

Беспокойного артиста, всё ещё выкрикивающего слова об аресте, Пиджаков попросил пройти на сцену.

— Всех арестовать, — прокричал артист напоследок, — губернатора, архиерея, полицмейстера!

— Вы кончили? — спросил я.

— Да, кончил.

— Граждане, успокойтесь! — обратился я к толпе. — Если кого надо будет арестовать, то это сделает Комитет общественной безопасности. Никаких самочинных поступков мы не допустим. Что же касается губернатора, то арестовывать нам его не придётся, ибо, пока мы митинговали, он выехал с поездом в Пермь, где ему, очевидно, не избегнуть ареста от своих же пермяков. Архиерей же пусть служит молебны. Он никому не мешает, и ставить ему в вину характер его проповедей вряд ли будет справедливо, так как ныне не только архиерей, но и всякий гражданин пользуется свободой слова…

Толпа молчала, как бы разочарованная в том, что ей так никого арестовать и не придётся.

В это время к толпе обратился с речью городской голова, только что приехавший из думы.

Он начал рассказывать о торжественном заседании думы и о признании себя единственной законной властью всеми депутациями местных полков.

— Обухов — вор! — закричал кто-то. — Долой его! Какая ему, вору, власть!

Толпа заулюкала, и городской голова скрылся за кулисами.

Не знаю, что было дальше. Меня попросили немедленно перейти в буфетную комнату для обсуждения вопросов, связанных с образованием Комитета.

Едва мы, выбранные от думы, вошли в узкую и длинную комнату буфета, как Пиджаков объявил заседание открытым, а Толстоух, отрекомендовавшись украинским хлеборобом, отдал приказ немедленно вызвать всех ротных Сто двадцать шестого полка. Не прошло и десяти минут, как в комнату вошли шестнадцать офицеров в походной форме и шинелях, с револьверами за поясом и шашками наголо и, встав против нас в четыре шеренги, совершенно изолировали нас от входа.

Ещё раз подтвердив, что заседание объявлено тайным и что каждый, кто не согласится с его решением, будет убит на месте, самочинный председатель предложил собранию немедленно

произвести аресты всех власть имущих, не исключая полковых командиров и штаба бригады, а затем занять караулами вокзал, почту и телеграф.

Инженер Бабыкин, оказавшийся здесь, сказал, что к вокзалу нужно подходить с большой осторожностью, ибо может случиться катастрофа.

Кенигсон попросил слова и начал указывать на полную бесполезность неорганизованных выступлений.

В ответ на это председатель предложил лишить слова всех присутствующих представителей буржуазной думы как жалких трусов.

Всё возмутилось во мне от этого наглого предложения. Сердце болезненно сжалось, голова начала кружиться, я был близок к обмороку. Помню только бледное, грустное лицо Давыдова, очевидно, тоже близкого к обморочному состоянию.

Я сорвался с места и бешено накинулся на председателя:

— Мы трусы? Нет, трусы, и позорные трусы, — вы! Вам надо всех арестовать, ибо вы боитесь за собственную шкуру, за тёмное прошлое, видя во всех и везде контрреволюцию. Да какой вы председатель, кто вас выбрал, как смеете вы объявлять заседание тайным и выносить резолюцию о лишении нас слова? Я заявляю, что не признаю вас председателем, и не желаю оставаться в этом заседании, а потому выхожу немедленно, — и с этими словами двинулся к выходу.

Стоявший рядом Питерский шепнул мне: «Смотрите, офицерам не приказано никого выпускать отсюда живыми». Но я шёл прямо на офицерские шеренги, которые расступились предо мной и шедшими вслед за мной гласными. И никто из офицеров не только не замахнулся шашкой, но и не проявил ни малейшего намерения к нашему задержанию.

Совершенно не сговариваясь, мы очутились в клубе.

Отлично помню, как, войдя в зал клуба, я был поражён присутствием массы клубной публики, спокойно игравшей в лото.

Знакомая картина… Какой нелепой представилась она мне в этот момент! Как, думалось мне, в России революция, только что я был в опасности, меня могли убить, да и не одного меня… Нет сомнения, что в эту ночь будут произведены аресты как нас, выбранных в Комитет гласных, так и всей администрации и полковых командиров. Возможно, эти аресты не пройдут вполне благополучно и не обойдутся без человеческой крови. А публика мирно играет в дурацкую игру. Нет, от этой публики не жди поддержки, не жди спасения, в ней наша гибель. И злое чувство закралось в мою взволнованную душу. О, как хотелось взять хлыст и перебить всю эту ожиревшую, глупую и развращённую

публику! Ничего, пусть играют, доберутся революционеры и до их толстой шкуры. И поделом, злорадствовал я.

Мои мысли были прерваны подошедшими ко мне Чистосердовым и Кролем.

— Необходимо сейчас же приняться за рассылку повесток представителям всех организаций с просьбой завтра к вечеру прислать в думу делегатов на организационное собрание Комитета общественной безопасности. Впрочем, об этом поговорим отдельно. Идёмте в библиотеку, там, вопреки обычаям клуба, нам накрыт ужин. Необходимо прочно и основательно сговориться.

Я пошёл в библиотеку, где застал за столом всех думцев, приехавших с тайного собрания в театр.

Нельзя сказать, чтобы настроение было весёлое.

Кажется, Кенигсон заговорил первым.

— Нет сомнения, господа, что компания, от которой мы уехали, сегодня ночью начнёт производить намеченные аресты. Конечно, дабы гарантировать себе личную безопасность, этим господам придётся прежде всего арестовать не согласных с ними.

— Да, — сказал всегда молчаливый Соколов, — а уж вас, Владимир Петрович, первого схватят. Ну и отделали вы их! Только не советую я вам в будущем выступать с такими речами. Я всё думал, что вас хватит кондрашка. Сперва вы сделались бледнее полотна, а когда вскочили, были красным, как кумач.

— Что же делать? — спрашивали все. — Нужно ли предупредить командиров полков о грозящей опасности?

— Пожалуй, это будет истолковано как донос.

— Совершенно верно, — подтвердил Давыдов. — Если мы их предупредим, то всё равно от ареста не спасём, поскольку против них идёт офицерство. А вот себя в корне дискредитируем…

— Молчать и ждать спокойно событий?..

На этом и порешили. Так велики и сильны были традиционные понятия о рыцарской чести, проводимые в общество дворянством. И как надсмеялись потом над этим благородством переоценившие все ценности коммунисты…

К нашей компании присоединился Л. А. Кроль и начал развивать мысль, уже переданную мне, о необходимости сконструировать заново Комитет общественной безопасности путём приглашения как можно большего числа представителей всевозможных организаций и тогда уже приступить к выборам, а эти аннулировать. По всему было видно, что он хочет взять вожжи революции в свои руки и попасть в председатели Комитета. Каждый из нас с большим удовольствием переуступил бы право своего избрания, и мысль Кроля по существу была правильная.

Этим способом можно было, хотя бы на время, приблизить к управлению более или менее умеренные элементы, откинув большинство крайне левых. И предложение его было принято единогласно. Все мы тотчас после ужина принялись за составление списка организаций и редактирование повесток.

Все старались подольше засидеться в клубе, ибо перспектива быть арестованным по возвращении домой ничего хорошего не предвещала.

Но прошло время, клуб начал пустеть, и волей-неволей пришлось возвращаться домой.

Как хорошо, думал я, что жена и Наташа уехали в Петроград. По крайней мере некому будет волноваться, если меня арестуют и даже пристрелят. Вот если, спаси Господи, ранят — а живым в руки я решил не даваться, — что тогда?..

С этими невесёлыми мыслями подъехал я к своей квартире, расположенной над банком.

Во флигеле был виден огонь. Значит, полковник Тимченко, командир Сто сорок девятого полка, ещё не спит. А быть может, он уже арестован?

Когда я очутился один в своей спальне, страх напал на меня, и вместе со страхом всё сильнее начал мучить вопрос: что с Тимченко?

Пойду поговорю с ним по телефону. Ну, а если телефонная станция уже в руках революционеров? Тогда сейчас же узнают, что я хотел говорить с Тимченко, дабы передать ему постановление тайного совещания. Однако какое же это совещание, когда я сам не признал ни председателя, ни его постановлений?

Ободренный этой мыслью, я подошёл к телефону:

— Это вы, Владимир Ильич?

— Я. А это вы, Владимир Петрович? Я не сплю и всё поджидаю вас. Можно к вам прийти?

— Прошу, но только не звоните, я сам открою вам дверь.

Как ни старался я не шуметь, чтобы прислуга не узнала о моём ночном свидании с Тимченко, но всё же, когда я спускался по парадной лестнице, наверху появилась наша старшая горничная, крайне любопытная старая дева.

— Варя, вам что?

— Да я слышу, что кто-то ходит.

— Вы мне не нужны, идите спать.

Верхняя дверь призакрылась, но я чувствовал, что Варя подслушивает, почему и начал, топая ногами, подниматься наверх. Когда дверь плотно закрылась, я вновь спустился вниз и, открыв дверь, впустил полковника. Мы прошли в кабинет.

— Рассказывайте, Бога ради, что произошло. Я всю ночь поджидал вас.

Я по секрету передал ему всё, что знал.

— Да, положение… — сказал Тимченко. — Живым им в руки я не дамся.

— Что же вы думаете делать, полковник?

— Думаю вызвать к себе караул.

— Но тогда узнают, что я вам всё передал и выдал эту шпану. Нет, я прошу вас этого не делать. Лучше будем выжидать. Ворота наши крепкие, и, если в них будут ломиться, бегите ко мне, и мы вместе удерём или через банк, или через сад.

Моё предложение было принято, и мы расстались.

* * *

Полковник Владимир Иванович Тимченко за неудачные бои перебитого полка был возвращён в тыл и принял командование Сто сорок девятым полком, стоящим в Екатеринбурге.

Это был славный малый, любящий общество, женщин, вино и карты. Последними он особенно увлекался, крупно играя в железку. В то время ему везло: выиграв около ста сорока тысяч рублей, он держал их на текущем счёте в нашем банке.

Каждый раз, внося в банк деньги, он заходил в мой кабинет и, остановившись в дверях, рапортовал:

— Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что вчера произошло жаркое сражение, в результате коего я вышел победителем и присоединил к моему капиталу ещё семь тысяч рублей.

— Ох, полковник, бросьте играть! Выиграли и выиграли, на всю жизнь хватит. Ведь одних процентов будете получать более шести тысяч, а если к ним прибавить ваше жалованье или пенсию, так вы на всю жизнь останетесь обеспеченным человеком. А то смотрите — продуетесь. А что вы продуетесь, если вы не шулер, как про вас, конечно, говорят, — я готов отдать мою голову на отсечение.

— Ну вот, а я вам докажу, что и не шулера выигрывают, и непременно послушаю вашего совета, когда сумма моего выигрыша достигнет трёхсот тысяч рублей. Вот тогда можно и отдохнуть: по тысяче рублей в месяц для меня будет вполне достаточно.

— Поживём — увидим.

— А кто вам говорил, что я шулер?

— Решительно никто.

— Откуда же вы взяли такое пикантное словечко?

— Эх, полковник, ведь я тоже когда-то поигрывал и определённо знаю, что как только кто-нибудь начинает сильно выигрывать, то сейчас же про него начинают говорить, что он шулер.

— Это правильно. Ну да чёрт с ними, пусть говорят. Моя совесть чиста, да и капитал будет цел.

* * *

Тяжела была эта ночь. Я долго не мог уснуть, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому шуму на улице. В эту ночь после двухлетнего поста я вновь закурил. Действие первой папироски было настолько сильно, что, я думал, у меня лопнет сердце. Спас я себя тем, что понюхал валерианки. Вскоре она подействовала, и я уснул тревожным сном.

На другой день, как только встал, я отправился в думу, где застал почти всех членов Комитета. Решено было вопрос о конструировании отложить до завтра, так как вечером назначено было большое собрание представителей всевозможных организаций с той же целью.

Председателем временно выбрали Давыдова. Затем приступили к обсуждению внесённого левыми вопроса о немедленном аресте уполномоченного и жандармских офицеров.

Губернатор действительно успел уехать в Пермь вечерним поездом. Вопрос был поставлен на открытую баллотировку. Все левые, с которых начал голосование Давыдов, высказались против ареста военных начальников. Правые выгораживали генерала Форт-Венглера. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что голосую за домашний арест генералов Форт-Венглера, Нецветаева и всех жандармских офицеров. Однако необходимость их ареста вижу не в том, что они могут представлять опасность своими контрреволюционными действиями, а в том, что, судя по настроению верх-исетских рабочих и нашей уличной толпы, опасаюсь за жизнь этих людей. И поэтому предлагаю подвергнуть их домашнему аресту, выставив усиленную охрану. Что же касается ареста архиерея, то, с моей точки зрения, ему никакая опасность не угрожает, отчего против его ареста я протестую.

— Помните, господа, что если религия не нужна многим здесь присутствующим, то огромной массе народа, а особенно женщинам, она всё же необходима. Поэтому к решению таких вопросов нужно приступать с сугубой осторожностью.

Левые не согласились и настаивали на аресте архиерея. Тогда

я предложил послать к нему депутата с твёрдым приказом не выходить из дому, совершая богослужения в церкви. С таким же предложением было решено обратиться и к настоятельнице женского монастыря. Эта миссия была возложена на Давыдова. Аресты остальных лиц были возложены на капитана Захарова.

Затем мы, гласные, собрались у Ардашева и выбрали трёх комиссаров: Ардашева, Питерского и Кенигсона. Я же наотрез отказался выставлять свою кандидатуру, решив возможно пассивнее держаться в Комитете общественной безопасности, избегая принимать на себя сколько-нибудь выдающиеся назначения.

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вечером того же дня в думе состоялось многолюдное, более пятисот человек, собрание в целях организации Комитета общественной безопасности. После незначительных прений, кого избрать председателем, сошлись на имени Л. А. Кроля.

Признаюсь, избрание это было для меня тяжело. Неужели, думалось мне, мы не могли выбрать в председатели первого революционного органа, к которому переходила вся власть, русского человека? Чем можно это объяснить, как не особой застенчивостью нашей нации?.. Ведь никто из нас не позволил себе самолично выставить свою кандидатуру, как сделал это Кроль, прося многих о своём избрании.

По нашим традиционным русским понятиям, если и выдвигалась друзьями та или иная кандидатура, то избираемый никогда не осмелился бы положить за себя шар. Отброс этой традиции, начиная с революционных недель, повлёк к засилью евреев во всех революционных учреждениях, что, несомненно, имело впоследствии огромное влияние на ход революционных событий.

Но надо отдать должное Кролю. Он оказался великолепным председателем, справляясь с собранием, которое было и многолюдно, и разношёрстно, и протекало в чрезвычайно нервной обстановке.

Решено было образовать Комитет общественной безопасности, членами которого вошли представители всех организаций, по два человека от каждой. Общее число депутатов составило шестьсот. Этот многолюдный Комитет принял на себя функции парламента всего Урала. Председателем Комитета был избран Кроль, товарищами его — прапорщик Бегишев и секретарь думы Чистосердов. Все трое по убеждениям были близки к партии кадетов. Затем была избрана Исполнительная комиссия, в которую включили тридцать человек от думы, Демократического собрания и военных.

Вот уж, думал я, права пословица: человек предполагает, а Бог располагает. Ведь не хотел же я играть активной роли, а попал, что называется, в самую кашу. Но отказываться было неудобно, и я решил сделать это через несколько дней при первом удобном случае.

Выбрав нас, собрание выразило пожелание, чтобы каждый из выбранных представился собранию по отдельности.

На меня этот процесс представления произвёл тягостное впечатление. Особенно тягостно было называть себя не дворянином, а гражданином Владимиром Петровичем Аничковым.

На этом собрании произошёл следующий инцидент. Представители левых и солдат начали требовать увеличения числа мест для своих кандидатов. Особенно резко выступал всё тот же Толстоух и, дабы произвести большее впечатление, заявил, что дума окружена войсками и нас скоро всех перебьют.

Впечатление действительно было сильное. Все растерялись и примолкли.

Как раз в это время в зал, быстро расталкивая толпу, вошёл инженер-путеец Бобыкин с протянутой вперёд рукой и с вытянутым указательным пальцем. Он обежал быстрым взглядом зал и, остановив свой палец на Толстоухе, закричал:

— Граждане, заявляю вам от имени железнодорожников, что перед вами провокатор! Проверьте его мандат — он у него подложный.

Едва он успел это проговорить, как в другую дверь вошло трое членов Комитета, заявив, что войска вызывались по телефону тем же Толстоухом.

Поднялся невообразимый крик. Я думал, что его разорвут, но председатель не растерялся и властным жестом призвал собрание к молчанию.

— Я предоставляю вам слово, господин Толстоух. Что скажете вы в своё оправдание против возводимых на вас тяжких обвинений?

Толстоух что-то пробурчал и смолк.

— Вы молчите… В таком случае потрудитесь покинуть зал. А вы, господа члены Следственной комиссии, потрудитесь сейчас же разобраться в этом деле и проверьте мандат.

Через каких-нибудь двадцать минут члены следственной комиссии подтвердили как подделку мандата, так и то обстоятельство, что Толстоух по телефону вызывал Сто двадцать шестой полк.

— Гражданин Толстоух, вы свободны, — заявил председатель, — можете уходить. О вашем поступке будет немедленно доведено до сведения ваших сослуживцев по станции Екатеринбург-Второй.

Чего добивался Толстоух, так и осталось тайной не только для Комитета, но и для меня, несмотря на то что впоследствии мне пришлось беседовать с ним в качестве товарища председателя Исполнительной комиссии. Он обратился ко мне с просьбой дать ему какое-либо место, ибо он по суду товарищей

был отстранён от службы на железной дороге.

Тотчас после собрания, пользуясь тем, что все левые отправились на митинг и остался лишь латыш Лепа, Ардашев собрал членов Исполнительной комиссии и обратился к ним с просьбой освободить генерала Форт-Венглера. Когда очередь баллотировки дошла до меня, я заявил протест как против способа созыва собрания, так и против самой баллотировки.

— Вы отлично знаете настроение левых и, воспользовавшись их случайным отсутствием, искусственно подбираете себе большинство.

Вопрос провалился.

— Что вы имеете против генерала? — спросил меня Ардашев.

— Ровно ничего. Но способ решения такого вопроса поведёт к подрыву доверия к нам левых, и те потребуют замены домашнего ареста тюрьмой.

РАБОТА ИСПОЛКОМА

На другой день вся Исполнительная комиссия в полном составе собралась в думском зале и приступила к организационным работам. Выборы председателя прошли довольно быстро. После забаллотирования двух кандидатов, выставленных думцами, прошёл Аркадий Анатольевич Кащеев — присяжный поверенный, в возрасте около тридцати лет, по убеждениям эсер. Товарищем председателя выбрали рабочего-коммуниста Парамонова. Оба прошли восемнадцатью голосами против одиннадцати. Большие разногласия вызвала баллотировка второго товарища председателя. Это место решено было предоставить одному из думцев. Кандидаты, выставленные нами, — Давыдов, Ардашев, Ипатьев и Кенигсон неизменно получали девять белых шаров и двадцать чёрных. Наконец левые заявили, что их блок с военными депутатами приемлет единственного кандидата — меня. Я же от баллотировки всё время отказывался.

После этого заявления, после долгих уговоров, пришлось дать своё согласие, и я был выбран. Результаты выборов привели комиссию к заключению, в силу которого мне было предоставлено занять должность первого товарища председателя, а Парамонов занял должность второго товарища председателя. Таким образом, в президиум попали социалист, правый и коммунист. Это обстоятельство лишило меня возможности подать в отставку: при моём уходе на мою должность попал бы следовавший за мной анархист Жебунёв, что было для всех думцев, да и для эсеров, нежелательно.

В секретари были избраны Жебунёв и прапорщик Воробьёв, социалист правого толка.

Тотчас после окончания выборов пришлось открыть приём просителей. Подавались заявления о совершённых кражах, просьбы о выдаче паспортов, жалобы на побои мужа, протоколы о продаже вина и водки, бесконечные жалобы хозяев домов на квартирантов и обратно — квартирантов на хозяев. Была просьба о разрешении вырыть покойника для перенесения его в другую могилу.

Но особенно запомнилось мне настойчивое заявление врача Упорова от имени проституток о том, что они, как свободные гражданки, не желают подвергать себя больше врачебному осмотру.

Из дальнейших объяснений выяснилось, что в домах терпимости в сутки на проститутку в среднем приходится

шестьдесят посещений. Около этих домов ждёт очереди бесконечная вереница солдат, подобно тому как ждут очереди при раздаче сахара по карточкам.

— Доктор, — пробовал я возражать, — нисколько не сомневаюсь, что всё это важные вопросы. Но особенно удивляюсь, что проститутки центральным вопросом выставляют врачебный осмотр, а вопрос о непосильной работе даже не затрагивают. Я бы признал спешность поднятия этого вопроса. Вот если бы вопрос сводился к уменьшению числа посетителей… А с вопросом осмотра, который делается раз в неделю, можно бы и подождать.

— Как кричат товарищи, проститутка не скотина какая-нибудь, а свободная гражданка. А вы настаиваете на продолжении осмотра…

— Да я не настаиваю… Но решение этого вопроса требует обстоятельного доклада и осмотрительного решения. Поэтому я и предлагаю образовать комиссию, чтобы ознакомиться с этим делом.

Слава Богу, уговорил.

Тюрьму трясло, арестантов было нечем кормить. Для разрешения этого вопроса была выбрана комиссия во главе с Ардашевым.

Больше всего «товарищей» волновала успешность арестов жандармских офицеров. Они то и дело бегали к телефону и сносились с теми, кто присутствовал при обысках и арестах, выпрашивая у меня и Кащеева мандаты на дальнейшие действия.

— Да что вы так волнуетесь и уделяете столько времени такому пустому делу? Старый строй прогнил и рухнул, контрреволюция, несомненно, придёт, но не сейчас, конечно, — для этого потребуется немало времени… Убежать и спрятаться жандармам абсолютно некуда. Более чем уверен, что, если по телефону я предложу им явиться в думу, они немедленно явятся, даже если будут знать, что их арестуют.

Как будто в подтверждение моих слов раздался звонок по телефону. Кто-то из «товарищей» подошёл к аппарату и вернулся сконфуженным.

— В чём дело? — спросил его я.

— Да звонил жандармский ротмистр. Он удивлён, что до сего времени его ещё не арестовали, и относит эту оплошность к перемене местожительства.

— Ну что, не прав я?

Молчание…

Впоследствии я понял причину беспокойства «товарищей». Не аресты жандармов здесь играли роль, а желание выкрасть у них компрометирующие «товарищей» документы. Многие из

«товарищей» находились ранее на службе у жандармов…

Боже, какой шум подняли «товарищи», когда узнали, что при местной почтовой конторе существует чёрный кабинет, в котором идёт перлюстрация писем. Несчастного управляющего конторой чуть не избили и не посадили в тюрьму.

Особенно много пришлось мне возиться с полковником Стрельниковым. Он, помимо должности железнодорожного жандарма, занимал ещё должность военного цензора. Только благодаря этому обстоятельству удалось освободить его из-под ареста.

Дело было поручено мне, и я удивлялся сложности и в то же время бесполезности цензорской работы. Так, например, у Стрельникова оказался огромный список немецких шпионов, и не только никаких попыток к их поимке не делалось, но даже не сличали адреса получаемых писем. Служащими, главным образом женщинами, прочитывались десятки тысяч писем. Подозрительные передавались полковнику; что же касается писем, идущих на фронт, то их совсем не читали. Оказалось, что ни одного шпиона Стрельников не открыл.

Его удалось освободить ещё до окончания следствия и доклада Комитету. Это произошло так: во время заседания в нашем парламенте жена Стрельникова, довольно красивая женщина, произнесла горячую речь в защиту своего супруга. Это незаконное выступление так подействовало на депутатов, что они, подкупленные и красотой, и слезами просительницы, освободили Стрельникова от следствия.

Вообще же работы на мою долю выпало много. Мне пришлось совсем забросить банк. Я начинал работу в комиссии в девять часов утра и просиживал там до четырёх часов, а затем вечером — с семи до десяти. В дни заседания парламента задерживался и до часу ночи.

Не стану утруждать читателя подробностями этой работы, опишу лишь наиболее интересные моменты.

В то время огромное большинство русского народа радовалось отречению Императора от престола. По крайней мере я не встречал человека, который бы нашёл в себе мужество не приветствовать этого акта. Несколько иначе относились к отречению Михаила Александровича. Об этом многие сожалели, особенно военные, ибо без Императора на их глазах разрушалась армия. Большинство военных не верило в возможность победы над врагом. Уже в то время я не был ярым монархистом и не придавал факту отречения особого значения. Я верил в возможность существования России и при республиканском строе.

Особенно запомнилось мне одно заседание нашей комиссии, которое Кащеев объявил тайным. Мы все насторожились. Торжественно читается телеграмма за подписью Совета солдатских и рабочих депутатов из Петрограда, о существовании которого я впервые узнал из этого сообщения. Она гласила: «Бывший император Николай собирается бежать. Примите меры к его задержанию».

«Товарищи» переполошились, на них лица не было. Они предлагали сейчас же выставить усиленный контроль над проезжающими пассажирами и просили немедленно назначить чуть ли не целый батальон солдат на охрану вокзала.

На меня эта телеграмма тоже произвела сильное впечатление, и в эти минуты я впервые задал себе вопрос: «А что, если Император действительно бежит и на мою долю выпадет открытие места его пребывания?.. Выдам ли я его или нет?» И я должен был сознаться самому себе, что не только не выдал бы, но даже, несмотря на явную опасность, помог бы ему спрятаться.

Так, храм оставленный всё ж храм,
Кумир низверженный всё ж Бог.

Я попросил слова.

— Позвольте узнать, — спросил я Кащеева, — почему вы объявили заседание тайным? Вдумайтесь в смысл этой телеграммы. Вы найдёте её провокаторской, посланной с целью произвести тревогу среди населения, особенно среди солдат, которые действительно с часу на час всё более теряют воинский облик и представляют из себя какое-то недисциплинированное стадо. Согласитесь, господа, если солдатские депутаты узнали, что Государь хочет бежать, так они должны принять меры к пресечению бегства, а не рассылать глупые телеграммы.

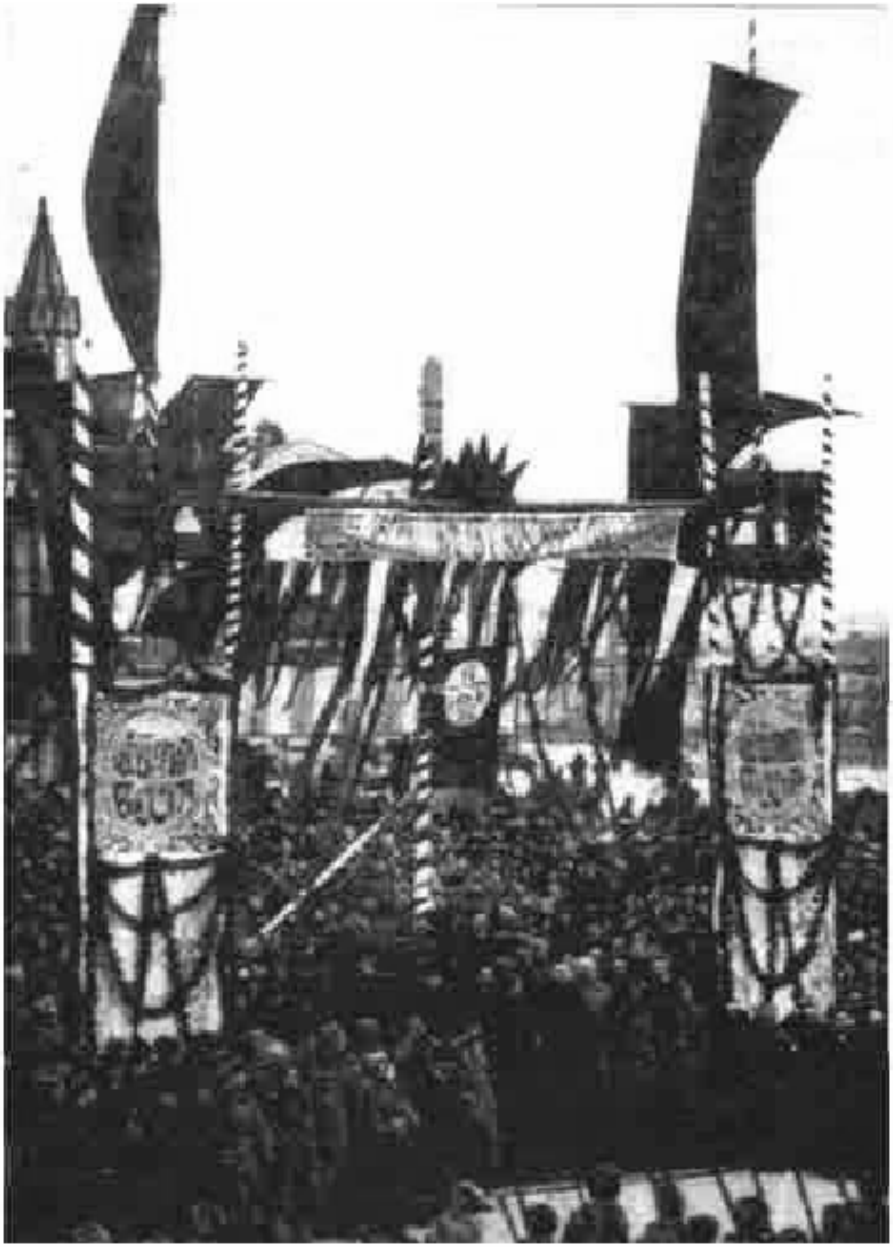
Нужно ответить телеграммой: «Советуем усилить надзор». А самое лучшее посмеёмся над этой телеграммой и, сдав её в архив, будем знать наперёд, как относиться к Совету солдатских депутатов. Господа, из кого состоит это учреждение? Общая масса солдат никогда не стояла на столь низком уровне развития, как теперь. С одной стороны, всё, что мало-мальски было похоже на культуру, ушло из этой массы в офицерский состав. В прапорщики производили не только парикмахеров, но даже лакеев. С другой стороны, квалифицированные рабочие изъяты из войск и работают на фабриках. Кто же там остался? Только безграмотные элементы, о чём столь ярко свидетельствует эта телеграмма.

— Господин председатель, я требую немедленного предания

гражданина Аничкова суду революционного трибунала за оскорбление армии! — закричал «товарищ» Малышев.

Но Кащеев заступился за меня и заявил, что в высказанном Аничковым анализе состава Совета солдатских депутатов, а равно и во мнении о телеграмме он не слыхал оскорблений. Как председатель, он согласен с тем, что телеграмма действительно или провокация, или плод нездорового мышления, а потому предлагает сдать её в архив и никакого значения ей не придавать.

Тем этот инцидент и закончился.



Праздник в честь Русской революции

Екатеринбург, 10 марта 1917

ПРАЗДНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Комитет общественной безопасности постановил устроить праздник в честь русской революции. Праздник был назначен на 10 марта. Особенно ревностно отнеслись к этому делу наши «товарищи». Одно только обсуждение знаков отличия для членов Исполнительной комиссии заняло около полутора часов. В результате на моей руке появился большой красный бант. Комиссией были обсуждены даже размеры этого украшения в зависимости от занимаемой должности. Как ни был мне противен этот бант, а всё же пришлось носить его на левой руке. Вечера три ушло на обсуждение программы праздника, главным распорядителем которого был избран Н. Н. Ипатьев. Подготовляли грандиозное шествие, вырабатывались слова приветствия.

Наконец настало 10 марта.

Шествие началось в девять часов утра от тюрьмы. В первой колонне шла вся Исполнительная комиссия во главе с Кащеевым. Дойдя до красиво задрапированной кумачом трибуны, поставленной на Соборной площади, мы заняли заранее установленные места. Кроль имел такт удержаться от активной роли и передал её прапорщику Бегишеву, который совместно с Кащеевым приветствовал проходящие мимо трибуны части войск и представителей организаций. Первое место, конечно, отвели войскам. Их была масса, около шестидесяти тысяч человек. Впереди всех на белых конях ехали бригадный и его помощник. Молодецки отсалютовав нам шашкой, полковник Карабан вместе с полковником Мароховцом завернули своих коней и стали с левой стороны трибуны. Войска проходили мимо, салютуя нам. Председатель приветствовал каждую колонну войск, каждое училище или отдельную часть восклицаниями: «Да здравствует Русская революционная армия», «Да здравствует Учредительное Собрание» и «Да здравствует свободная Русская гимназия»…

Праздник в честь Русской революции

Екатеринбург, 10 марта

Я не стал бы останавливаться на описании этого праздника, если бы он не был исключительным и по грандиозности шествия, в коем участвовало более ста тысяч человек, и по тому настроению, которое тогда господствовало среди населения.

Мне, стоящему впереди на подмостках, отлично было видно каждое проходящее мимо лицо. Стоя на трибуне и вглядываясь в выражения лиц, я припомнил знаменитую картину Репина под названием «Семнадцатого октября». Лучше уловить выражения лиц, как то сделал Репин, великий художник земли Русской, невозможно.

Лица офицерского состава, конечно, были осмысленные, общее их выражение — восторженное. Проплывали лица прямо-таки с безумным от радости выражением, но попадались лица, нам не сочувствующие; среди них первое место принадлежало Тимченко. Отчётливо отчеканивая свои приёмы шашкой, он браво прошёл мимо трибуны, поедая глазами не нас, «революционеров», а полковника Карабана, стоявшего слева. Выражения солдатских лиц были тупые. Видно было, что больше всего они думали, как бы не сбиться с ноги. Особенно восторженно были настроены женщины и гимназисты. «По-молодецки» промаршировала мимо нас начальница Первой женской гимназии Пыжова. А ведь она принадлежала к хорошей дворянской фамилии, и её братья, кажется, служили чуть ли не в свите Его Величества. О гимназистках и говорить нечего; это был какой-то истерический

не крик, а визг, когда они отвечали на наши приветствия. Как жаль, что фотограф, снимая нас, не догадался снять с трибуны проходящие войска и организации, — тогда фотография была бы живая и живо отражала бы настроение масс. Подъём был большой, всё было насыщено живой радостью. Как по заказу, в самом начале парада туманное утро уступило место горячим лучам мартовского солнца, и в воздухе впервые после скучной зимы запахло весной.

После парада, кончившегося около часу дня, бригадный и его помощник пришли к нам завтракать.

Темой разговора служила, конечно, революция.

Настроение у большинства было радостное и полное надежд на могучее будущее Российской республики. Однако уже в то время я начал разочаровываться если не в самой революции, то в русском народе в целом. Среди радостных настроений этого дня нет-нет да пробегала холодная струйка грозного призрака кровавых расправ, казней и междуусобной войны.

КРЕСТЬЯНЕ И РАБОЧИЕ

Особенно тяжело было толковать с крестьянами на тему, как должны устраиваться сельские комитеты общественной безопасности и чем они должны руководствоваться в своих действиях. Крестьян приезжало из разных сёл много. Многие из них были людьми толковыми, но они никак не могли понять, что до созыва Учредительного Собрания всё должно остаться по-старому.

— А земля-то как же? — в большинстве своём спрашивали они.

— Я же вам говорю, что все законы, кроме основных, остались в силе, их изменить может только одно Учредительное Собрание. Постановит оно отдать землю вам — отдадут, постановит не отдавать, а оставить за казной — не отдадут. Я лично думаю, что вся земля будет национализирована и каждый гражданин будет иметь право пользоваться ею на правах аренды на более или менее продолжительный срок. А пока руководствуйтесь заповедями Господними, и главными из них: не укради и не убий.

— Всё это так… — сказал один из крестьян. — А вот пока мы будем дожидаться Учредительного Собрания да решения им земельного вопроса, Василий Петрович Злоказов всю свою рощу вырубит. Как быть?

— Очень просто. Ведь Василий Петрович сам с топором в лес не ходит, небось вы же к нему и нанимаетесь на лесные работы. Вот и примите постановление, чтобы никто не смел его лес рубить — ни для него, ни для себя.

Я пытался вести разъяснительные беседы с крестьянами дальше:

— Царь отрёкся от престола, министры арестованы. Но Бог-то разве арестован? Он остался свободным Вершителем судеб мира. Его наставлениями и заповедями и нужно руководствоваться в этот страшный момент.

На это один из выборных ответствовал:

— Эх, гражданин председатель, не могу согласиться с вами. Вы говорите, что Бог остался на свободе. Нет, Он был раньше арестован, а вот теперь Он сделался свободным. Вот ныне к свободному Богу мы и прислушаемся. Пусть укажет, как жить нам, свободным гражданам… А исполнять то, что Он, сидя в тюрьме, через своих адвокатов нам диктовал, пожалуй, и не стоит.

— Прекрасно сказано, — ответил я. — Будьте, гражданин, так любезны вызвать меня, когда с вами Бог беседовать будет. Я

боюсь, как бы вы роль адвоката на себя не приняли. Человек я практичный и буду слушаться старых, мне известных Божьих адвокатов. Поэтому буду управлять данными мне хотя бы и через адвокатов законами Божьими.

Самому мне не удалось в первые дни революции побывать в деревнях, но, судя по сообщениям из сельских комитетов, в деревне в первые дни было вполне спокойно, царило радостное и сугубо вежливое настроение. Это замечалось и в городе среди горожан, и среди приезжающих на базары крестьян. Если, бывало, вас кто-либо толкнёт, то сейчас же и извинится. Матерного слова в первые дни революции я не слыхал. Деревня стала волноваться месяцами двумя позднее, когда в неё влился поток дезертиров.

* * *

Что касается рабочих, то я, сталкиваясь с ними, недоумевал и поражался их слабому развитию, их непониманию — в чём же, собственно, должна выражаться свобода. По их понятиям, рабочий считал себя свободным от всяких обязательств перед предпринимателем. Он думал, что может работать так, как желает, а хозяин не только обязан оплачивать его труд, но не смеет делать ему никаких замечаний. Усиленно работать, по-видимому, никто из них не хотел, а лишь требовал сокращения часов работы и прибавок.

О сумасбродном положении умов рабочих можно судить по одной хорошо засевшей в моей памяти сценке. Это было часов в семь вечера. Я только успел войти в прихожую Главного управления горных округов Урала, где в верхнем этаже помещалась наша комиссия, как был изумлён шумом и гамом бегущей сверху по чугунной лестнице большой толпы рабочих.

Вдруг кто-то из них воскликнул:

— Братцы, вот он, председатель-то, — и меня живо окружила вся эта шумящая и, видимо, раздражённая чем-то ватага.

— Вы будете председатель?

— Я. Что вам нужно, граждане?

— Да вот, — кричало несколько голосов, — нас обманывают провокаторы.

— В чём дело? Говорите кто-либо один, а то я ничего не понимаю.

— Да вот, гражданин председатель, какую, стало быть, к нам телеграмму из Петрограда прислали. По всему видно, что провокация. — И один из них подал мне телеграмму.

— Прежде всего скажите: кто вы такие?

— Мы?

— Ну да, вы.

— Мы рабочие железнодорожных мастерских.

Уже по многим делам я знал, что состав рабочих этих мастерских был более всех распропагандирован, а стало быть, общая масса в смысле уровня развития должна была стоять выше рабочих других заводов.

Развернув телеграмму, я прочитал приблизительно следующее:

> Приказываю всем железнодорожным служащим и рабочим, как-то: слесарям, плотникам, механикам (идёт перечень разных специальностей), приступить немедленно к продуктивной работе. Рабочий день устанавливаю в десять часов. Всякое уклонение и нерадение буду преследовать со всей строгостью революционных законов.
>
> Подпись: министр путей сообщений *Некрасов*.

— Да что же вы здесь видите провокационного?

— Да как же не провокационная, коли ничего не сказано про столяров?

Прочитываю опять… Да, про столяров действительно ничего не сказано. Считаю слова, их оказывается на три меньше.

— Вот что, граждане, здесь по счёту не хватает трёх слов. Очевидно, телеграфисты ошиблись и их пропустили, что легко исправить. Пойдите на телеграф, и я уверен, что завтра вам принесут ответ, в котором будет стоять и слово «столяры». Да если и не будет стоять это слово, то мне ясно, что телеграмма относится ко всем рабочим вообще, не исключая и столяров.

Молчат, переминаются с ноги на ногу, видимо, недовольны моим разъяснением.

— Так-то оно так, а всё-таки телеграмма провокационная.

— Что же тут вам не нравится? Что же здесь провокационного?

— Да как же, председатель, — наш же выбранный министр да против нас же идёт? Как же это так?

— Что же, граждане, вы хотите — чтобы чужой министр вас подтягивал? Или думаете, что раз министр выбранный, так должен только по головке гладить? Я здесь ничего провокационного не вижу.

— А где же восьмичасовой рабочий день, что нам обещали? Кто же нам за два часа лишней работы заплатит?

— Вот это дело другое. Если вам платить не будут за сверхурочную работу, обратитесь к нам, и мы вашу жалобу

поддержим.

— И на этом спасибо, гражданин председатель.

Разговаривая с «товарищами», я заметил среди них милиционера.

— Скажите, милиционер, — обратился я к нему, — вы-то как сюда попали?

— А тоже выбран к вам депутатом.

— А кто остался на вашем посту?

— Никого.

Я записал его фамилию и, распростившись с «товарищами», отправился к себе наверх.

Работоспособность заводов с первых же дней революции стала сильно падать. Значительно возрастало хищение не только чугуна и железа, но и инструментов. Особенно отставали от нормы работы по изготовлению топлива. Нетрудно было предсказать, что настанет момент, когда погаснут беспрерывно действующие домны. Со дня на день нарастала в рабочих злоба на интеллигенцию и буржуазию. Злоба, впоследствии превратившаяся в ненависть…

МИЛИЦИЯ И АРМИЯ

Екатеринбург всегда поражал меня малочисленностью полиции, а вследствие этого — фактической беззащитностью граждан. Случись что на улице, вы никогда не найдёте городового. Со временем я как-то сжился с этим положением: если городовой уж очень понадобится, то всякий может застать его в участке.

С первого же дня и почти во всё время существования Комитета общественной безопасности не проходило ни одного заседания, чтобы не выдвигался вопрос о милиции.

Надо отдать должное Кролю. Его стараниями наш Комитет в полной мере напоминал парламент. Кроль был большим знатоком парламентарных обычаев. Это делало заседания интересными хотя бы по внешней форме. Обычно, огласив повестку дня, Кроль давал слово председателю Исполнительной комиссии. Почти всегда на сцену поднимался Кащеев. Его молодость, полная вера в победу революции, горящие вдохновенным огнём глаза и музыкальный голос всегда делали доклады интересными, и почти всегда они срывали аплодисменты. Мне выступать приходилось редко, только в случаях отсутствия председателя. Моя буржуазная фигура с достаточно выпуклым животиком, хорошо сшитая визитка, чистый крахмальный воротник и хороший галстук так плохо гармонировали с общей массой, что я не пользовался фавором. Во мне видели «буржуя», и, чем больше углублялась революция, тем враждебнее становилось ко мне отношение «товарищей». Шумные аплодисменты я заслужил только раз.

Оппозиция справа (кадеты) подчёркивала бесплодность нашей работы, и кто-то из ораторов поставил вопрос:

— Скажите, что за эти три недели сделала Исполнительная комиссия?

Кащеев не нашёлся что ответить.

Я попросил слова:

— С оратором я совершенно согласен. Сделали мы действительно мало, и всю нашу деятельность можно охарактеризовать так: за три недели существования Комитета общественной безопасности и Исполнительной комиссии не случилось ни одного погрома и ни одного убийства.

Когда кончался доклад Исполнительной комиссии, начинались прения. Сперва предоставлялось слово трём ораторам, чтобы высказаться против доклада, а затем — такому же количеству желающих говорить в защиту. После этого

уступалось время запросам. И не проходило ни одного заседания, чтобы не делался запрос о милиции. В большинстве случаев с таким запросом выступал И. С. Яковлев. Нравились ли ему одобрительные возгласы и аплодисменты или действительно он, несмотря на свои пожилые годы и интеллигентность, всё зло видел в полиции, но только каждый раз он задавал вопрос: «А почему на такой-то улице в форме милиционера стоит бывший городовой?» В парламенте раздавался шум и крики порицания.

Сперва мы относились к этим вопросам с вниманием и отвечали, что нельзя же сразу подобрать весь кадровый состав милиции. Вскоре это начало меня раздражать, и я желчно просил сделавшего запрос прислать к нам с его рекомендательной карточкой лицо, достойное этой должности.

— Граждане, прошу помнить, что все способные носить оружие — на фронте. Здесь же без дела шляются только подлые дезертиры, коих можно лишь судить, а не нанимать в милицию.

Плоха была полиция главным образом потому, что ей мало платили, чем толкали на взяточничество. Наскоро заменившая её милиция была во много раз хуже. В милицию после выпуска из тюрем попало много уголовных преступников.

Правда, в первые недели существования Комитета общественной безопасности милиция держала себя прилично, но затем вновь началось взяточничество и даже грабежи.

Комиссаром милиции состоял инженер Лебединский, очень милый и неглупый человек. Начальником был избран капитан Захаров, добродушный толстяк. Работали они оба не покладая рук, приходя в полное отчаяние от объёма необходимого сделать. Да и что могли они, когда в самой милиции по образцу воинских частей образовался совдеп, созывались митинги, на которых выносились постановления и порицания начальству. И главным обвинением, конечно, выставлялась контрреволюционность.

Армия не только с каждым днём, но и с каждым часом разрушалась. Если ранее гражданина поражало огромное количество солдат, обучающихся на улицах строю, то теперь эта серая масса праздно шаталась по всем площадям. Куда ни пойдёшь — всюду солдаты со своими семечками. Присутствие лузги от подсолнухов неразрывно связано с представлением о революции.

Значительно изменилась и внешняя форма солдат. Все они сняли с себя не только погоны. Почему-то, нося шинели в рукава, солдаты отстёгивали на спине хлястик, очевидно, как символ свободы. Это придавало им безобразный и распущенный вид.

Со дня революции я не помню обучающихся на улице солдат. А что переносило от них наше бедное офицерство!

Выше я упоминал торжественное представление в думе, сделанное Сто двадцать шестым полком во главе с полковником Богдановым. Богданов, казалось, должен был бы пользоваться особой любовью солдат из-за того, что первый признал власть думы. Ничуть не бывало. Не прошло и недели, как к нам поступила коллективная жалоба солдат и офицеров этого полка на полковника, в коей указывалось на его контрреволюционность и выражалось требование о его немедленном удалении из полка. Мы рассмотрели эту жалобу в экстренном порядке. Пришедшие депутаты заявили, что если завтра полковника не уберут, то он будет убит. В этой жалобе указывалось, что полковник, собрав всех унтер-офицеров и фельдфебелей, обратился к ним со следующими словами:

— Кто нынче офицеры? Всё это прапорщики-неудачники, на них я положиться не могу. Не могу положиться и на солдат. Какие это солдаты? Придут из деревни, ничего не понимают, а через три месяца их уже отправляют на фронт. Вот вы — дело другое. Вы кадровый состав унтер-офицеров, и на вас одних я могу положиться. Потому слушайте, что я вам скажу: вот возводится здание, оно и просторно, и прекрасно, но вся беда в том, что крыши ещё нет. Ну что будет хорошего, если мы с вами перейдём в него из наших скверных и грязных казарм? Нет, мы лучше запасёмся терпением, поживём в тесноте, а там, когда дом будет готов, и отпразднуем новоселье.

Мне едва удалось уговорить комиссию не вмешиваться в дела военных. Я предлагал переслать это заявление бригадному командиру с предложением поставить нас в известность о его решении.

С моим предложением согласились, потребовав, чтобы заявление было передано бригадному немедленно, непосредственно мною и инженером Ипатьевым. Необходимо было передать и заявление, что Исполнительная комиссия находит необходимым сегодня же удалить полковника от командования до окончательного производства следствия.

Пока мы обсуждали этот вопрос, наверху шло заседание парламента, на котором на этот раз председательствовал не Кроль, а прапорщик Бегишев.

Бригадный командир полковник Карабан был простым, открытым, честным и бесхитростным воином.

Сбитый с толку Приказом № 1 о неподчинении солдат офицерам и учитывая настроение солдат и то огромное значение, которое в первые дни революции играл Комитет общественной безопасности, полковник решил, что Комитет является его непосредственным начальством. Поэтому следует

прислушиваться к его настроениям и нужно посещать его заседания. Решив это, в тот же вечер он приехал в Комитет. Не зная порядков, не зная, что для публики есть особые места, Карабан послал к председателю свою карточку с просьбой войти.

Как ни либерально был настроен прапорщик Бегишев, а военная дисциплина всё же была в нём крепка. Вместо того чтобы попросить бригадного пройти в места для публики, он пригласил его в заседание. Как только полковник уселся в депутатском кресле, поднялся очень серый солдат и обратился к председателю с вопросом, на каком основании сюда без разрешения собрания допущен бригадный… Солдатня в количестве до восьмидесяти человек подняла крик и шум. Полковник, совершенно сконфуженный и ошеломлённый, встал и под дерзкие крики солдат удалился.

Я, сидя внизу, совершенно не знал об этом происшествии и, получив приказ отправиться к бригадному, подошёл к телефону и соединился с Карабаном.

— Кто говорит? — спрашивает полковник.

— Из Комитета общественной безопасности.

— Я болен и не желаю разговаривать с Комитетом.

Я позвонил вновь.

— Полковник, с вами говорю я, Аничков.

— Ах, это вы, Владимир Петрович… Что вам от меня надо?

— Я прошу принять меня.

— Болен я, совсем болен. Уж слишком большие у вас невежи в Комитете.

Я настаивал на продолжении разговора, ничего не понимая. Наконец, добившись свидания с Карабаном, я отправился к нему вместе с Ипатьевым.

Мы застали полковника в припадке грудной жабы. Он еле дышал, и ему ставили холодные компрессы.

Пришлось сидеть у больного и ждать благополучного исхода. Слава Богу, боль начала стихать, и полковник попросил рассказать, в чём дело. Мне было страшно посвящать его в эту историю. Ну, думаю, начнёт волноваться, случится второй припадок, и нам придётся присутствовать при его агонии. Поэтому рассказ мой далеко не соответствовал правде. Но полковник вновь стал сильно волноваться, особенно когда я рассказывал о своём посещении Комитета.

— Успокойтесь, полковник, ведь вы сами виноваты.

— Я виноват? В чём?

— Забыли про меня. Надо было вам меня вызвать, и я посадил бы вас в места для публики, сел бы рядом, и под мои объяснения мы бы с вами вдоволь посмеялись над нашими

парламентариями. Ведь всё это дети революции. Правда, дети злые… Однако не вызвать ли нам для переговоров вашего помощника, полковника Мароховца?

Бригадный согласился. Начались переговоры и споры. Бригадный указывал на незаконность наших требований. Мы, роясь в военных законах, указывали, что бригадный имеет право и возможность временного отстранения полкового командира от его обязанностей даже без объяснения ему причины.

Решено было немедленно послать за полковником Богдановым. Но того не оказалось дома, и его начали разыскивать. Время было позднее, и мы ушли.

Не застав никого из членов комиссии, которые разошлись, я поехал в клуб с целью провести время до прихода поезда из Петрограда, с которым должна была вернуться моя семья.

Часа в два ночи на моё имя в клуб был доставлен пакет от бригадного с официальным извещением о том, что полковник Богданов смещён с должности командира полка. Какая быстрота решения! Как сумели меня разыскать?

В три часа ночи я был на вокзале и встречал жену и детишек, вернувшихся из Петрограда. Как счастлив был я их видеть! Каким-то чудом они великолепно доехали до Екатеринбурга. Это был единственный поезд, дошедший в нормальных условиях. Следом шли поезда, переполненные солдатнёй, бегущей с фронта.

После полковника Богданова дошёл черёд и до полковника Тимченко.

Надо сказать, что Владимир Ильич, будучи человеком ограниченным, меня не понял и стал коситься на мой красный бант, который я и сам ненавидел. Но, занимая должность революционного министра маленькой Уральской республики, общей площадью превосходящей Бельгию и Голландию, вместе взятые, снять его я не мог. Многие этого не понимали, как не понимали моих отказов знакомым в их частных незаконных просьбах.

— Помилуйте, да ведь вы всесильны! Кто же, кроме вас, может мне помочь?

Когда поступила жалоба солдат на контрреволюционное настроение Тимченко, я счёл своим долгом предупредить его, что ему грозит неприятность, такая же, как и полковнику Богданову. На это он сухо ответил, что он всё это знает и дело его не касается Комитета общественной безопасности.

— Отставить меня вы не можете, как вы это фактически сделали с Богдановым.

— Как знаете… Я предупреждаю вас, что дело может

кончиться не совсем хорошо для вас.

На этом наши переговоры и прервались.

Я настоял в комиссии, чтобы дело без всякого рассмотрения с нашей стороны было препровождено бригадному.

Не прошло и недели, как Тимченко, увидав, что я возвратился к обеду домой, попросил разрешения прийти.

— Пожалуйста, Владимир Ильич. Сердечно буду рад.

Каким-то осунувшимся, жалким вошёл он в мой кабинет.

— К сожалению, и ваши предостережения, и ваши предсказания сбылись как по писаному.

— Что именно?

— Да вот видите, мой адъютант, Серафим Серафимович Потадеев, которому я верил как самому себе, оказался гнусным провокатором. Он уверил меня, что всё офицерство на моей стороне, как и большинство солдат, и уговорил поставить вопрос о моём командовании полком на баллотировку полкового собрания.

— Ну и что же, — спрашиваю, — каков результат?

— Ни один мерзавец не поднял руку за меня. Я забаллотирован единогласно. Вы понимаете теперь моё положение? Что делать?

— Что? Конечно, подчиниться решению и выходить в отставку, благо у вас имеются средства.

— Вот то-то и есть, что ваши предсказания и тут сбылись. Вчера после этого собрания я проиграл не только все сто сорок четыре тысячи, но ещё и задолжал около пятнадцати тысяч.

— Да что вы?

— Как я жалею, что не послушался вас! Я почти уверен, что проиграл их шулеру.

— Вы поймали его в чём-нибудь?

— Нет, но такого везения я не видал. Этот еврей в какой-нибудь час обчистил меня как липку.

— Послушайте, полковник, а вы не припоминаете, что, когда вы его обыгрывали, вас тоже считали шулером?

— Припоминаю… Надеюсь, что теперь-то меня в этом не подозревают?

— Что касается меня, то, конечно, нет… А за других, право, не ручаюсь.

Тимченко скоро, выйдя в отставку, уехал в Саратов и, как дошли слухи, покончил жизнь самоубийством.

Солдаты всё более распускались. Ученья никакого не было. Если какому-нибудь командиру удавалось вывести роту на ученье, то, побыв в строю полчаса, она самовольно уходила в казармы. Начались призывы к братанью. Около памятника

Александру II всё время по вечерам шёл беспрерывный митинг. Митинговали и в театре.

Главная тема митингов была: воевать ли с немцами или брататься? Но эта соблазнительная идея вначале имела мало успеха, и проповедники её, большевики, иногда рисковали быть побитыми. Зато что представлял из себя батальон солдат, отходящий на фронт! С солдатами приходилось возиться как с писаной торбой.

Приходилось собирать деньги по подписным листам, раздавать каждому солдату подарки, ехать провожать на вокзал, говорить речи. А храбрые вояки, разукрашенные в красный цвет, принимали всё это как должное. Отъехав станцию-другую, три четверти роты дезертировало. Мало этого, перед отправлением они стали устраивать кружечные сборы. С кружками ходили сами солдаты, нагло предлагая гражданину пожертвовать «героям», уходящим на войну.

Тыл был уже разрушен, но армия на фронте всё ещё стояла. Однажды утром, когда я вошёл в свой кабинет в Исполнительной комиссии, я увидал там человек пять солдат с кружками. Все они громко ругались, требуя от Кащеева, чтобы он немедленно арестовал «эфтого нахала офицера».

В углу комнаты на стуле сидел какой-то офицер маленького роста в подполковничьих погонах, тогда как в тылу погоны были уже отменены.

Едва я вошёл, офицер вскочил на ноги и подбежал ко мне.

— Владимир Петрович, да вы-то как сюда попали?

Я узнал знакомого мне ещё по Симбирску офицера Бажанова.

— Я? Я состою членом этой революционной организации, и даже товарищем председателя.

— Ну, воля ваша, теперь я совсем ничего не понимаю.

— Да в чём дело? Расскажите мне толком.

Полковник взволнованно и заикаясь стал объяснять, что только что прибыл поездом с Южного фронта.

— Извозчиков у вас совсем нет, иду пешком и вдруг встречаю солдат с красными бантами и кружками. Мне это показалось дико, и я остановил их, потребовав, чтобы они шли со мной к воинскому начальнику. Но вместо того они притащили меня сюда.

— Граждане солдаты, вы меня знаете?

— Как же не знать, знаем.

— Ну так вот, я свидетельствую перед вами, что этого офицера знал ещё кадетом. Славный был юноша и остался славным и храбрым офицером. Никакой контрреволюции в его голове нет. Он приехал с войны, где армия ещё цела, — в неё ещё

не успела проникнуть новая, высшая революционная дисциплина… Этот человек всё равно что с луны свалился. Вместо того чтобы его наказывать, мы здесь растолкуем ему наши порядки, а вы с Богом идите делать ваше дело.

— Да так-то оно так… Да только пусть вернёт нам убытки. Ишь сколько времени мы с ним потеряли…

— Ну, Бог вернёт, а чтобы не было обидно, получите от меня пятёрку.

Последний аргумент в виде синенькой совсем наладил дело, и через десять минут Бажанов беседовал со мной и обучался «революционной дисциплине».

По его словам, вся Южная армия — а было это в начале апреля — ещё крепка. Разговоры, конечно, идут, и солдат стал не тот, но такого безобразия, как у нас, он не видал.

После этого случая я виделся с Бажановым несколько раз при большевиках. Он не только не пошёл в комиссары или в Красную армию, но сделался простым столяром и целый день работал, дабы прокормить себя и двух ребяток.

В последний раз я его встретил помощником командира полка, когда организовывалась Белая армия.

От дисциплины ровно ничего не осталось: ещё в конце марта от разных полков начали поступать заявления, что в лагеря они уходить не собираются.

Я же настаивал на скорейшем уводе войск. Во-первых, гигиенические условия жизни в скученных казармах (войск в Екатеринбурге было около шестидесяти тысяч человек) были чрезвычайно неблагоприятны. А во-вторых, уж и нам, жителям города, хотелось отдохнуть от назойливого присутствия солдат. Много было по этому поводу и переписки, и переговоров, и наконец мне удалось настоять на своём.

Войска вывели в лагеря, но, пробыв там несколько дней, они вновь самочинно вернулись в город.

Знаменитый своим безобразием Сто двадцать шестой полк отправился в лагерь под Камышлов. Но, едва высадившись из поезда, вояки решили, что не дело солдату самому разбивать свои палатки.

— Наше дело воевать, а не работать.

И вернулись обратно.

С этого времени погрузка войск в вагоны пошла за деньги.

Вместо Богданова полковым командиром был выбран прапорщик Бегишев, а вместо Тимченко — простой солдат из унтер-офицеров.

Карабан вышел в отставку, и на его месте оказался полковник Мароховец.

Этот офицер точно усвоил «революционную дисциплину»: прежде чем отдавать приказания, собирал митинг и в точности исполнял то, что постановило большинство.

Не могу умолчать о новой затее Керенского — о создании женских батальонов и полков. Смешно было видеть вчерашнюю барышню или кухарку в солдатской шинели. Особенно смешна была фигура у толстых баб-солдат с их большим бюстом.

Носили они обыкновенную солдатскую форму, но вместо грубых сапог надевали женские туфли и кокетливо заворачивали ножку в тонкие обмотки, так чтобы между краями обмоток кое-где проглядывало голое тело.

Мароховец говорил мне, что единственная дисциплинированная часть — это женский батальон. Что-то плохо верилось в это.

О движении по железным дорогам я уже говорил. Ездить на поезде не было никакой возможности. Бегущая с фронта солдатня переполняла вагоны и громила всё, что попадало под руку. В вагонах разбивались стёкла окон, со скамеек сдиралось сукно. Громились станции, поэтому буфетчики ничего не приготовляли к приходу поезда, а, наоборот, всё убирали. Если путь был занят и поезд долго задерживался, солдаты под угрозой расстрела заставляли машиниста без разрешения начальника станции отправляться в путь, что вызывало крушения. Поезда так переполнялись, что много солдат ехало на крышах вагонов.

Немало забот и труда было положено нами для упорядочения движения, но добиться каких-либо результатов не было возможности. Приходилось пережидать, пока не пройдёт волна дезертиров.

Чтобы ещё ярче описать солдатское безобразие, забегу месяца на три вперёд, когда власть перешла от Комитета общественной безопасности к Совету солдатских и рабочих депутатов. Это событие произошло в июле или августе.

Рота солдат, следовавшая маршрутным порядком из Ачинска на фронт, решила, что если она опоздает на фронт на неделю-другую, то всё равно успеет заключить с немцами сепаратный мир «без аннексий и контрибуций». А пока что нужно взять на себя миссию «углубления революции» в попутных городах. Благо там живут такие дураки, которые не понимают, что необходимо делать и каким способом нужно вводить «углубление революции». И вот в один прекрасный день на улицах Екатеринбурга появилось это храброе воинство, до такой степени разукрашенное в красные лоскутья, что издали напоминало скорее бабий хоровод из прежнего доброго времени, чем роту солдат. Солдаты эти шли вперёд не в стройных колоннах или

шеренгах, а гурьбой. Нет, «революционная дисциплина», очевидно, требовала и здесь новых форм, нового, небывалого построения. Поэтому эта красная рота, взявшись за руки и образовав большой круг, катилась колесом по земле, причём каждому солдату приходилось идти то левым боком, то пятиться назад. Таким порядком докатилась она до совдепа, откуда вышла депутация приветствовать «героев». И вместо того чтобы привести их в порядок или арестовать — или, наконец, просто высечь, как секут малых детишек за шалости, — представители совдепа вызвали духовой оркестр, которому и поручено было сопровождать роту в её торжественном продвижении по городу.

Завидев это милое воинство, в городе поднялась паника. Все магазины, банки и частные квартиры закрыли свои обычно гостеприимные двери, опасаясь погрома. Но, слава Богу, до этого не дошло. Всё внимание роты было направлено на уничтожение главной язвы народной, главной эмблемы контрреволюции — памятников императорам и изображений Российского герба на вывесках и в общественных зданиях.

Однако всё, что не требовало особого напряжения сил, уже было разрушено местными «патриотами революции». Ачинцам оставались такие сооружения, на разрушение которых требовалась затрата и времени и труда. Можно было проявить своё усердие в деле разрушения портретов русских писателей (царских к тому времени уже не было), чем они и занялись и в Горном музее, и в реальном училище. Не пощадили портретов ни Пушкина, ни Гоголя, ни Достоевского.

Забрались они и в Государственный банк, но двери кладовых были заперты, и выемки кредитных денег им сделать не удалось. Кстати, изображения царских портретов на кредитных билетах их не возмущали. Если такие кредитки и попадались, то тщательно прятались в карманы.

Как я был бы счастлив, если бы кто-либо из состава этой роты когда-нибудь под старость лет прочёл эти строки, дабы почувствовать, каким он был дураком, и стыд за содеянную глупость в деле уничтожения портретов наших писателей залил бы его лицо.

* * *

На одном из заседаний Комитета был сделан запрос:

— Почему Комитет заставляет нас заседать в зале, где до сих пор уцелела вывеска «Императорское Музыкальное Училище»?

— Позвольте узнать, где вы усматриваете такую вывеску? Я

вижу только три большие буквы «И.М.У.».

— Ну да это же и есть «Императорское Музыкальное Училище».

— Нет, гражданин, вы жестоко ошибаетесь. Со дня революции эти буквы гласят: «Интернациональное Музыкальное Училище». Надеюсь, вы довольны моими разъяснениями?

Поднялся хохот, и депутат сконфуженно замолк.

Можно ли было в таких условиях продолжать вести войну?

* * *

Почта тоже находилась в ужасном состоянии. Надо сказать правду, что требования чиновников об увеличении штата и прибавках к зарплате были вполне справедливыми. Средств у нас не было, а потому на помощь почте были приглашены добровольцы без оплаты их трудов. Также и мы, занимавшие выборные должности, не получали ни копейки.

Откликнулась и учащаяся молодёжь, оказав большую помощь в деле сортировки и разноски писем.

* * *

Один только суд остался совершенно не тронутым. По крайней мере в Екатеринбурге первые две — а может, и больше — недели окружной суд выносил постановления от имени Императора, ожидая по этому поводу сенатских указаний.

* * *

А центр бездействовал. Бездействовал настолько, что даже не отвечал на телеграфные запросы. Видно было, что там разруха ещё большая, чем у нас. В Комитете общественной безопасности ожидали, что в самом непродолжительном времени пришлют новых губернаторов, назначенных Государственной Думой из числа её членов. Но, увы, этого сделано не было.

Все лица, ввергшие и Думу, а следом за ней и всю страну в революцию, оказались далеко не государственными людьми. В сущности, именно им мы больше, чем Керенскому, Ленину и Троцкому, обязаны революцией.

РЕФОРМА ПРАВОПИСАНИЯ

Учащаяся молодёжь, конечно, сильно реагировала на происходящие события. В школьном деле следует прежде всего отметить введение профессором Мануйловым упрощённого правописания. Им были изгнаны из русского алфавита буквы: ять, фита, ижица, твёрдый знак и «I» с точкой. Я не филолог, а потому моё мнение не может быть компетентным. Однако, памятуя, как тяжело давалось мне правописание, я охотно приветствовал всякое облегчение правил. Всё же мне думается, что и здесь переборщили. Можно было оставить твёрдый знак в середине слов, да и букву «Ѣ» в некоторых корнях, где она делает различие в самом смысле слова. Например: «осёл мёл» или «осёл мѢл». Как читать после реформы эти совершенно разные по понятию фразы?

Говорят, профессор Мануйлов давно настаивал на проведении реформы правописания, но Академия наук её отвергла. Пройди она раньше, до революции, она была бы принята с большой радостью почти всем населением России, но ныне она внесла большой разлад и в школу, и в жизнь. Буквы «Ѣ» и «Ъ» стали служить признаком политических воззрений. Революционеры против них ополчились и буквы эти не писали. Реакционеры, обратно, усиленно писали и «Ъ», и букву «Ѣ» даже в тех случаях, когда наша грамматика не требовала их присутствия. Это различие в правописании внесло большую страстность в общество, а при коммунистах письма, написанные по старой орфографии, не достигали адресата. Иногда писавшего по старой орфографии привлекали к суду революционного трибунала за контрреволюционность.

Надо сказать, что и ранее проведения этой реформы многие либералы отказались проставлять «Ъ» в конце слов, как делал теперь и я, ради экономии и места, и времени. Припоминается такое почти анекдотическое духовное завещание, утверждённое судом. Составил его один верхотурский купец, очевидно, большой самодур.

После распределения своих капиталов между родственниками он пожелал оставить две тысячи рублей семейной чете в какой-то почтовой конторе за их вежливое отношение к публике, причём фамилии их купец не упомянул. Приказчику же своему оставил три тысячи рублей, но с тем, чтобы выдать таковые спустя три года после смерти. Но выдача этой суммы могла быть осуществлена только в том случае, если приказчик в течение этих лет будет неукоснительно проставлять букву «Ъ» во всех словах, где того требует русская грамматика.

Следить же за его правописанием купец предоставил местным благотворительным обществам. То из них, которое первое уличит приказчика в нежелании писать эту букву, и обязано будет получить эти три тысячи в свою пользу.

Самодур купец даже из могилы грозил пальцем либералу приказчику…

Помимо буквы «Ѣ», яблоком раздора были уроки Закона Божьего. Революционеры требовали их уничтожения, реакционеры — обязательного преподавания. Серединного решения, а именно: не уничтожая уроков Закона Божьего, сделать их необязательными для учащихся, — никто не предлагал.

По этим причинам родительские комитеты, влияния коих так добивались ранее, становились всё более ненавистными «реакционно» настроенным родителям. Дети тоже разделились на две партии и всё меньше уделяли внимания наукам, отдавая время политике.

ТОРГОВЛЯ И ФИНАНСЫ

По мере разрушения транспорта и уменьшения производительности заводов стал быстро разрушаться торговый аппарат. Наш Комитет очень мало времени уделял вопросу снабжения, и спекуляция, притихшая было в первые дни революции, росла с каждым днём. Наконец, был нами избран и Продовольственный комитет, в председатели коего попал Строгонов, инспектор реального училища, стоявший всю жизнь далеко и от торговли, и от промышленности.

К этому же времени относится и усиленное развитие кооперативов. К сожалению, с созданием этих полезных учреждений в России запоздали. Быстрое их насаждение и развитие было чрезмерным увлечением, ибо возникали они на средства казны, становясь паразитами и подтачивая курсовую стоимость кредитного рубля. В кооперативы бросились служить совершенно не знакомые с торговлей люди, в большинстве своём принадлежащие к партии эсеров.

Знаний не было, во многих обществах не было и бережливого отношения к товарам и деньгам. Так, одно из крупных учреждений, несмотря на большую задолженность Госбанку, обратилось к нам с просьбой о большом кредите, суммой в один миллион рублей.

Я поехал с председателем общества осматривать их склады товаров. Запасы были велики. Товары валялись прямо на земляном полу. Зима была снежная, и я указал председателю на опасность такого хранения товаров, ибо с наступлением весны товары могли быть подмочены. Он обещал прорыть вокруг канавы, но досок не настелил. Когда пошло дружное таяние снегов, мои опасения оправдались: товары были залиты водой. Хорошо, что я отказал в кредите. Впоследствии, при коммунистах, кооперативы заработали вовсю, и пополнение складов делалось за счёт реквизиций у буржуазии.

Реквизиции пошли на сахар, табак и спички. Начали реквизировать запасы частных лиц и организаций. Так, лично у меня произвели обыск на другой же день моей отставки из Комитета общественной безопасности.

Во двор банка ввели военный караул из четырёх солдат, которые расположились под навесом, где преблагополучно заснули. Их забыли и никого на смену не присылали. Мне стало жалко солдат, и на другой день я напомнил по телефону председателю совдепа прапорщику Быкову о судьбе караула. Несмотря на его обещание, смена всё же не пришла, и на вторые

сутки, под вечер, заскучавшие солдаты ушли сами, не дождавшись смены. Обыск был произведён на другой день после ухода караула. В результате отобрали восемьдесят восемь пудов муки, принадлежащей банковскому кооперативу. В моей квартире обыск был весьма слабый, и ровно ничего не отобрали. Скверные ощущения приходилось переживать во время этих обысков, так как, с одной стороны, никто не знал, что запрещено хранить, а с другой — трудно было расстаться, скажем, с сахаром, который на рынке нельзя было достать и жить без которого было тяжело. Помню декрет коммунистов, запрещающий иметь более двух смен белья и одни сапоги. Всё это приходилось прятать и переживать тревожные минуты, когда «товарищи» подходили близко к укромным местам.

В области финансовой следует отметить усиленную деятельность печатного станка. Кредиток не хватало, несмотря на появление совершенно непригодных по виду, без всяких номеров и подписей разменных знаков казначейства сорока- и двадцатирублёвого достоинства, получивших наименование «керенок». По справедливости их следовало бы назвать «бернадками», по имени выпустившего их профессора Бернадского в бытность его министром финансов.

Кредитных знаков настолько не хватало, что впервые начали выпускать «зелёные деньги», называемые так по их расцветке. Называли их и деньгами «с баней» — на кредитках вместо портретов Государя довольно неудачно была изображена Государственная Дума. С самого начала публика, хотя и не отказываясь их принимать, относилась к ним с меньшим доверием, чем к царским деньгам. Нетрудно было предсказать, что закон Грехама вступит в силу. Так и случилось: царские деньги, как лучшие по исполнению, стали оседать в крестьянских кубышках, чем ещё более способствовали денежному голоду.

С грустью следует отметить и начинания в области финансов Шингарёва, на которого с такими надеждами взирала вся Россия. Особенно неудачной оказалась шкала прогрессивного подоходного налога, достигавшего девяноста процентов прибыли. При падении курса кредитного рубля это не только сводило к нулю конечную деятельность крупных торговцев и промышленников, но и делало её убыточной. Стоимость основных капиталов, исчислявшихся ранее в золоте, сократилась на одну треть.

Ясно, что буржуазия начала скрывать свои доходы. Особенно способствовал этому закон, предоставивший податным инспекторам право запрашивать банки о состоянии счетов клиентов и делать выборки из книг, что ранее было доступно

только судебным следователям. Покончив таким образом с «коммерческой тайной», шингарёвский закон способствовал финансовой разрухе: капиталисты перестали вносить деньги на текущие счета, что значительно сократило чековое обращение.

Интересно отметить то обстоятельство, что цена золота в слитках, дошедшая в конце 1916 года до четырнадцати-пятнадцати рублей за золотник, в самом начале революции начала падать и снизилась до десяти-одиннадцати рублей. Это объяснялось отнюдь не поднятием курса кредитного рубля, а уверенностью, что будет введена монополия на золото.

К этому же времени следует отнести и образование Совета съездов банков и образование банковских комитетов в провинции, иначе говоря, началось объединение акционерных банков. В то время в Екатеринбурге, помимо Государственного банка, Городского банка и Общества взаимного кредита, не входящих в Банковский комитет, функционировали отделения нескольких столичных банков. Это были Сибирский банк, управляемый Г. А. Олесовым, Волжско-Камский, управляемый мною, Русско-Азиатский банк во главе с Г. П. Тяхтом, Русский для внешней торговли банк с управляющим Г. Г. Шварте, недавно открытый Азовско-Донской банк, управляющим которым состоял В. Ф. Щепин, и Петроградский международный банк во главе с М. М. Атласом.

На первое заседание Банковского комитета мы собрались в Сибирском банке. Олесов был старейший из нас и по возрасту, и по выслуге лет. Будучи управляющим банком, он состоял и членом совета Сибирского банка. Поэтому я и предполагал, что именно Олесов будет выбран председателем. Но случилось иначе: он получил только два голоса, из коих один был мой. За меня же подали голоса все остальные, почему я и оказался на этом ответственном посту.

Очень часто на заседания комитета приходили и управляющий Государственным банком Василий Васильевич Чернявский, и управляющий Городским банком Комнадский. Оба не имели официального права голоса. Но к голосу Чернявского все прислушивались более, чем к остальным, так как банки находились в сильной зависимости от Государственного банка.

КОНЧИНА ИСПОЛКОМА

Комитет общественной безопасности просуществовал не более трёх месяцев и умер естественной смертью. Наши левые коллеги по Исполнительной комиссии, рьяно её посещавшие, стали постепенно охладевать к работам и кончили тем, что, являясь к началу заседания, демонстративно удалялись, как только председатель объявлял заседание открытым. Проделав эту демонстрацию раза два, они совершенно прекратили свои посещения комиссии. Заседания же Комитета они посещали ещё с месяц и кончили тем, что внесли проект слияния Комитета общественной безопасности с Советом рабочих и солдатских депутатов, предоставив Комитету очень малое количество мест, что делало наше пребывание там непродуктивным.

Слово депутата, даже представителя меньшинства, имеет огромное влияние на общественное мнение. Этого обстоятельства и не учёл Кроль. Он не сумел склонить Комитет к слиянию. Я считаю, что в этом его большая ошибка.

Оставшись без левой оппозиции, наша работа пошла бы скорее. Но не на что стало бы опираться власти для проведения постановлений в жизнь.

Учитывая это обстоятельство, я представил проект реформирования Исполнительной комиссии: свести число её членов с тридцати до пяти, сделать должности оплачиваемыми, так как все три месяца никто из нас не получал вознаграждения за свои труды. Для меня было непонятным, на какие средства живут люди, так самоотверженно работающие целыми днями. Только те, кто носил военную форму, имели свой угол в казарме и солдатское питание. Большинство представителей демократической группы были рабочими, получавшими за свою работу гроши. Так могли работать только русские общественные деятели. Ни в одной цивилизованной стране этого не было. Правительство, несмотря на всю огромность нашей работы, не ассигновало нам ни копейки. Поддерживала нас городская дума слабо, занимая деньги под векселя у местных банков, да бывали кое-какие частные пожертвования.

Мой проект был одобрен Комитетом, и, когда приступили к баллотировке, я отказался выставить свою кандидатуру и избавился от тяготившей меня политической деятельности. В комиссию были избраны три социалиста и, кажется, два меньшевика. Это заставило Кроля, как кадета, уйти с председательского места, и председателем был избран И. С. Сергеев — член местного суда.

Заседания стали беспорядочными и малоинтересными. Посещения заседаний сократились, и за отсутствием кворума Комитет прекратил своё существование.

Не могу не отметить ещё тяжелую работу Исполнительной комиссии в связи с амнистией сперва политических, а затем и уголовных преступников. Политических, говорят, было в Сибири до сорока тысяч человек. Почти все они проследовали через Екатеринбург, направляясь в столицы во главе с Брешко-Брешковской, этой богородицей русской революции. Её торжественно встречали на вокзале. Уже тогда меня так тошнило от революции, что я отказался встречать Брешко-Брешковскую, отговорившись массой дел.

Всю эту свору политических «героев», к коим, по сравнению с коммунистами, так гуманно относился Император, приходилось встречать на вокзале, угощать бесплатными обедами. Наши дамы, взявшие на себя хлопотливые обязанности распорядительниц, чрезвычайно редко слышали от них «спасибо». Наоборот, бывали случаи, когда проезжавшие оставались недовольными приёмом и столом и не стеснялись это высказывать.

По распоряжению Керенского уголовные имели право, сделав заявление о поступлении в армию, требовать освобождения из тюрьмы. На деле же, надев солдатскую шинель, они оставались на местах и начинали заниматься самым нахальным грабежом.

Предложение моё изолировать их, образуя особые роты, дабы спасти армию от тлетворного влияния уголовников, успеха не имело.

Если Ленин воспользовался впоследствии всей этой сволочью в целях создания наибольшей анархии, то для чего понадобилось выпустить преступников Керенскому, я понять не могу до сих пор. Думается мне, что это было простым недомыслием премьера.

Отлично помню такую картину: я сижу в кабинете Исполнительной комиссии, ко мне входит здоровенный мужчина и садится против меня на табуретку.

— Что нужно гражданину?

Молчание.

— Кто вы такой?

— Мы?

— Ну да, вы.

— Мы — убивцы.

Невольно с робостью останавливаю свой взгляд на его руках, но следов крови не вижу.

В результате — денежное пособие.

ЛЕТО 1917-го

По выходе моём из Исполнительной комиссии Комитета общественной безопасности я решил хорошенько отдохнуть и если не навсегда, то на долгое время отойти от всякой общественной и политической деятельности. К тому же это решение диктовалось необходимостью разобраться в делах банка, к коим я почти не прикасался все два последних месяца.

Наступившее лето тянуло за город, и мы, сняв дачу Голандского, с удовольствием в начале июня переехали в Шарташ, как только позволили работы по достройке дачи. Помню, что Голандский сдавал её за шестьсот рублей. Цена, судя по даче, была недорогая, но падающий рубль заставлял экономить, и мы решили проводить лето в городе, благо при квартире был большой сад.

В начале мая, посмотрев в таблицу выигрышей в лотерею Государственного Дворянского банка, я заметил, что выиграл пятьсот рублей. Несмотря на маленькую сумму, я ужасно обрадовался. Ощущение было такое, будто на небесах обо мне вспомнили и погладили по головке. Я тотчас побежал к себе и поделился с женой и ребятами радостью, которая и повела к семейному постановлению истратить выигрыш на наём дачи.

Погода стояла всё время чудная, жилось хорошо, особых репрессий со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов не производилось. Правда, некоторое неудовольствие вызывал приказ об экипажной повинности, в силу которого частный владелец, если у него имеется две лошади, обязывался поставлять в очередь, за которой следила милиция, одну упряжку в распоряжение совдепа на целый день.

Лошадей при этом держали не кормя и портили немилосердно. Начались также и социалистические опыты по равномерному распределению пищевых продуктов, особенно сахара, муки, круп и масла. Это делалось главным образом за счёт запасов «буржуев», отобранных при обысках и реквизициях. При этом частенько забиралось не только то, что подлежало уравнительному распределению, но подчас и кое-какие ценные безделушки, ничего общего с пищевыми продуктами не имеющие. Случаи эти пока бывали редки.

Правда, провинциальные хозяйки, привыкшие летом и осенью делать заготовки впрок, очень волновались. Уж очень им не хотелось работать, не будучи уверенными, что все заготовки не будут отняты. Некоторые дачники, привыкшие видеть во мне представителя революционной власти, обращались с просьбой

поднять этот вопрос в Совете рабочих и солдатских депутатов, чтобы добиться декрета, гарантирующего от реквизиций хозяйских запасов.

— Позвольте, — говорил я, — предположим, что такой декрет выйдет и мы сделаем заготовки. А «товарищи» их, конечно, делать не будут. В результате, когда большинству станет голодно, декрет этот отменят и отберут продукты точно так же, как отбирают теперь, нарушая основные законы собственности.

— Да помилуйте, — возражали мне, — ведь тогда никто из нас не станет делать заготовок, и зимой наступит голод.

— Непременно наступит, в этом я более чем уверен. Ведь социализм, равно как и коммунизм, потому-то и не может практически осуществиться, что непременным образом поведёт к голоду в городах. Ведь, согласитесь сами, и ранее на мужике ездили, а он всех нас кормил, и теперь на нём хотят ездить. Ранее мужику платили мало до смешного, и даже такими продуктами отрицательного характера, как водка, но всё же платили, а теперь платить не будут. К чему же это поведёт? Поведёт к войне городов с деревней, самой жестокой войне, какую только видел свет. А если эта война разразится, то позвольте спросить: чем она кончится? Кто победит?

— Конечно, деревня, — отвечали мне.

— Ну, а если деревня, то и социализму всякой формы крышка, ибо наш крестьянин нисколько не меньший собственник, чем французский во время Французской революции. По-моему, перед нашей интеллигенцией теперь остаётся только один путь: пока не поздно, всеми силами стараться урвать себе кусочек земельки и бежать из зачумлённого города. Сам я купил себе шесть десятин земли у разъезда Хохотун и начинаю строить небольшой хуторок.

Кое-кто соглашался, кое-кто посмеивался, но никто ничего не предпринимал.

Революцию всё ещё называли «бескровной», и большевики ещё не находились в фаворе у большинства армии. Это было время, когда Керенский собирался удивить мир своим грандиозным наступлением, когда, объезжая войска, он вместо расшатанной им же дисциплины, митинговым порядком хотел достигнуть чуда, чтобы вся наша армия добровольно положила свою голову за Родину и за него, Керенского. А чтобы подлецы офицеры не вздумали угрожать солдатам расстрелом, если последние не пойдут на верную смерть, как это делается во всех армиях света, он не подавал им руки и тряс руки солдат, швейцаров и дворников, всячески стараясь дискредитировать наше офицерство в глазах солдат.

Однако далеко не все придерживались отрицательного взгляда на деятельность Керенского. Многие верили в его силу и смотрели на него как на спасителя России. По этому поводу, конечно, шли бесконечные споры.

Впрочем, тогда все только и делали, что митинговали и спорили.

Бывало, вечером идёшь мимо театра и видишь, что здание окружено солдатами. Значит, идёт митинг, на коем эти умные головы решают вопрос: что лучше — драться ли с немцами или брататься? Какой ужас — ради партийных достижений большевики ставили на карту интересы не только целой нации, но и союзных армий!

Неужели наше Временное правительство не могло понять, что при таком развале армии драться нельзя, армия больна злым недугом и единственное средство спасения России — выход из Четверного Согласия и заключение мира с немцами на более или менее почётных условиях?

Я глубоко верю, что до июльского наступления немцы пошли бы на мир на гораздо более льготных условиях, чем это сделали они осенью в Бресте. Тогда и большевикам не так легко было бы овладеть Россией.

Да, легко рассуждать об этом теперь, но тогда на эти вопросы смотрелось под иным углом зрения. Тогда никто из нас не мог допустить и мысли о возможной измене союзникам. Как изменить данному обещанию? Как бросить союзников на произвол судьбы? Это казалось столь нелепым, столь чудовищным, что поневоле верилось в возможность если не успеха, то некоторых достижений от ожидаемого наступления. И пока на фронте подготовлялось это наступление, мы в тылу кейфовали, митинговали и делали всё, чтобы углублять революцию.

Июльское наступление, или, правильнее сказать, позорное бегство армии с фронта, не внесло особо печальных мыслей в обывательскую голову. Всякий мыслящий гражданин отлично понимал, что мы летим в пропасть, и на разрушение армий смотрел как на нечто неизбежное, предопределённое судьбой… Не всё ли равно, упадём ли мы на дно этой пропасти несколькими мгновениями ранее или позднее?..

Другая часть граждан уже успела воспринять доктрины Маркса и очутилась в лагере большевиков, верящих в возможность и необходимость заключения мира с немцами «без аннексий и контрибуций». Июльские неудачи на фронте только приближали в их глазах грядущий социалистический рай…

Кстати, считаю долгом увековечить здесь остроумие одного служителя церкви в Кронштадте, который, судя по газетам,

выходя с дарами, произносил молитву собственного сочинения: «Мир всему миру, без аннексий и контрибуций». А хор пел: «Подай, Господи».

Всё же июльский позор армии не прошёл бесследно для нашего города, так как давно пустующие лазареты вновь наполнились ранеными. В то время я редко посещал наш лазарет, но уверен, что если ранее его наполняли под видом раненых солдаты с венерическими болезнями или самораненые, т. е. герои, сами отстрелившие себе пальцы, для того чтобы уйти с фронта, то, вероятно, теперь лазареты заполнились раненными главным образом в спину, так как всё это были трусы, бежавшие с фронта.

Наш демократический Екатеринбург, горячо и патриотически настроенный в начале войны, охотно жертвовал на устройство лазаретов. Однако сделанное мною предложение: или устроить в каждом лазарете отдельные палаты для офицерства, снабдив их и лучшим бельем, и лучшими матрасами, или устроить отдельный лазарет для офицеров — не встретило сочувствия жертвователей. Чем же солдат хуже офицера? На фронте офицеры пусть командуют и издеваются над бедным солдатом, а в лазарете — оба раненые и, следовательно, пострадавшие за Родину — должны быть уравнены в правах.

Итак, особых палат для офицеров не существовало. При Керенском раненых перестали и сортировать, что, надо сказать, ранее всё же делали, предоставляя офицерам хотя бы отдельный угол в палатах.

Однажды в лазарет, что был размещён в Коммерческом собрании, привезли и положили в общую палату тяжело раненного офицера.

Очнувшись от обморока или сна и увидав себя окружённым солдатами, офицер этот начал неистово кричать и требовать, чтобы его перевели отсюда, от этой сволочи. Он не желал последние часы своей жизни провести с этими негодяями, с его убийцами. Был он ранен и избит не немцами, а своими, ещё и ограбившими его. При этом каждый, кто обшаривал карманы офицера, замечая в нём признаки жизни, старался прикончить его штыком.

И вот, несмотря на тогдашнее всемогущество солдат, никто не протестовал против ругательств офицера, а администрация позаботилась исполнить просьбу страдальца и перевела его в отдельную комнату. Этот случай я сохранил в памяти со слов старшей сестры нашего лазарета.

Нашими ближайшими соседями по даче оказалась семья Юровского. Дачу они снимали через дорогу от нас, и, по-

видимому, у них жило ещё несколько солдат-коммунистов.

Юровского, впоследствии сыгравшего главную роль безжалостного палача Государя и его семьи, я немного знал ещё до революции. Он имел небольшую моментальную фотографию, и раза три моя семья снималась у Юровского.

В первый же день, как только образовался Комитет общественной безопасности, ко мне подошёл Юровский и вручил пятьсот рублей вместе с подписным листом.

— Эти деньги я собрал среди местного еврейства для нужд Исполнительной комиссии. Прошу принять и выдать квитанцию.

Второй раз он обратился ко мне с просьбой выдать ему как уполномоченному Советом рабочих и солдатских депутатов мандат на занятие под совдеп дома Поклевского-Козелла.

Мне очень не хотелось давать ему это разрешение: Поклевский-Козелл состоял членом совета нашего банка и я был с ним в дружеских отношениях. Поэтому я предложил Юровскому остановить свой выбор на каком-нибудь другом особняке.

Но он, придя на другой день, настаивал на выдаче мандата именно на этот дом.

— Да чем он так вам понравился?

— Не мне, а совдепу. Мы постановили занять его во что бы то ни стало, потому что Поклевский-Козелл всегда предоставлял его в полное распоряжение всех губернаторов и высоких чиновников, приезжавших в Екатеринбург. Пусть же теперь окажет гостеприимство и нашему совдепу.

Пришлось выдать мандат на занятие верхнего, парадного этажа.

В конце лета говорили, что через Екатеринбург проследовали на восток два поезда с Царской семьёй. Говорили, что по желанию Государя где-то на Урале поезд был остановлен и заключённый Царь прошёлся пешком по полотну дороги.

Засим дошли известия о прибытии Царя в Тобольск и о том паломничестве, которое проявил народ, приходя в этот город с целью взглянуть на Царскую семью. Один из семьи мукомолов Степановых рассказывал, что он лично ездил в Тобольск и видел, как толпа во время прохождения Царя в собор стала на колени и пела гимн. Все эти рассказы производили на нас сильное впечатление, радовали и даже бодрили.

Впрочем, в то тяжёлое время радовал и рассказ инженера Б. Н. Карпова о том, что в Туринске он увидал стоящего на площади городового в полной форме.

— Это так обрадовало меня, что я ни с того ни с сего дал ему трёшницу на чай.

* * *

К этому времени относится введение твёрдых цен на хлебные продукты. К сожалению, этих цен я не помню, но стоимость заготовляющего хлеб аппарата вылилась в семь процентов от стоимости закупленного зерна. Цена самого хлеба образовывалась за счёт расходов за транспорт, хранение, не говоря уже о проценте за пропавшее зерно — как от стихийных бедствий, так и от воровства. А последнее, по-видимому, процветало.

Наши мукомолы, посматривая на афиши с ценами на хлеб, покачивали головами и говорили: «Эх, если бы нам наши мельницы отчисляли бы такую прибыль, мы давно были бы архимиллионерами».

Всех поражали те колоссальные цифры бюджетных расходов, о которых докладывал на Всероссийском съезде в Москве министр Некрасов.

Кстати, в сколько-нибудь благоприятные результаты этого совещания никто не верил, но зато правые всё чаще начали останавливать своё внимание на имени генерала Корнилова, ставшем для них заветным. Верилось, что именно он спасёт Россию.

В конце лета к нам приехали погостить Митя и Володя Лифлянды. Их прислала Мария Николаевна, чтобы немного отдохнуть и попитаться вкусным провинциальным харчем, что указывало на ещё большее расстройство продовольственного дела в Петрограде.

«ЗАЁМ СВОБОДЫ»

Начало осени 1917 года ознаменовалось в финансовой области денежным голодом, несмотря на выпущенные «зелёные деньги» достоинством в двести пятьдесят и в тысячу рублей и «керенки» в двадцать и сорок рублей.

В сущности, произошло второе банкротство Государственного банка. Первым его банкротством, конечно, следует считать приказ 1914 года о прекращении размена кредиток на золото. Посыпались циркуляры из правлений банков о принятии всех мер к увеличению подписки на «Заём Свободы». С этой целью рекомендовалось устраивать особые праздники «Займа Свободы». Путём размещения большого количества облигаций рассчитывали снять с рынка побольше кредитных билетов и тем ослабить работу печатного станка.

Под председательством управляющего Государственным банком В. В. Чернявского была образована комиссия, которая и решила устроить праздник «Займа Свободы».

В эту комиссию входили представители всех политических партий и союзов. Нам удалось войти в соглашение и с местными большевиками о прекращении на время агитации, направленной против займа.

Мне пришла в голову довольно удачная мысль: устраивать в день праздника на улицах и в общественных местах лотереи «Займа Свободы». Я предложил делать это так: продавать из ордерной книжки сто пронумерованных билетов по одному рублю. Когда все сто билетов оказывались распроданными, то при помощи мешка с бочоночками от лото разыгрывали одну сторублёвую облигацию «Займа Свободы». А так как её выпускная цена была назначена в восемьдесят пять рублей за сто, то от каждой облигации оставалась прибыль в пятнадцать рублей, каковую и решили направить на благотворительные цели.

Проект был принят и в день праздника имел большой успех. Сам же праздник состоял в том, что у каждого банка был устроен разукрашенный киоск, из которого продавали лотереи «Займа Свободы», принимали подписку на более крупные суммы и тут же разыгрывались сторублёвые облигации. Надо сказать, что лотерейные билеты брались нарасхват; покупавшая их публика здесь же ожидала розыгрыша, толпясь около киосков, и через каких-нибудь полчаса облигация уже передавалась счастливцу под одобрительные возгласы собравшейся толпы.

Днём же, в целях рекламы праздника, по городу ездил кортеж из экипажей, украшенных цветами и флагами.

Вечером клубный сад был переполнен. Вместо киосков были расставлены многочисленные столики, где торговля билетами шла очень бойко.

Однако праздник, несмотря на все наши старания и обилие кредитных денег на руках, совершенно не удался. В этот день было распродано и разыграно лотерей всего на восемьдесят тысяч рублей. Правда, подписка в банках дала около миллиона, но эта цифра далеко отставала от обычных подписок на военные займы, где, помнится, одно наше отделение давало не менее миллиона рублей.

Одно из многолюдных заседаний комиссии по устроению этого займа, благодаря моему неосторожному выступлению в защиту пленённого в Тобольске Государя, мне хорошо запомнилось.

Я был настроен нервно, и в ответ на выступления нескольких большевиков, начавших, по обыкновению, поносить имя Государя, называя его убийцей и дураком, я взял слово и обратился к хулителям со словами, произведшими впечатление разорвавшейся бомбы. Вся публика как-то отшатнулась от меня и застыла на местах. Я же при гробовом молчании сказал:

— Какое отношение имеет ваша пропаганда, направленная против несчастного узника, томящегося в Тобольске, к «Займу Свободы»? Я понимаю злостную и ложную пропаганду до момента отречения Монарха от престола. Как говорят, «цель оправдывает средства». Но теперь, когда Государь отрёкся от престола, не выговорив себе никаких прав и гарантий, эти разговоры только отрывают нас от насущных вопросов дня и производят совершенно отрицательное впечатление на слушателей, вызывая только чувства сожаления к Монарху, что и подтверждается паломничеством в Тобольске. Я бы просил господина председателя не допускать здесь посторонних разговоров, а держаться ближе к повестке дня.

Это, кажется, было единственное слово, сказанное в защиту Царя в Екатеринбурге.

В защиту же Государя, по слухам, выступил какой-то, очевидно, обезумевший офицер на одной из промежуточных станций между Пермью и Екатеринбургом. Он вдруг выскочил с шашкой в руках из здания вокзала с громким пением «Боже, Царя храни», бросился на солдат, находившихся на дебаркадере, и был убит на месте.

Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя спокойно после этого неосторожного выступления. Несмотря на то что на заседании оно прошло при полном молчании и без знаков протеста, я несколько дней опасался ареста. Но такового не

произошло. Вспоминая о предложенном мною плане устройства лотереи «Займа Свободы», должен сказать, что совершенно не рассчитывал на сильное распространение этого способа не только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. Сперва этим способом добывания денег стали пользоваться благотворительные общества. Он как бы заменил собою кружечный сбор. Но эти летучие лотереи стали источником питания для многих любителей наживы и привились на железных дорогах, где в вагонах скучающей публике продавались импровизированные билеты. Зачастую выигравшим облигацию частенько являлось подставное лицо.

* * *

С праздником «Займа Свободы» совпали события, связанные с предательством Керенским генерала Корнилова. В сердцах всей буржуазии и интеллигенции Екатеринбурга теплилась вера и надежда на благополучный исход борьбы. Да и как было не верить в успех, если провал выступления означал провал России?!

Мозг человеческий отказывался верить в полный захват власти большевиками. Правда, уже тогда власть фактически находилась в Советах рабочих и солдатских депутатов, но учреждения большевикам принадлежали не вполне. После провала выступления Корнилова эти учреждения всё больше становились коммунистическими.

На крушение корниловского движения сильно реагировал и биржевой хронометр. Стоимость золота в слитках сделала на частной бирже в Москве огромный скачок вверх: с двадцати до сорока восьми рублей за золотник. До некоторой степени это определило и курс кредитного рубля в двенадцать копеек.

* * *

К этому времени относятся невероятные запросы к банкам со стороны промышленности. Уральские заводы на заседании съезда управляющих, пригласив Банковский комитет, предъявили нам требование о кредите на сумму в сто сорок миллионов рублей для закупки овса, столь необходимого для гужевой перевозки дров, угля, руды и железа. Городская управа требовала два миллиона, а кооперативные банки просили шесть миллионов рублей.

Помню, что на съезде управляющих заводами я на заданный

мне вопрос решил отвечать прямо, пренебрегая коммерческой тайной, и обрисовал как мог картину полной беспомощности банков.

— Причин много. Главная из них — разорившая страну война и анархия как следствие революции. Банки почти на четыре пятых потеряли свои основные капиталы, до войны исчисляемые в золоте, ибо они стоят на балансе всё в тех же кредитных рублях, а рубль потерял четыре пятых своей стоимости. С другой стороны, вклады в банки возросли, но их соотношение к эмиссиям кредитных рублей изменилось в корне, и не в пользу банков. Так, до войны вклады и текущие счета всех банков равнялись приблизительно трём с половиной миллиардам, что — при общей сумме выпущенных кредитных билетов в полтора миллиарда — превышало таковую в два с половиной раза. К моменту начала революции эмиссия уже подошла к восемнадцати миллиардам, а вклады и текущие счета, по последним сведениям, едва превышают одиннадцать миллиардов вместо сорока пяти, каковыми они должны быть при условии сохранения той же мощности капиталов банков. Теперь же, во время революции, у меня нет сведений о количестве выпущенных денег, а вклады банков не могли сколько-нибудь возрасти, особенно после законов Шингарёва. Куда же делись эти недостающие в банках суммы? Отчасти они на руках буржуазии, которая прячет капиталы от непомерных обложений. Но, конечно, главная масса дензнаков находится в крестьянских кубышках, к которым наше министерство не сумело подойти. Поэтому банковский аппарат стал слабее чуть ли не в четыре с половиной раза.

Печатный станок настолько стал отставать от потребностей рынка, что Государственный банк не только стал отказывать частным банкам в кредите, но и не мог оплачивать чеки по простым текущим счетам. Это обстоятельство принудило меня выступить в Банковском комитете с проектом выпуска особых безденежных чеков.

Этот проект заключался в следующем. В кладовой Государственного банка к этому времени скопилось много чековых книжек. Каждый из частных банков, получив по нескольку книжек, стал выписывать чеки на пятьдесят, сто и пятьсот рублей. Все эти чеки были направлены в Государственный банк, который, поставив на обороте свой штамп, выпустил их в обращение как кредитные билеты.

Чеки эти стали быстро распространяться. Нельзя сказать, чтобы их брали охотно, но всё же за неимением других знаков денежного обращения чеки постепенно привились.

Благодаря этой мере Екатеринбург довольно долго не вводил

ограничения в оплате чеков, практиковавшиеся в ноябре почти всеми банками не только в провинциях, но и в столицах.

Но этот проект имел и отрицательное свойство. Когда деньги поступали из Петрограда в Государственный банк, то образовывались длинные хвосты держателей чеков для обмена таковых на кредитные билеты.

ПРИХОД БОЛЬШЕВИКОВ

Из Петрограда шли вести о полном разгроме верных Временному правительству войск. Почти одновременно вспыхнуло восстание большевиков в Москве, где шли кровавые уличные бои. На стороне Временного правительства были лишь юнкера, студенты и гимназисты и лишь небольшая горстка офицеров. Красные войска обстреливали Москву. Обыватели попрятались по домам. Наконец белые были подавлены… Начались похороны убитых. Как писали в газетах, похороны «красных» были особенно торжественны. Под красными знаменами их несли в красных гробах к стенам Кремля, где и было совершено погребение без присутствия духовенства.

Процессия белых была грустная и траурная. Героев оплакивали матери и отцы. Вместе с погибшими оплакивалась и разбитая красными Россия.

России больше не стало… Взамен образовывалось какое-то непонятное и страшное для меня государство, где вся власть сосредоточилась в жестоких, жадных, тёмных и хамских руках. […]

В Екатеринбурге никакого противодействия захвату власти большевиками сделано не было. Власть и до этого находилась в руках Совета рабочих и солдатских депутатов, там она и осталась. Насколько же изменилась структура этого органа управления, мы не знали. По всей вероятности, все более или менее правые депутаты были удалены и заменены коммунистами.

По этому вопросу была собрана городская дума, и я утешал гласных, уверяя, что переход власти на некоторое время к большевикам есть непременный закон каждой революции. Маятник революции в своём качании всегда отклоняется и в правую и в левую сторону, и, чем скорее власть перейдёт в руки коммунистов, тем, дескать, скорее наступит реакция.

Я говорил, что сама власть обязывает, а если это так, то лица, стоящие у власти, сами поймут абсурдность своих мечтаний и станут праветь. Меня поддерживал С. А. Бибиков. Боже, какими в то время мы были дураками!

Однако вера в то, что власть не сможет продержаться более двух-трёх недель, подсказала управляющим банками такое рискованное решение, как бегство из Екатеринбурга с ключами от кладовых. Совместно с Чернявским мы долго совещались по этому поводу не у меня на квартире, где обычно заседал Банковский комитет, а в клубе.

Меня и Чернявского командировали к бригадному командиру

полковнику Мароховцу. Он сказал нам, что даст ответ, будет или не будет защищать банки от насильственного захвата, только после того, как соберёт митинг солдат.

— Если они согласятся вас защищать, то и я окажу полное содействие. А если нет, так и не смогу оказать вам помощь, даже если буду знать, что всех моих знакомых не только грабят, но и убивают.

Однако ответ сделал своё дело, и мы в ожидании решения митинга отложили бегство из Екатеринбурга.

Газеты описывали бои в Москве и Петрограде. В Екатеринбурге, слава Богу, боёв не было. Коммунисты через совдеп спокойно приняли бразды правления, и никто из нас не последовал примеру Москвы, никто с оружием в руках не вышел на защиту своих прав, на защиту гибнущей Родины.

Первые дни переход власти к коммунистам не был особенно заметен. В Екатеринбург из Кронштадта прибыла сотня матросов, «красы и гордости Русской революции». Начались обыски по квартирам. Производились они почти всегда ночью, часов с одиннадцати. Храбрые вояки врывались в квартиры с ружьями наперевес и начинали всё перерывать. Обыватели абсолютно не знали, что можно было держать, а что — нельзя. Официально искалось оружие, но брали обычно всё, что нравилось. Брали главным образом деньги и драгоценности, хорошее бельё и одежду, брали сахар, конфеты и обязательно отбирали вино. Вечером было опасно выходить, ибо многих останавливали и отбирали деньги и шубу. Останавливали матросы и едущих на извозчиках, как бы производя обыск в целях изъятия оружия.

Сопротивляющихся или тащили в совдеп, или, что ещё было редкостью, пристреливали на месте. Так, труп одного из обывателей, позволившего себе протестовать против обыска, валялся около Горного управления.

Одной из первых жертв наступившей кровавой анархии пал семинарист Коровин. Он отказался помочь «товарищам» починить сломавшийся автомобиль, так как не был техником. Это было около синематографа Лоранжа. Его потащили на вокзал, и на другой день нашли его труп со многими ранами — очевидно, юношу истязали.

Вся учащаяся молодёжь поднялась и решила провести демонстрацию на похоронах Коровина. Но к монастырю были присланы только начинавшие зарождаться красные войска под командованием еврея Голощёкина. Вместо того чтобы обратиться к учащимся, добрая половина которых была гимназисты, с речью и сказать, что случай произошёл по вине безответственных солдат, которых разыскивают и строго накажут, собравшихся

просто разогнали.

В Перми в одной семье произошёл такой печальный случай. Вечером раздался звонок в дверь. Квартира, где проживала семья, была на втором этаже. Открывать пошла горничная в сопровождении дочери хозяйки, гимназистки.

Едва открылась дверь, как с ружьями наперевес вошло шестеро «товарищей». Бедняжка гимназистка испугалась и бросилась бежать наверх, но «удачным» выстрелом из винтовки была убита наповал.

Семья выстрела не слышала и продолжала сидеть в столовой за столом, когда в комнату вошли «товарищи». Жилец, инженер Уржумцев, вскочил со стула, намереваясь уйти в свою комнату, но упал мертвым от «удачного» выстрела, очевидно, того же меткого стрелка.

Затем все присутствующие были отведены в отдельную комнату, связаны и заперты, после чего начался грабёж.

Лично я почему-то избежал обыска, хотя во флигель, где жил Копьёвский, наш бухгалтер, однажды ворвались «товарищи» матросы, сделали обыск, но, ничего не отобрав, удалились, спросив, кто живет наверху над банком. Там жил я, но ко мне в квартиру не пожаловали. Почему — не знаю. Просто спас Господь. В квартиру же Олесова ворвались и сделали тщательный обыск. Искали оружие и платину, а отобрали вино.

У моего соседа по дому, доверенного Невской ниточной мануфактуры, немца Шиллинга, тоже произвели обыск. В результате обыска отобрали деньги и ценные вещи. Когда на другой день он отправился в совдеп с жалобой, то к нему прислали для выяснения дела комиссара, и Шиллинг узнал в этом комиссаре того грабителя, который был у него ночью. В результате комиссар приказал Шиллингу прислать к нему ещё и письменный стол.

Коновалову, родственнику Павла Васильевича Иванова, отсекли голову топором в тот момент, когда он выглянул в дверь.

Были ли это коммунисты или просто шайки выпущенных из тюрем разбойников, сказать утвердительно невозможно, но известно, что при начале обыска всегда показывался мандат за печатью совдепа. Всё это время я почти никуда не показывался и детям запрещал выходить по вечерам.

ВСТРЕЧА С КРЕСТИНСКИМ

Наконец в начале ноября мы были приглашены повестками на заседание в совдеп.

Явившись в указанный час в столь знакомый мне дом Поклевского-Козелла, я не узнал тех чудных барских комнат, в которых так часто приходилось бывать в гостях у гостеприимных хозяев, — до такой степени всё было загажено.

Заседание было назначено на семь часов вечера. Все мы пришли без запоздания и вынуждены были ждать появления Н. Н. Крестинского (впоследствии назначенного минфином, а затем послом в Берлин) более часа. Помимо Крестинского, на заседании присутствовали комиссары Голощёкин и Малышев. Голощёкин произвёл на меня весьма неблагоприятное впечатление резкостью суждений, кои с ясностью указывали на крайнюю неосведомленность в вопросах финансового характера. Во всех его словах, сопровождавшихся резкими, характерными для евреев жестами, сквозила под видом коммуниста логика держиморды. Голощёкин же был из тех коммунистов, служивших в Ч.К., которые так охотно взяли на себя роль палачей. Не без его участия происходило как подготовление к убийству Царской семьи, так и уничтожение следов этого зверского убийства.

Крестинский, которого я видел в первый раз, был тоже евреем, но и по вежливости обращения, и по наружности оставил о себе впечатление гораздо более выгодное, чем Голощёкин.

Открыв заседание, Крестинский объявил нам, что созвал нас для того, чтобы выслушать наше мнение о предстоящей национализации банков и о нормировке в выдаче с текущих счетов.

При этом он предупредил нас совершенно откровенно, что, будучи юристом по образованию и состоя юрисконсультом одного из отделений Сибирского банка, он, тем не менее, никогда решением финансовых проблем не занимался. Банковское дело ему если и знакомо, то только в узкой области вексельного права. В силу этого он просит нас быть правдивыми в наших объяснениях и показаниях.

На заданные вопросы отвечал главным образом я, и, с точки зрения моих коллег, не вполне удачно. По крайней мере моё заявление о том, что лично я приветствую идею национализации банков — конечно, при условии вполне планомерного проведения в жизнь, — не соответствовало их взглядам. Национализацию банков я считал единственным выходом из создавшегося положения.

На самом деле, говорил я, работать при переживаемой анархии совершенно невозможно. Если бы мы и могли продолжать нашу работу, то в результате её банки вместо прибыли давали бы только убытки. Если бы прибыль и существовала, она шла бы в карманы служащих, ставки жалованья которых были непомерно увеличены с первых же дней революции. Теперь же, в переживаемых условиях, когда никто не гарантирован от наложения контрибуции и просто от грабежа, естественно, что банковское дело идти не может. Как мы можем кредитовать под векселя, когда полученная сумма завтра же может быть отобрана у нашего должника?

Саму национализацию я мыслил как акт передачи всех наших активов и пассивов казне под соответствующую расписку Государственного банка. Эта национализация меня устраивала бы больше всего.

Что же касается установления нормы в выдачах, то я просил оставить этот вопрос на решение Банковского комитета. Комитет мог бы дать гарантию, что при условии полного невмешательства в наши дела передача будет выполнена без всяких убытков и потерь.

Это заседание интересно было тем, что Крестинский, откровенно сознавшийся в полном незнакомстве с финансовыми вопросами, в очень скором времени был назначен в Петрограде министром финансов большевицкого правительства.

Мои взгляды на заседании восторжествовали, и Крестинский обещал нам поддержку и самостоятельную работу.

БОРЬБА В ШКОЛЕ

После встречи с Крестинским шла усиленная работа в нашем комитете, заседания которого по моей просьбе почти всегда частным образом посещал В. В. Чернявский. Его присутствие упрощало нашу работу: все наши пожелания об увеличении кредитов находили своё разрешение на заседании. Но после встречи с Крестинским посещения Чернявского стали более редкими. Да и тогда, когда он присутствовал, его поведение становилось всё более загадочным.

Как-то раз на наши просьбы об увеличении кредита под векселя он ответил резким отказом, заявив, что даже по простым текущим счетам общая сумма выдач из Государственного банка не должна превышать помесячно выдач за прошлый год.

— Помилуйте, — говорил я, — Василий Васильевич, очевидно, вы совершенно забыли о курсовом падении рубля. В прошлом году он стоил раза в три дороже, чем теперь. В прошлом году не было паники, клиенты несли деньги нам, а теперь тащат их с текущих счетов.

— Да, но иначе я поступить не могу, ибо таковы циркуляры новой власти, которой я, безусловно, подчиняюсь.

Все мы понимали, что его положение управляющего Государственным банком очень тяжело. Но открытое признание Чернявским власти большевиков уж очень било по нервам.

Это было последнее заседание в его присутствии.

Банк, которому я прослужил двадцать четыре года, несомненно, разрушался. Никаких распоряжений из Петрограда от наших правлений — ни письменных, ни устных, переданных через инспекторов, так зорко следивших в обыденное время за нашей деятельностью, — не поступало. На наши письма и даже телеграммы не отвечали. Впрочем, на одну из телеграмм пришёл ответ за совершенно незнакомой нам подписью. Это давало место догадкам о том, что банки уже заняты большевиками. Всю тягость решений приходилось брать на себя Банковскому комитету.

Очень грустно было видеть и сознавать, что дело, которому я отдал всю мою жизнь, окончательно разрушается. Очень тяжело было начать отказывать клиентам в оплате крупных чеков с их текущих счетов. Но особых протестов со стороны клиентуры я не встречал. Все понимали, что при таких обстоятельствах работать нельзя.

Только в середине декабря мы ограничили выдачу до тысячи рублей в неделю, с Рождества стали платить по пятьсот, а с первого января пришлось подчиниться требованию совдепа и

выплачивать по сто пятьдесят в неделю на человека.

После высказанных Чернявским ограничений я хотел было поехать объясняться с Крестинским, но оказалось, что тот вызван в Петроград, и мы оказались в подчинении у комиссара финансов Сыромолотова.

Той осенью и в начале зимы, помимо тяжелой работы по банковскому делу, мне выпало нести обязанности члена попечительного совета местной торговой школы. Директор училища, некто Зырин, был настолько нетактичен, что, не снесясь предварительно со мной, обратился в правление нашего банка с просьбой о назначении меня членом попечительного совета.

Получив письмо правления с просьбой занять это место, я ответил, что для исполнения этой должности я пригоден мало, и просил меня уволить.

Однако правление продолжало настаивать на своём, почему мне волей-неволей пришлось согласиться и отправиться на первое же заседание совета. На этом заседании я сразу понял, что помимо своей воли принимаю на себя роль центральной фигуры в борьбе с коммунистами в школе.

Началось с того, что преподаватель русского языка Киселёв, за которого я в своё время просил министра внутренних дел Протопопова, вернувшись из ссылки в ореоле политического мученика, потребовал немедленного своего водворения на должность преподавателя русской словесности в этой школе. Место это было предоставлено ему не без некоторой борьбы со стороны педагогического совета. Сослуживцы Киселёва не очень-то его любили, а директор считал плохим преподавателем, указывая на ужасную безграмотность его учеников.

Вступив в исполнение своих обязанностей, Киселёв стал добиваться популярности среди учащихся, проповедуя им социал-демократические идеи. Ученье было забыто. Отметки ставились высшего достоинства: в их даровой раздаче Киселёв нисколько не стеснялся, чем, конечно, подкупал учеников. Когда же власть перешла в руки большевиков, то Киселёв открыто записался в партию, что вызвало первый конфликт между ним и остальными преподавателями, постановившими не подавать ему руки. Тогда Киселёв, устроив фиктивное родительское собрание, в состав коего были введены не родители, а рядовые коммунисты, оказался избранным в директора училища.

Это постановление родительского комитета не было признано попечительным советом, и ученики объявили забастовку. Председатель совета Комнадский хороший, но простой и малообразованный человек — отказался от председательствования, и его место предложили мне.

Отказавшись от этой чести, я указал на моего коллегу по Банковскому комитету Георгия Петровича Тяхта, как на желательного кандидата, и тот оказался избранным.

На первом же заседании Тяхт обнаружил полную непримиримость в отношении большевизма и охотно присоединился к сделанному педагогами предложению закрыть школу, с тем чтобы после Рождества назначить новый приём учеников и этим способом почистить их состав.

Но, храбрый на словах, он по первому требованию большевиков выдал им ключи от школы. Винить его за это, конечно, нельзя, но столь быстрая и безоговорочная капитуляция была принята попечительным советом недружелюбно, и бедному Тяхту пришлось покинуть председательское кресло. Таким образом совет оказался опять без председателя, на место которого после долгих просьб вступил Комнадский. Он начал переговоры с совдепом, стараясь найти какую-либо линию для примирения. Внесённое мною предложение — ради воспитания и образования молодёжи откинуть в сторону политику и заменить таковую беспристрастной педагогикой — было принято советом единогласно, включая и представителя партии коммунистов Войкова, только что к нам назначенного и произведшего на меня на первом заседании хорошее впечатление. (Он, по его словам, был прислан в Россию вместе с Лениным в запломбированном вагоне. Войков впоследствии состоял послом в Польше, где и был убит при отходе поезда на вокзале в Варшаве.)

На вопрос Войкова, каким же способом я желаю покончить с конфликтом и осуществить предложенное, я ответил:

— Все педагоги, не исключая директора, законоучителя и Киселёва, конечно, должны подать прошение об отставке и одновременно прошение о принятии их вновь на службу. Первое прошение мы примем, а приём педагогов будем производить при помощи закрытой баллотировки.

— Ну, а если никто из преподавателей или только некоторые из них подчинятся вашему предложению, а другие — нет, тогда что?

— Тогда я подам в отставку, ибо не нахожу возможным продолжать службу школьному делу с преподавателями, которые боятся подвергнуть себя баллотировке новым составом попечительного совета.

Предложение моё после долгих переговоров с педагогами было принято. Прошения об отставке были поданы от всего состава. С большим запозданием поступило прошение и от Киселёва. По настоянию совдепа к баллотировке помимо членов попечительного совета и представителей родительского комитета

решено было допустить двух представителей от учеников старших классов.

Большевики проявили всю свою энергию и не только явились на заседание, но, несмотря на мой протест, допустили к голосованию не двух, а четырёх учеников.

— При таком нарушении выработанной нами же конституции выборов я не признаю эти выборы законными. Если бы педагоги знали, что прибавится ещё два оппозиционных голоса учеников, они бы не подали своих прошений об отставке.

— Стоит ли спорить об этом, гражданин Аничков? Уж очень вы парламентарны. Что могут изменить два слабых голоса юных людей?

— Эти слабые голоса при баллотировке превращаются в два совершенно равных с нашими шара. И я протестую, отказываюсь принимать участие в этой незаконной баллотировке.

Всё же, несмотря на такое поведение Войкова, была проведена баллотировка, в результате которой оказались забаллотированы директор Зырин (горький пьяница) и Киселёв.

Войков вскочил со своего кресла как ужаленный и, ударив кулаком по столу, начал кричать, что это гнездо контрреволюции, что никакого попечительного совета он больше не признаёт и что школа в таковом не нуждается.

В результате совет был упразднён, а Киселёв не только остался в школе, но и был назначен комиссаром народного образования всего Урала.

Эта история с Киселёвым в нашей школе послужила сигналом к началу борьбы с коммунистами во всех учебных заведениях Екатеринбурга. Моя дочь Наташа в то время посещала последний класс Второй женской гимназии, и вокруг неё сгруппировалось правое крыло учениц. Юровская, дочь цареубийцы, и Герасимова возглавляли левое течение.

В школьном деле большевики встретили наибольший отпор. Казалось бы, наша дореволюционная школа имела столь много недостатков, что здесь всякая реформа должна была встретить поддержку большинства, а между тем большинство поддерживало реакционное движение.

Правда, если правые проявили в этой борьбе много страстности, то левые в своём увлечении шли ещё дальше, требуя не только упрощённой орфографии, упразднения уроков Закона Божьего, но и введения учеников в педагогический совет. Становилось ясно, что при таких порядках честным педагогам там делать было нечего.

Одновременно с этим у левых проглядывало и легкомысленное отношение к половому вопросу: проповедовался

гражданский брак и свобода материнства для гимназисток.

Никогда не забуду родительское собрание во Второй женской гимназии, на которое были допущены девочки старших классов.

Некий Младов, приглашённый весной прошлого года временным преподавателем, должен был уступить своё место постоянному учителю, вернувшемуся с войны, на которую он пошёл добровольцем.

Но Младов этого сделать не пожелал и аналогично Киселёву настолько завоевал симпатии распропагандированного им шестого класса, что девочки из-за его ухода объявили забастовку. Забастовка кончилась тем, что весь класс был временно исключен из гимназии. […]

Вскоре объявили общую забастовку и учителя. Содержание преподавателей было более чем скромное, и ни у кого из них не было никаких сбережений. Чувствовалась нужда в немедленной материальной помощи.

Я напряг всю свою энергию, объезжая капиталистов, но люди жались время и для них было тяжёлое. Всё же мне удалось без выдачи каких-либо документов собрать семь тысяч рублей, переданных затем представителям забастовочного комитета — директору реального училища Курцеделу и инспектору Строгонову.

* * *

Несмотря на волнения в педагогическом мире, наклонность молодёжи к вечеринкам и танцам не ослабевала.

Если раньше делался один бал на каждое училище в год, то теперь каждый класс устраивал свой собственный бал. Иногда в один и тот же день у меня успевали побывать две-три депутации с предложением купить билет.

В один из таких вечеров, устраиваемых во Второй женской гимназии моей женой, я вынужден был продежурить всю ночь. Устроительницы вечера сильно опасались, что могут пожаловать экспроприаторы и отобрать выручку.

В переполненном огромном и высоком зале гимназии едва двигались, тесня друг друга, сотни танцующих пар. Во всей этой тысячной толпе не было ни одного кавалера, одетого во фрак или смокинг, и ни одной дамы в бальном платье. Среди военных френчей, косовороток и пиджаков можно было встретить кавалеров просто в шинелях и даже в валенках. Дамскими костюмами служили форменные гимназические платья, и весь шик заключался в невероятно коротких, иногда выше колен,

юбках и прозрачных, как паутина, чулках, что создавало впечатление, будто вы находитесь на балу у босоножек.

Несмотря на внешний вид танцующей массы, несмотря на ужасы переживаемой революции, несмотря на разность политических воззрений, молодёжь танцевала с тем же увлечением, что и я на фешенебельных балах Петербурга в былые времена. Те же лукавые, горящие огнём глазки, тот же румянец ланит, та же неутомимость, тот же смех, те же шутки и всё та же неизменная любовь…

Однако нравы сильно изменились, начиная с юбок выше колен и кончая циничным характером танцев «танго» и «кеквок».

Так, в тоске бродя по коридорам гимназии, я видел много сценок чересчур откровенных. Видел, как парочки входили в тёмные классы или удалялись на время из гимназии и через часик возвращались обратно. Словом, делалось откровенно то, что ранее так тщательно скрывалось. Мне, ещё не старому мужчине, не приходило в голову завидовать этой перемене в тонкостях любви. Эти отношения носили более циничный и менее поэтический характер, чем четверть века назад, когда сближение полов было менее доступно: не существовало тогда тёмных залов кинематографов, не существовало телефонов, на которых по целым часам висит молодёжь…

МОЙ АРЕСТ

На другой день, немного проспав и не успев напиться кофе, я спустился в банк и едва успел усесться в своём кабинете, как увидал входящий в банк патруль из четырёх солдат во главе с комиссаром Малышевым. Я тотчас понял, что меня пришли арестовывать. Накануне в банк явился какой-то мальчишка лет шестнадцати и, предъявив мандат, в коем говорилось о назначении его комиссаром банка, уселся по моему указанию в операционном зале.

Вскоре ко мне пришло несколько служащих во главе с Черепановым, очень резким и грубым человеком, и Ларисой Сарафановой, бой-девицей, и спросили меня, как я отреагировал на появление комиссара.

Я ответил, что сделал всё, что мог, указав ему на место в зале среди публики, отказав в выдаче ключей и заявив, что не могу допустить его к осмотру книг и ценностей.

— Да вы знаете, кто это такой — так называемый комиссар? — спросил меня Черепанов.

— Конечно, не знаю.

— А мы так знаем: это не то Колька, не то Мишка. Он недавно был выгнан из Сибирского банка, где разносил бумаги и украл гербовые марки.

Столпившаяся клиентура увеличивала толпу и электризовала и без того возбуждённых служащих.

— Да что с ним церемониться? Разрешите, Владимир Петрович, выставить его из банка?

— С моей стороны препятствий не имеется, — ответил я.

Все служащие во главе с Черепановым вышли из кабинета в зал и направились к комиссару, тревожно поглядывавшему на надвигающуюся толпу.

Черепанов, засучив рукава, спросил:

— Эй, ты, Мишка! Ты думаешь, что ты в самом деле комиссар?

— Да, я комиссар.

— Убирайся, сукин сын, вон отсюда! А то мы тебе такого комиссара покажем, что ты и костей не соберёшь!

Размахивая руками, что-то крича сквозь слезы и чем-то угрожая, комиссар под дружный хохот и гиканье толпы, красный как кумач, вылетел из банка.

Появление Малышева в банке, да ещё с конвоем, после истории с изгнанием комиссара ничего хорошего не предвещало.

Малышев вошёл в кабинет:

— Здравствуйте, Владимир Петрович.

— Здравствуйте, гражданин Малышев. Что вам угодно?

— Я пришёл к вам по не совсем приятному делу. Ваши служащие вчера позволили себе с вашего согласия выгнать из банка назначенного нами комиссара. Такие поступки по отношению к власти терпимы быть не могут, и вам придётся за это понести должное наказание. На каком основании вы позволили себе это сделать?

— Я сделал это потому, что принял назначение такого комиссара за злую насмешку по отношению и к себе, и к учреждению, в котором я служу.

— Я не понимаю вас. В чём вы усмотрели насмешку?

— Вы помните, Малышев, заседание под председательством Крестинского, протекавшее в вашем присутствии? Я приветствовал идею национализации банков при условии проведения её при полном невмешательстве власти в наши дела. Мы тогда заверили вас, что всё до единой копейки вам будет сдано к первому марта. Вы тогда дали нам согласие. Что же произошло, чем мы нарушили обещание? Чем вызвано назначение комиссаров без нашего предварительного собрания? Не есть ли присылка к нам мальчишки карикатура на вашу власть и насмешка надо мной? Что же, по-вашему, я должен вместо того, чтобы наблюдать за планомерной сдачей всех ценностей, принадлежащих ныне казне, сосредоточить своё внимание на деятельности воришки? Я сказал всё и не боюсь ответственности за свой поступок, ибо поступил так в интересах государства и ограждал вверенное мне дело от возможного воровства.

Мой твёрдый и уверенный тон, а равно и приведённые доводы подействовали на свирепого комиссара.

— Я даю вам слово, что это будет исправлено. А теперь прошу вас, во-первых, выдать расписку в том, что вы подчиняетесь нашему комиссару, который будет нами назначен, и, во-вторых, выдать мне ключи от кладовой.

— В отношении ключей вашу просьбу я исполнить не могу. Выдав ключи, я слагаю с себя ответственность за содержание кладовой. Посему я предлагаю получить от меня один из контрольных ключей, и, таким образом, без кассира ни меня, ни вас никто в кладовую не впустит. Что касается первого вашего предложения, то, считаясь с фактом захвата власти коммунистами, я поставлен в необходимость считаться с её постановлениями. Но прежде чем выдать расписку, я вынужден призадуматься. Она представляется мне незакономерной: мне необходимо получить какие-либо инструкции, указывающие как на мои обязанности, так и на обязанности комиссара. Прошу

время на то, чтобы обдумать сей сложный вопрос.

— Отлично, обдумывайте, а я поговорю с вашими служащими. — И с этими словами Малышев перешёл в зал.

Что он говорил, я расслышать не мог. Признаться, я был настолько взволнован, что мысли кружились в моей голове, и я никак не мог остановиться ни на одной из них. Беседа со служащими принимала довольно бурный характер… Среди общего шума явственно выделялся красивый, мощный баритон всеобщего любимца, бухгалтера Бронина. Он порицал действия большевиков и заявлял от имени служащих, что они не могут подчиняться власти, позволившей себе разогнать Учредительное Собрание.

— Однако ваш управляющий подчинился и выдал расписку в этом, — долетели до меня слова Малышева.

— Не может быть, — послышались голоса, и кто-то из служащих прибежал ко мне в кабинет с вопросом, правда ли, что я выдал расписку…

— Нет, господа, это не так. Я выдал комиссару один из контрольных ключей, но над предложением выдать расписку обещал подумать. А теперь решение вопроса о выдаче расписки я откладываю.

— В таком случае я вынужден буду вас арестовать, — проронил Малышев.

— Это дело ваше.

Как раз в это время прибежала жена, дети и отец… Положение осложнялось. Я просил их успокоиться и держать себя с достоинством. Позвав швейцара, я приказал ему принести пальто и шляпу. Надев их, я сказал Малышеву, что готов.

Едва я двинулся к дверям, как служащие заявили, что они не дадут меня арестовать. В противном случае пусть вместе со мной арестуют и их. Получался скандал. Как ни просил я их остаться в банке, они вышли вслед за конвоем на улицу и сопровождали меня. Наконец я вновь обратился к ним с просьбой вернуться. Эту просьбу они и исполнили. Меня же вместе с бухгалтером Брониным повели конвойные.

Положение конвоируемого было мне приятно. Малышеву было стыдно вести меня пленником. Проходя мимо трибуны, всё ещё стоявшей около собора, я обратился к нему:

— Вы помните, Малышев, как мы радовались, когда был праздник революции? Стоя на этой трибуне, мы принимали парад, приветствуя каждую проходящую часть словами: «Да здравствует Учредительное Собрание!» Какое это было чудесное время — и к чему оно привело! Учредительное Собрание оказалось разогнано, а я, выбранный на должность первого

товарища председателя Исполнительной комиссии, ныне шествую по улице как арестант.

— Как не помнить, — ответил он. — Однако не согласен, что именно тогда было чудное время. Тогда было только преддверием того рая, к которому мы приходим сейчас…

— Полноте, гражданин Малышев! Неужели вы думаете, что та дорога, по которой меня ведут помимо моей воли, ведёт прямо в рай? Смотрите не заведите в ад. Смотрите, как бы эта трибуна не превратилась в лобное место сперва для нас — «буржуев», а затем и для вас — мечтателей, надеющихся путём насилия привести человечество к земному раю…

— Подите прочь! — закричал Малышев на конвоиров. — Идите вон там, подальше.

Наконец мы дошли до дома Поклевского, где помещался совдеп. В прихожей я встретил Щепина, управляющего Азовско-Донским банком. Его под конвоем двух солдат отправил в тюрьму Голощёкин.

— Ага, и вас привели. Подождите вести, — крикнул Малышев конвоирам, захватите с собой и этого.

— Я заявляю протест против ваших распоряжений об аресте без предварительного обсуждения требований Банковским комитетом.

— А, вы председатель? Отлично, ведите его в прихожую вместе со Щепиным.

Нас провели в прихожую, где уже находился Георгий Петрович Тяхт, управляющий Русско-Азиатским банком, и оставили под усиленным конвоем солдат.

Вскоре вошёл Голощёкин и предложил мне вызвать по телефону остальных управляющих банками. Я подошёл к телефону, но, остановившись перед аппаратом, сказал Голощёкину, что не считаю возможным содействовать аресту моих коллег. Если он желает созвать комитет здесь, то может сделать это сам — по телефону или под конвоем солдат.

Он отвёл меня к моим коллегам и, запретив нам разговаривать между собой, поставил караул не только снаружи, но и в самой комнате.

Однако Щепин, весело настроенный, тотчас стал рассказывать пикантный анекдот. Суровые лица нашей стражи распустились в сладкую улыбку, и мы, нарушая приказ Голощёкина, начали сообщать друг другу подробности только что пережитых событий.

Вскоре в комнату вошли и остальные: Шварте, Атлас и Одинцов — товарищ управляющего Сибирским банком. Олесов с присяжным поверенным Бибиковым, в доме которого в дни

революции 1905 года скрывался от полиции известный Свердлов, очень кстати оказался в отъезде.

Судя по заверениям Кроля, за эту услугу Свердлов рекомендовал совдепу относиться к этому семейству предусмотрительно. Отсутствие Олесова, друга Бибиковых, мне показалось неслучайным.

Проведённая мной после бала короткая ночь и пустой желудок вызвали такую мигрень, что мне было очень трудно вступить в переговоры с появившимся Голощёкиным, занявшим председательское место.

Голощёкин в категорической форме потребовал от нас расписок о подчинении управляющих комиссарам, которые будут назначены в банки.

После обмена мнениями мы категорически отказались от выдачи расписок без получения от совдепа письменных инструкций, указывающих как на круг компетенции комиссаров, так и на наши обязанности.

Отказ вывел Голощёкина из себя, и он заявил, что не только посадит нас в тюрьму, но и сумеет найти средства иного сорта, чтобы заставить нас подчиниться властям.

— Мы церемониться не будем. Репрессивными мерами к вашим женам и детям заставим вас плясать под нашу дудку.

На это заявление очень горячо и резко стал возражать Атлас.

Спор стихал, превращаясь в мирную беседу, а требования Голощёкина уже сводились к тому, чтобы мы все выдали расписки о невыезде из Екатеринбурга.

Услышав отказ Атласа, я вмешался, сказав, что я согласен на выдачу такой расписки. Она, как чисто полицейская мера, практиковавшаяся у нас и прежде, меня ни к чему не обязывает. Если я захочу удрать, то с этой распиской не буду считаться, так же как не считались с ней наши политические преступники, удирая из ссылок в Сибири.

Со мной согласились и остальные, после чего было решено вызвать на заседание Чернявского для совместного решения вопросов о способе национализации банков и о назначении комиссаров не от совдепа, а от Государственного банка (по возможности из среды его чиновников, придав их подписи значение и право, присвоенное всем вторым подписям на наших документах).

Вскоре прибывший Чернявский изъявил своё согласие на выработку инструкции по национализации банков, основанной на принципе передачи всех наших ценностей под расписку Государственного банка.

На этом дело было закончено, и мы, подписав расписки о

невыезде, очутились на свободе.

* * *

Выше я уже дважды упоминал священные в то время слова «Учредительное Собрание». Как уповалось на него в то время в России! Как много было предвыборных, почти всегда закрытых, собраний! Я, не принадлежавший ни к какой партии, задумал тогда организовать партию республиканцев на капиталистической программе. Но партия оказалась немногочисленной, и я отказался от предложения выставить свою кандидатуру, и взамен меня был избран директор реального училища Курцедел. Результаты баллотировки были очень жалкие, партия получила несколько десятков голосов. Прошли главным образом социалисты-революционеры с их лозунгом «Земля и воля» и в большом количестве коммунисты. Очень немного прошло кадетов. В числе депутатов партии Народной свободы прошёл Лев Афанасьевич Кроль, несмотря на то что уже тогда партия была объявлена коммунистами «вне закона». Кролю одно время приходилось скрываться, ибо вся партия стала подпольной.

Это объявление «вне закона» предоставляло право всякому, кто пожелает, безнаказанно убить кадета, лишало партию и предвыборных открытых собраний, и агитации.

Это сильно волновало меня, так как дочурка Наташа была избрана своими подругами делегаткой именно в партию Народной свободы, а врагов по гимназии у неё было много.

На разгон Учредительного Собрания наш народ никак не отреагировал, что заставило меня вспомнить разговор с крестьянами по поводу разгона Первой Государственной Думы.

— А ну её к чёртовой матери! — воскликнули они тогда. — Всё равно она нам земли не даст, а только народ мутит.

Теперь же земля во многих местах уже была захвачена крестьянами; что им за дело до прочего?..

Я говорил, что радуюсь разгону Учредительного Собрания, ибо подтасовка при выборах была несомненной. Доходило до такого безобразия, как двойное голосование солдат. Пермский гарнизон, отбаллотировав в Перми, был посажен в вагоны и привезён в Екатеринбург, а Екатеринбургский — в Пермь. Вероятно, то же делалось и в иных губерниях. Учредительное Собрание далеко не отражало пожеланий всего населения России, и если бы его не разогнали — что я считаю большой ошибкой коммунистов, — то его постановления были бы, несомненно, и законными, и обязательными для всего народа. Земельный

вопрос, несомненно, решился бы в пользу бесплатной раздачи земли крестьянам. Правда, власть перешла бы временно к эсерам, но только временно. Ленин, ничем не брезгуя, сумел бы и страхом и подкупом переманить в коммунистическую партию многих социалистов-революционеров.

Разгон же «Учредиловки», говорил я, даёт нам полный повод не признавать постановлений партии большевиков, захвативший власть силой. Наоборот, это обстоятельство даст большой козырь будущему повстанческому движению.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

На другой же день нашего ареста служащие всех банков объявили забастовку, и банки пришлось закрыть.

Банковский комитет, собранный мной, после долгих обсуждений высказался против забастовки. Главные мотивы к этому решению были следующие:

1) полное отсутствие какой-либо надежды на скорое избавление России от большевиков делает бесполезным сопротивление новой правительственной власти;

2) забастовка служащих, несомненно, приведёт к замещению их новым персоналом служащих, который только внесёт хаос в делопроизводство;

3) процесс национализации банков в смысле передачи всех дел Государственному банку может быть сорван и превратится в бесправную и уродливую форму конфискации наших активов.

На этом же заседании было постановлено отложить сумму двухмесячного оклада всему персоналу, для того чтобы выдать деньги в момент прекращения деятельности банков.

Все постановления, за исключением последнего, мне поручили сообщить служащим всех банков, собравшимся на митинг протеста в помещении Русского для внешней торговли банка.

Служащие приняли наш благоразумный совет, и на другой день работа в банках возобновилась, но под наблюдением комиссаров.

Но работа уже не была прежней. Все дела сводились к выдаче по текущим счетам по сто пятьдесят рублей на человека в неделю. Активных операций мы давно уже не вели. Процентные бумаги, согласно декрету, были аннулированы, и мы под угрозой привлечения к трибуналу были лишены возможности выдавать их со счетов. Необходимые средства для наших касс давались Государственным банком.

Средств у Государственного банка не хватало. В феврале 1918 года состоялось особое совещание под председательством Чернявского, на которое был приглашён и я. Это заседание постановило приступить к печатанию собственных денег, и в первую очередь должны были из-за отсутствия мелких денег печататься кредитные билеты пятирублёвого достоинства.

Как отнеслась к национализации банков клиентура?

Я был удивлён её спокойствием и даже равнодушием. По крайней мере в нашем банке не было ни одного упрёка, ни одного случая выражения протеста и требования выдачи денег. Чем это

объяснить? Гнилостью нашей интеллигенции и буржуазии, как объяснял это Ленин? Нет, с этим мнением я не совсем согласен. Здесь, как мне кажется, действовали разные факторы. Многие предполагали, что всё это временно. Никто не верил, чтобы за банком деньги могли пропасть. С другой стороны, публика уже примирилась с особенностями падающей кредитной валюты, неминуемо обречённой на гибель, а потому свыкалась с мыслью о потере своего капитала. Однако многие относились к этому со спокойствием, вытекающим из характерной черты русского человека, называемой смирением.

Особенно я поражался смирению той части клиентов, которая в прежние времена была особенно кичлива и нетерпима ко всякому промедлению в работе служащих. Бывало, задержат чек на две-три минуты, и «уважаемый» как буря влетает в кабинет и повышенным тоном высказывает своё неудовольствие. А теперь, Боже мой, сколько смирения! С какой униженной просьбой обращались эти былые орлы к комиссарам:

— Господин комиссар, уж будьте так любезны, чтобы не приезжать мне в город каждую неделю, выдайте мне за месяц вперёд шестьсот рублей.

— Не могу, — грубо отвечает комиссар. — Выдавай вам каждый день по четвертной, так вы бы каждый день на четвереньках приползали…

— Слушаюсь, господин комиссар, слушаюсь…

У дам случалось видеть слезы, когда им не выдавали безделушки, хранившиеся в сейфах. Бывали и мольбы, доходящие до унижения.

В деле национализации банков не было никакой планомерности. Общие указания из центра отсутствовали, и в каждом городе национализация носила свой характер и стояла в полной зависимости от взглядов местных комиссаров финансов, коих произвол был полный. Так, например, Декрет об аннулировании государственных бумаг наш Минфин распространил не только на частные облигации, но и на акции. Нелепость постановлений была удивительная: несмотря на то что бумаги были аннулированы, к клиентам банка предъявлялись требования об уплате долга по заложенным бумагам и за неуплату грозили тюрьмой. Для проверки сейфов к нам в банк была назначена целая комиссия, которая, согласно декрету, конфисковала все золотые вещи весом более шестнадцати золотников. Комиссия при этом совершенно не могла дать удовлетворительный ответ на вопрос, свободны ли от конфискации серебряные вещи, что повело к серебрению золотых вещей. У одной моей доверительницы была золотая цепочка

весом в двадцать пять золотников, которую я разорвал на две части и тем спас от конфискации, ибо каждая часть была менее шестнадцати золотников.

Наложив на аннулированные процентные бумаги особый штемпель. Государственный банк зачислял их как кредитные рубли и пускал в обращение по номиналу, так же поступая и с купонами дальних сроков.

Одновременно вышло разрешение оставлять бумаги нетронутыми у рабочих до суммы в пять тысяч рублей.

Неужели подписывающий этот декрет комиссар не понимал, что у рабочих, так плохо оплачиваемых, не может находиться процентных бумаг вообще, а на сумму в пять тысяч тем более?

Несмотря на это, у банков стояли длинные хвосты рабочих, бывших, за редким исключением, людьми, получившими бумаги от «буржуев» за особый процент, дабы спасти их от аннуляции.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Кстати, о банковских комиссарах. Первым моим комиссаром, после того как был выгнан мальчишка Мишка, был назначен очень красивый юноша — офицер Бойцов. Явившись ко мне, он отрекомендовался как социалист-революционер и заявил, что он, хотя и пошёл в комиссары, совершенно не согласен с большевиками и их политикой. Как скоро обнаружилось, он оказался не эсером, а большим негодяем. Он всё старался доказать мне, что при такой неурядице пропажа и просчёт каких-нибудь двухсот или трёхсот тысяч — сущая безделица, на которую большевики даже не обратят внимания. Я возразил ему, что моё дело — сдать всё в целости с точностью до копейки, чем он остался очень недоволен.

Исполняя общее решение Банковского комитета о выдаче двухмесячного жалованья служащим, я распорядился списать и отложить соответствующую сумму. Бойцов подписать ордера не согласился.

— Ну, как хотите, а я включил сюда и ваш двухмесячный оклад в полторы тысячи рублей.

— А разве это можно?

— Конечно, можно, раз я беру перед правлением ответственность за выдачу.

— В таком случае я охотно подпишу этот ордер.

Он брал взятки с клиентов, входя в кладовую с сейфами, за то, что не наблюдал за владельцами сейфов. Обходя клиентов, он сам предлагал за три тысячи рублей выдать им всё, что они пожелают. Этого господина от меня скоро убрали, назначив другого, чью фамилию не хочу называть. Он откровенно сознался, что он корниловец и пошёл в комиссары из нужды. Никаких взяток он не брал, сидел спокойно у меня в кабинете и, доверяя мне, подписывал все ордера. Его тоже скоро перевели в другой банк и на его место назначили Энгельгардта из остзейских немцев. Не будучи большевиком, он пошёл в комиссары тоже по нужде, но, как немец, был удивительно аккуратен и добросовестен.

Так или иначе, но нам удалось оттянуть национализацию почти на три месяца, и фактическое закрытие банков состоялось только в конце марта.

К этому времени мы передали все ценности Государственному банку согласно балансам, а книги — согласно особым описям. Все шесть банков были механически соединены в два Народных банка. Из них один, образованный из слияния

Сибирского, Волжско-Камского и Азовского, был помещён в доме Сибирского банка, а другой, включив в себя Русско-Азиатский, Русский для внешней торговли и Петроградский Международный банки, был помещён в доме Русско-Азиатского банка.

Почти все банковские служащие поступили на службу во вновь образованные банки. Нам удалось настоять, чтобы книги всех отделений велись по-прежнему отдельно, дабы в случае денационализации можно было бы отделить их друг от друга.

Управляющие отделениями отказались принимать участие в делах Народных банков и вышли в отставку.

Здесь интересно упомянуть ещё одно заседание в кабинете комиссара финансов Сыромолотова. Он, конечно, отсутствовал, и председательствовал А. Б. Струве, командированный ещё Временным правительством на Урал, где застрял во время перехода власти к большевикам. Очутившись в безвыходном материальном положении, Струве согласился на предложение Сыромолотова занять место его помощника, чем облегчил мне ведение переговоров с комиссаром.

Объявив заседание тайным и закрыв двери на ключ, Струве заявил, что действует в согласии с инструкциями Сыромолотова, который приказал не выпускать нас из этого помещения до тех пор, пока мы не выработаем план кредитования уральских заводов.

Наше положение действительно можно было назвать «безвыходным».

Что было делать? Я предложил совещанию план, которого придерживался и в банке: кредитование заводов проводить в согласии с ведомостями о выработке как сырых, так и конечных продуктов, оцениваемых возможно ближе к заготовительной стоимости. При сдаче же готовых продуктов долг заводов погашался бы векселями тех учреждений, коим они передавались. При этом расплата с рабочими могла бы производиться только за сдельную работу.

Все присутствующие план одобрили, и мне было поручено представить его на другой день в письменной форме, после чего нас выпустили на свободу.

Вскоре я был вызван Сыромолотовым в помещение Комиссариата финансов в Горном управлении. Долго я сидел без дела в ожидании приёма, и в эти скучные часы в зал ворвалась большая толпа рабочих Тагильского округа. Их было человек сто. Все они громко кричали и ругали большевиков отборными словами.

— Коли вы власть, — кричали они, — так дайте нам дешёвого хлеба. Арестовали Царя, при котором нам жилось много

лучше, и хлеб был дёшев, и всё можно было на рынке купить, а теперь ничего нет, хоть с голоду умирай. Коли управлять не умеете, отдайте нам Царя.

А один из рабочих продекламировал удачное двустишье:

Ныне вот республика,
А хлеб стоит три рублика

Приняв меня, Сыромолотов предложил занять должность консультанта при Народных банках.

Я наотрез отказался.

— Ну, в таком случае я назначаю вас своей властью. Мы посмотрим, как вы будете работать, а если станете саботировать, то найдём способы сломить ваше упрямство.

В результате Олесов, Тяхт и я оказались консультантами с правом не присутствовать на занятиях в банках, но являться по вызовам на заседания.

МЫСЛИ О КАПИТАЛЕ

С начала войны я призадумался над тем, как уберечь от обесценивания тот небольшой капитал, коим тогда обладал. Надо было поместить его в такие реальные ценности, которые в мировой расценке не будут подвержены падению. Отсюда вывод: самое лучшее, что надо сделать, — купить платину. Она не только не упадёт в цене, но может и значительно подняться по отношению к золоту. (До войны стоимость платины равнялась десяти с половиной рублям за золотник, а в конце войны японцы платили семьдесят иен за золотник.) Но этот план пришлось отбросить, ибо незадолго до войны был введён особый закон против спекуляции, предусматривающий реквизицию платины и уголовную ответственность за его нарушение. Этот закон предписывал получать в Горном ведомстве особое разрешение на покупку платины. Ведомство обязывало вести особую книгу, регистрировавшую каждую покупку и продажу, и, таким образом, купивший платину мог перепродать её только лицу, имевшему то же разрешение, что очень стесняло действия.

Золото же было свободно в обращении. При нашем банке был аффинажный завод, и я решил на часть своих сбережений купить золото, благо его можно было заложить в нашем же банке. Оно стоило до войны пять с половиной рублей за золотник. (Интересно, что приблизительно за год до войны Германия на очень небольшую сумму повысила цену на золото в слитках, что оправдывало его почтовую пересылку и ещё давало прибыль против цен нашей казны, и мы начали слать аффинированное золото в Германию.)

Мой годовой заработок в то время был очень большим — не менее шестидесяти тысяч рублей в год, но жил я широко и откладывал мало.

Однако покупка золота тоже была связана с риском, связанным с введением монополии.

Купив около пуда золота и заложив его в банке, я решил, не лучше ли на случай объявления монополии начать скупать прииски. С этой целью я сошёлся с местным небольшим золотопромышленником Владимиром Михайловичем Имшенецким, который только что продал свои платиновые прииски. Эти прииски, идя вдоль Урала на север, были расположены друг от друга приблизительно на шестьдесят вёрст.

Имшенецкий и я решили послать разведочную партию на реки Тошемка и Визжай, свободные от заявок.

Партия привезла пробы платины и золота, и мы сделали

около ста заявок на каждые пять вёрст, надеясь в конце войны либо перепродать прииски, либо начать их эксплуатацию.

Вместе с инженером Горяиновым я приобрёл на севере богатые залежи асбеста. Пробные жилы асбеста оказались более мощными, чем на приисках Поклевского-Козелла и Алапаевского округов. Первые прииски потребовали общих затрат в тридцать тысяч рублей. За асбест мне пришлось заплатить пятнадцать тысяч.

Помимо этого, наш консультант Фадеев посоветовал мне купить шведской стали, стоимость которой, по его расчётам, должна была сильно возрасти.

Часть своих капиталов я держал в акциях нашего банка в расчёте пройти в члены правления, для чего нужно было предъявить восемьдесят акций (стоимость одной акции до войны была около тысячи ста рублей при номинале в двести пятьдесят рублей). Помимо этих бумаг, я верил в акции уральских горных заводов, имевших огромные земельные пространства на посессионных правах. Помимо лесных богатств, было и золото, и руды, и платина, и залежи драгоценных камней. К тому же большинство акций этих заводов находилось в иностранных руках, что гарантировало их ценность на случай революции.

Сталь я купил довольно удачно (пуд по сорок рублей) у немецкой фирмы Шмидта и сдал туда же на хранение. «Человек предполагает, а Бог располагает», — говорит русская пословица. Правота поговорки была подтверждена в грозные времена революции.

Все принадлежавшие мне акции декретом Ленина оказались аннулированы, а ко мне от большевиков поступило требование об уплате долга общей суммой около ста тысяч рублей.

К счастью, в Петрограде большевики нашли эти требования неправильными и уплату отменили, но всё состояние моё, помещённое в акции, пропало.

Все прииски тоже были отобраны, и у меня осталось на руках около тридцати фунтов золота, зарытого в уральских лесах, да сталь, хранившаяся у Шмидта на складе.

Шмидт, опасаясь конфискации бриллиантов, золота и серебра, принадлежавших его супруге, надумал их скрыть и, призвав своего служащего, тоже немца, поручил ему зарыть ценности под полом склада. Верный немец тотчас приступил к исполнению задуманного и, заперевшись на складе, приподнял половицу и стал рыть яму. Хозяин дома, где помещался склад, услышав, что кто-то возится в запертом складе, не долго думая отправился в милицию. Та тотчас же нагрянула и застала верного немца на месте преступления.

— Что ты тут делаешь?

Немец, решив не выдавать намерения хозяина, сознался в подкопе с целью грабежа.

— Ага, вор!

И бедный немец очутился в тюрьме.

Шмидт был болен, когда к нему пришла милиция и сообщила о поимке вора.

— Нет, — уверял Шмидт, — он не вор, а послан мною рыть яму, в которой я хотел установить наковальню, чтобы рубить сталь.

Но милиция не верила и виновника не выпускала, пока Шмидт не дал взятку в пять тысяч рублей. Но Шмидта оставили под подозрением, а склад опечатали.

Как ни хлопотал Шмидт об открытии склада, как ни указывал на своё немецкое происхождение, ничего не помогало.

Тогда он решился на крайнюю меру и обратился к своему приятелю, швейцарскому консулу Фишеру, с просьбой купить у него фиктивно на векселя весь склад по описи. Сделка эта была засвидетельствована консулами Англии и Франции. Но большевики по доносу служащей Шмидта, латышки, совершенно справедливо сочли сделку фиктивной и заключили Шмидта в тюрьму. Тогда Фишер отправился в совдеп, настаивая на открытии склада и прося об освобождении будто бы невинно пострадавшего Шмидта. Но совдеп не посмотрел на то, что Фишер являлся консулом, засадив в тюрьму и его.

Впоследствии, при эвакуации Екатеринбурга, весь склад был вывезен большевиками в Пермь, и сталь моя пропала.

«Так мне и надо, рассуждал я, — не спекулируй». Однако чувствовал я себя плохо, ибо к этому времени банки были национализированы и я, оставшись без места, лишился источников к существованию.

СМЕРТЬ ОТЦА

В ожидании, что большевики выселят меня из банковской квартиры, и за несколько дней до полной передачи дел банка я начал подыскивать себе квартиру и нашёл таковую в доме моего приятеля Имшенецкого.

Сперва предполагалось, что в квартире будет ночевать только отец — для сохранения в секрете от нашей прислуги найма квартиры (всё ещё теплилась надежда, что нас не прогонят с казённой).

Через день мой отец захворал. Приглашённый доктор констатировал воспаление легких. Я перевёз отца к себе на старую квартиру, где он через три дня и скончался.

Тяжела была его смерть для меня.

Похороны отца совпали с забастовкой всех певчих, и их на отпевании заменили четыре гнусавых дьячка.

После панихиды у меня остался пить чай Василий Васильевич Чернявский. Я высказал ему свои мысли о происходящем.

— Да почему вы так грустно смотрите в будущее? Почему не верите в возможность воцарения коммунизма? Да, конечно, будет тяжело, но без куска хлеба вы всё же не останетесь. Я искренне советую вам бросить оппозицию и изъявить готовность работать с коммунистами. Я более чем уверен, что вас, именно вас, они примут с распростёртыми объятиями и вы сделаете такую карьеру, о которой раньше и мечтать не могли…

— Что вы говорите, Василий Васильевич… Как я могу работать с коммунистами, когда абсолютно не верю в их нежизненную теорию? Мне уже делал предложение комиссар Чукаев, и я ответил отказом. Всё это бредни самолюбивых и выброшенных за борт при прежнем строе людей… С такими помощниками Ленину не справиться.

— Позвольте, позвольте. Не буду спорить с вами, быть может, то, что проповедуют они, не будет осуществлено. Но бороться теперь против них бесполезно, если не глупо. На их стороне весь народ. Где вы найдёте реальную силу, которая могла бы их побороть? Такой силы нет.

— А я верю, что она есть, верю в разум народа и думаю, что те же штыки, опираясь на которые они захватили власть, свергнут и их. Быть может, не сейчас, но я твердо верю, что это произойдёт.

— Ох, подумайте над моими словами.

— Нет, избавьте, служить коммунизму не могу. Я слишком люблю Россию, чтобы встать в ряды Интернационала.

— Поживём — увидим.

* * *

Был чудный весенний день, ночью выпал снежок, блестевший под лучами солнца…

Мы опустили гроб в могилу под развесистыми соснами на монастырском кладбище. Когда все разошлись, я, Толюша и Мика, взяв у могильщиков заступы, сами зарыли могилу, выровняли холмик и укрепили крест.

Здесь было так тихо, так весело блистало солнце, отражаясь мириадами искр в белом тающем снеге и весенних лужах, что невольно забывалось о тех ужасах, которые переживаются за оградой. […]

Но пора было идти домой — наслаждаться социалистическим раем…

Часть вторая
1918 ГОД

ПРИЕЗД ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ

Ровно через месяц после смерти моего отца, последовавшей 12 февраля 1918 года, после трёх дней отчаянной возни по перевозке домашнего скарба, моя семья переехала в новую квартиру из пяти небольших, но уютных комнат, в доме Захарова (Фетисовская улица, 15).

Грустно было переселяться из казённой квартиры, с которой я свыкся за пять лет службы в Екатеринбурге. Но что делать… Нарушить приказ большевицкой власти было опасно и бессмысленно. В случае промедления я, как самое малое, рисковал конфискацией обстановки. Нужно отдать справедливость большевицким властям: несмотря на неоднократные заявления о полном неверии в их ученье и пагубность политики, я не встречал от них скверного отношения. Чем объяснить это — не знаю. В данном случае меня предупредили заранее, что квартира моя будет нужна под областной комитет Урала, однако обычного бесцеремонного приказа очистить помещение в один — три дня не последовало.

Спорить и отстаивать квартиру я находил излишним, а в силу высказанного соображения и сам поторопился с переездом.

Итак, мы очутились на новом месте. Это не была отдельная квартира. О такой роскоши в связи с уплотнением мечтать не мог и самый богатый человек. А здесь было пять комнат из восьми, общая кухня, что вполне соответствовало декрету жилищной комиссии, разрешавшему занимать на каждого взрослого по одной комнате. Семья моя состояла из пяти человек. Свободные от постоя три комнаты принадлежали хозяевам дома, которые жили на фабрике и приезжали в город нечасто.

Квартира была платная — по сто пятьдесят рублей в месяц, что по тем временам было недорого. Сдали её мне Захаровы только из опасения, что её заселят нежелательным элементом.

Вскоре одну из хозяйских комнат почти насильственно занял по мандату совдепа офицер Академии Генерального штаба Василий Фёдорович Чебановский, и для хозяев остались только две комнаты.

Жилось недурно. Днём ко мне приходили не зачисленные в штат Народного банка служащие и занимались окончанием отчётности. Сам я не брезговал физическим трудом — пилил и рубил дрова и не стеснялся удивлённых взглядов клиентов банка, когда они, проходя по улице, останавливались и с удивлением смотрели на управляющего, чистившего тротуары и скалывавшего лёд.

Физический труд на воздухе, по первости тяжёлый, действовал на меня, как нарзан. Я чувствовал прилив сил. Крайняя утомлённость духа, вызванная политическими событиями, постепенно исчезала, и являлась какая-то жизнерадостность. Вопрос о куске хлеба, несомненно, грозный для моей семьи в будущем, как-то стушёвывался и застилался мечтой о возможности жить физическим трудом. Несмотря на мои сорок семь лет и ожиревшее сердце, мне мечталось о небольшом хуторке, уютном домике, хорошем огороде, пахучем клевере да о колосистой пшенице. Право же, если бы я был врачом, я не прописал бы нашей интеллигенции иного лечения, как здоровый физический труд на свежем воздухе. Бодрость духа поддерживалась и сознанием полезности бытия. Будучи не у дел, я всё же поддерживал кое-каких знакомых в их саботаже. В это же время в Екатеринбург прибыли великие князья.

Произошло это при следующих обстоятельствах. В начале Страстной недели в Народном банке, куда я еженедельно ходил за получением с текущего счёта очередных ста пятидесяти рублей, я встретил В. А. Поклевского-Козелла. Он поведал мне, что приходит в отчаяние от поисков квартиры для великого князя Сергея Михайловича. От своего доверителя Поклевский-Козелл получил телеграфный приказ подыскать комнату и устроить двоюродного брата Императора. На просьбу великого князя поместить его в Талице, в имении Поклевского-Козелла, из-за запрета Талицкого совдепа ему пришлось ответить отказом. Никто из граждан Екатеринбурга из опасения репрессий со стороны совдепа комнату великому князю не сдавал.

Мне стало безгранично жаль изгнанника. Правда, я даже не знал о существовании такого князя… Под впечатлением от рассказа Поклевского-Козелла я сказал, что, если ему не удастся найти помещения, могу временно приютить гостя у себя в хозяйских комнатах, так как хозяева на праздники, скорее всего, не приедут. К тому же и офицер-квартирант уехал в отпуск на Украину, сказав, что вряд ли вернётся обратно и, вероятно, перейдёт на службу к Скоропадскому.

Дня через два, в пятницу 20 апреля, часов в десять утра в мою квартиру приехал Поклевский, сопровождая великого князя и его слугу Ремеза. Будучи в старой тужурке и туфлях, я вышел в таком виде в прихожую, не подозревая, что приехал великий князь.

Передо мной стоял Сергей Михайлович во весь свой огромный рост, ещё более увеличиваемый серой папахой. Одет он был в серую поддёвку солдатского сукна. Его худое, скуластое, бритое, с желтоватым оттенком кожи и выцветшими серыми глазами лицо имело мало сходства с фамильным типом

Романовых.

— Вы Владимир Петрович Аничков?

— Да, я.

— Я к вам с покорнейшей просьбой приютить меня у себя… Я выслан из Вологды и в силу имеющегося у меня разрешения жить в Вятской и Пермской губерниях вынужден был остановить свой выбор на Екатеринбурге. В Перми проживает Михаил Александрович, и мы из опасения каких-либо осложнений по отношению к нему решили там не останавливаться.

Я ответил, что сочту за счастье оказать ему приют, но, опасаясь возможных репрессий со стороны совдепа, прошу доставить разрешение квартирной комиссии на занятие комнат. Прибавив, что сдать комнаты не могу, поскольку я не владелец, я уведомил гостя в том, что недели через две приедут хозяева, с коими ему и предстоит вести дальнейшие переговоры. Поклевский-Козелл, одевавшийся обычно франтовато, выглядел сконфуженным. Он стоял без воротничка и без галстука. Поклевский-Козелл ещё спал, когда к нему явился великий князь. Этот визит настолько взволновал моего приятеля, что он не успел нацепить привычные детали туалета.

Великому князю комнаты понравились, и он отправился в совдеп, а часа через полтора уже приехал с вещами к нам.

По его словам, председатель совдепа Белобородов настолько смутился, когда великий князь назвал себя, что даже вскочил.

— Как, вы великий князь и нас никто об этом не предупредил?

— Я не один, со мной приехали князья Иоанн с супругой Еленой Петровной, Константин и Игорь Константиновичи и князь Палей. Они остались на вокзале, ожидая приискания квартир.

— Но где же мы вас всех поместим? У нас нет квартир и нет даже свободных комнат.

— Я нашёл себе две комнаты у Аничкова по фетисовской улице, дом номер пятнадцать.

— Конечно, занимайте. Слава Богу, что нашли.

Несмотря на дословно переданный Сергеем Михайловичем разговор, мне, как ни было больно, пришлось напомнить, что необходим мандат квартирной комиссии.

Сергей Михайлович дал слово исполнить просьбу.

Перед завтраком я постучал в дверь комнаты великого князя и, войдя, просил разрешения не величать его «Вашим Высочеством», а называть Сергеем Михайловичем. Прислуга могла донести о титуловании, что приведёт к большим неприятностям как для него, так и для моей семьи. На моё приглашение позавтракать он не только ответил согласием, но

попросил накормить и его слугу. При этом великий князь заметил, что он неприхотлив, может есть что угодно.

И вот за нашей скромной трапезой волею судеб оказался высокий гость. Думал ли я когда-нибудь, что буду запросто принимать у себя великого князя? Чего не делает судьба, чего не творит революция…

Несмотря на необыкновенную простоту Сергея Михайловича, в первое время совместного житья всё же чувствовалась какая-то натянутость. Особенно стеснялся его присутствия мой милый Толя, правовед, воспитанный на благоговейном уважении к попечителю училища принцу Ольденбургскому. Он упорно именовал Сергея Михайловича «Ваше Высочество». Стеснялась, конечно, и моя жена, часто приходя в отчаяние из-за невозможности достать на базаре подходящую для гостя провизию. С продуктами становилось всё тяжелее. Да и мне как безработному не позволяли шиковать далеко не блестящие средства.

Однако стол был обставлен если не лучшим образом, то по времени настолько хорошо, что Сергей Михайлович был доволен. К завтраку подавали два блюда, обед — тоже в два блюда. Кусочек сыру и чашка кофе были великому князю по вкусу.

Сергея Михайловича очень интересовала наша семья, жизнь провинциальных интеллигентов. Он с первых же дней часто заглядывал в единственную свободную от кроватей комнату, игравшую одновременно роль гостиной и столовой, и почти всегда долго засиживался за столом. И если бы не желание выкурить сигару, чего он не решался делать при жене, то эти интересные беседы длились бы часами.

Незадолго до приезда великих князей в Екатеринбург в наш город был привезён и Государь с семьёй. Говорили, Наследник с Татьяной остались в Тобольске по болезни Алексея.

Царскую семью поместили в доме Ипатьева, предварительно окружив две его стороны по фасаду, выходящему на площадь и улицу, высоким, наскоро сколоченным забором. Любопытных собралось столько, что поезд пришлось передать с главного вокзала на Екатеринбург-Второй, и уже оттуда их на автомобилях доставили в приготовленный дом. Сопровождавших Государя графа И. Л. Татищева, князя В. А. Долгорукова, графиню Гендрикову и фрейлину Шнейдер отправили прямо с вокзала в тюрьму, куда был позже привезён и епископ Гермоген.

Лица, видевшие Государя (Коля Башкевич уверял, что был его шофёром), говорили, что он постарел, но вид имеет бодрый.

Много публики проходило мимо дома. Многие ходили по противоположному берегу озера, с которого был виден балкон,

выходящий на двор дома Ипатьева, в надежде повидать Царя. На этом балконе постоянно находился часовой, которого многие и принимали за Государя. Ошибиться было легко, ибо расстояние было большое — около версты.

Очень часто, почти каждый день, на набережной можно было видеть карету архиерея. Очевидно, он тоже приезжал сюда понаблюдать за домом Ипатьева.

Пребывание у нас великого князя вызвало, конечно, со стороны большевиков усиленный контроль за нашей квартирой. Так, напротив нас, выселив бухгалтера Азовско-Донского банка Буховецкого, поселили нескольких красноармейцев, которые день и ночь наблюдали за нашей квартирой. Дабы облегчить им эту задачу, мы, с согласия Сергея Михайловича, решили не опускать по вечерам шторы, надеясь предотвратить более энергичное вмешательство большевицкой власти в нашу жизнь. Однако на другой же день его приезда к нам явился какой-то матрос с требованием осмотра квартиры.

— Кто живёт у вас? — спросил он жену.

— Бывший великий князь, — ответила жена (так буквально значилось в его паспорте).

— Покажите вашу домовую книгу.

Убедившись, что великий князь прописан, матрос стал мягче и даже отказался от осмотра всего помещения, сказав, что он верит жене на слово в том, что свободных комнат нет.

Сергей Михайлович через приотворённую дверь слышал весь этот разговор и, когда опасность миновала, вышел в прихожую и хвалил жену за её умение говорить с «товарищами».

ПАСХА

Пасхальную заутреню великий князь решил — по нашему совету — провести в храме реального училища, где обычно бывали и мы. Узнав о том, что у него больные ноги, я предложил мой экипаж, и он охотно воспользовался им. В церкви Сергей Михайлович стоял на правой стороне, сзади учеников.

В городе быстро разнеслась весть о приезде великих князей, и, уже зная, что Сергей Михайлович остановился у меня, многочисленные знакомые обращались ко мне с разными вопросами и с просьбой показать им князя.

Большой рост, серенький скромный пиджак, так плохо гармонирующий с окружающей сюртучной публикой, выдавали великого князя. Все обращали свои взоры в его сторону. Мне казалось, что это было не праздное любопытство, а взгляд измученных революцией людей, полных веры и надежды вернуться к прошлому и вновь увидеть Россию сильной и могучей державой под скипетром Романовых, власть которых могла быть ограничена конституцией.

Так мечтала тогда большая часть буржуазии и интеллигенции. Не чужды были этой идее и многие эсеры, обладавшие мужеством сознаться в бесплодности социалистических мечтаний.

За заутреней мне сообщили, что Царской семье будто бы разрешено встретить праздник в церкви Вознесения.

Когда великий князь пришёл к нам разговляться, я предложил ему проехать со мной в Вознесенский собор, дабы повидать Государя, но Сергей Михайлович нашёл это предложение опасным и отклонил его.

Впоследствии оказалось, что Царская семья не была допущена в церковь, заутреню служили на дому, на разговение был дан всего один небольшой кулич, пасха и по одному яичку.

За столом засиделись. Сергей Михайлович был очень мил и весел, много шутил, разбивал яйца о свой лоб.

Выяснилось, что он ничего не пьёт, тогда как до этого всё время спрашивал, много ли у нас вина. Оказалось, что он знавал нескольких моих однофамильцев, и все они были большими пьяницами, почему он и предполагал, что и я должен был иметь пристрастие к спиртным напиткам. Недоразумение разъяснилось, и мы много смеялись над тем, что подозревали друг друга в одном и том же грехе (обратив внимание на его частые вопросы о вине, я с большим трудом достал для разговения великого князя несколько бутылок вина).

На другой день пришлось, по обычаю, принимать визитёров. На этот раз их было не меньше обыденного, несмотря на то что я уже не состоял директором банка. Объяснял я это, конечно, не столько добрым отношением к моей семье, сколько любопытством, связанным с приездом великого князя.

Сергею Михайловичу тоже было любопытно посмотреть на провинциальное общество, и он с самого начала визитов не покидал того уголка общей комнаты, который заменял нам гостиную.

Особенно интересен был для него визит местного духовенства, посетившего нас из-за присутствия князя в большем против обычного числе. Многие из причта были навеселе. Войдя в прихожую, они направились в комнату великого князя и, не найдя его там, прошли в столовую, где сидел Сергей Михайлович. Думаю, ему впервые пришлось видеть духовенство в таком виде: Сергей Михайлович их рассматривал с большим любопытством, делая знаки моей жене, чтобы она угостила их водкой. Но жена продолжала предлагать пасху и кулич. Сергей Михайлович не выдержал и сам начал наливать им водки и вина. Особенно поразило его поведение дьячка, таскавшего яйца со стола в свой карман.

Когда великий князь поделился со мной своими впечатлениями об этом, я ответил, что не только дьячок, но и батюшка и отец дьякон тоже взяли по яичку и в этом я не вижу ничего худого.

— Ведь и ваши камергеры занимались, наверное, тем же, таская с царского стола разные предметы на память. Меня лично это очень трогает, так что будьте уверены: яйца эти будут долгие годы храниться как святыня в божнице и сотни раз будут показываться всем знакомым как яйца с пасхального стола великого князя.

Один из местных генералов, занимавшийся в штабе большевиков, войдя в гостиную, очень фамильярно обратился к великому князю со словами:

— Вы меня узнаёте, Сергей Михайлович?

На что великий князь сдержанно ответил:

— Да, узнаю. Вы большевик.

Видный генерал густо покраснел и начал оправдывать своё поведение желанием принести пользу Родине в деле воссоздания армии.

Несмотря на опасность положения, некоторые офицеры академии всё же приходили к великому князю и расписывались на листе. Великий князь просил передать посетившим его офицерам привет и благодарность, прибавив, что он лишён

возможности ответить им на визит из боязни их скомпрометировать.

Из горожан Сергей Михайлович долго беседовал с Ильёй Ивановичем Симоновым, бывшим городским головой, тридцать лет назад принимавшим Сергея Михайловича и его отца в Екатеринбурге. Старик был сильно растроган внимательным приёмом и плакал, сидя у князя.

По просьбе моей жены принял князь и Милославскую — дочь умершего врача. Она тридцать лет назад, будучи гимназисткой, подносила букет юному Сергею Михайловичу. Ныне, сама нуждаясь, Милославская спрашивала мою жену, не примет ли великий князь от неё несколько пар белья, оставшихся от её покойного отца. Но князь в белье не нуждался.

Зато денег — как у него, так и у князя Палея — не было. Поэтому я предложил великому князю сделать небольшой заём и, получив согласие, уговорил С. Жирякова дать пять тысяч рублей Сергею Михайловичу, а З. Х. Агафурова — князю Палею.

Сергей Михайлович говорил мне, что всё его состояние заключалось в пятистах тысячах рублей, помещённых в «Заём Свободы», и что сумма эта записана в долговую книгу Государственного банка. На руках у него ничего не имелось.

О нужде его в деньгах я узнал по следующему поводу.

Сергей Михайлович любил пить кофе со сливками. К сожалению, наша единственная корова почти прекратила давать молоко; достать сливки было трудно. Наконец нашлась поставщица, бравшая сравнительно недорого — по семь рублей за полбутылки. Но князь, узнав об этой цене, от сливок отказался. Получив наше молоко, он уверял меня, что оно гораздо лучше сливок, и с наслаждением вечерком варил себе кофе и выпивал его совместно с Ремезом. Этот случай указал мне на скудность его средств.

Его Ричардо, бедный Ремез, был небольшого роста и плотно сложен. Был очень экономен и хозяйствен, и, сопоставляя его фигуру и практические качества с великим князем, поневоле приходило в голову: Дон Кихот и Санчо Панса.

Отношение Сергея Михайловича к прочим членам Царской фамилии, прибывшим в Екатеринбург, за исключением князя Палея, которому он благоволил, не было ни близким, ни отдалённым. Зная, что в Екатеринбурге нет свободного жилья, я предложил ему уступить одну из моих комнат двум несчастным беженцам. Великий князь категорически запротестовал:

— Нет уж, будет с меня и Вологды. Я там прекрасно устроился, чувствовал себя почти так же хорошо, как и у вас. И меня выслали за компанию с Константиновичами, ибо из-за их поклонения архиереям и монашкам создалось паломничество в монастырь, где Иоанн Константинович руководил хором. И путешествие наше сюда в вагоне я никогда не забуду. Они вечно ссорятся, мирятся и снова ссорятся, поют, кричат… Нет уж, прошу вас избавить меня от совместного с ними жительства.

Ввиду этого я начал подыскивать комнату для Палея и Константина Константиновича у знакомых. Игорь Константинович хотел жить совместно с Иоанном и Еленой Петровной, успевшей подыскать себе маленькую квартирку и даже начавшей делать кое-какие хозяйственные покупки, которые её очень забавляли. Комната нашлась у Агафуровых. Но Сергей Михайлович где-то навёл справки об этой семье и запротестовал, объяснив протест тем, что Агафуровы очень богаты и не считают денег. Их сын, сверстник великих князей, пьёт, много тратит, ведёт крупную игру, а зная легкомыслие и увлечение, свойственные молодёжи, Сергей Михайлович боится, что князья могут проиграться и в компании попадут в какой-нибудь скандал. В этом вмешательстве проглядывала фамильная заботливость и щепетильность.

Другой раз она сказалась даже в виде некоторой обиды.

Князю Палею очень хотелось выступить со своими произведениями в местной любительской художественной студии. Я передал это желание артистам-любителям и получил ответ, что все они будут очень рады сотрудничеству с ним. Но пусть он не обижается, если наружный приём будет более чем сухим: они боятся большевиков. Что же касается его пьес, то они просят их представить для предварительной цензуры.

Сергей Михайлович, не поняв, что цензура здесь подразумевается совершенно особенная, ответил, что даст ли Палей им свои пьесы — большой вопрос.

Кстати, о цензуре пьес при большевиках. Местная студия была закрыта за то, что один из артистов, цитируя слова

Фамусова, сказал:

В деревню, в глушь, в Саратов,
В Совет солдатских депутатов.

Местные гимназистки, увидав молодых князей в соборе и не зная, кто они, почему-то приняли их за наездников из прибывшего цирка. Конечно, мгновенно влюбились, а затем, узнав, кто предмет их обожания, решили устроить вечер и отправили к ним депутаток с приглашением на бал.

На семейном совете Сергей Михайлович наложил своё вето:

— Как, вы хотите танцевать, когда Государь находится в заключении?..

Наконец мне удалось найти комнату у художника Ульянова. Князья пошли туда, их угощали завтраком. Условия подходили. Особенно Палею понравилась студия, где талантливый юноша рассчитывал писать картины. Да и Константин Константинович был в восторге от кокетливой хозяйки.

Но их мечтания растаяли как дым. На другой день ко мне приехал Ульянов и сказал, что лишён возможности сдать комнату князьям. Его предупредили, что в случае сдачи он будет объявлен контрреволюционером, а дом его разгромят рабочие Верх-Исетского завода.

— Я должен предупредить, Владимир Петрович, что и вас ожидает та же участь.

— Что делать, — ответил я, — нарушить правила гостеприимства выше моих сил…

Однако на душе стало скверно. О грозящей мне опасности я, конечно, Сергею Михайловичу не передал, но отказ в сдаче комнаты объяснил боязнью репрессий.

Дня через три-четыре пришлось, сильно поволноваться. В городе с утра произошла тревога. Разнеслась весть, что на вокзале, откуда слышались выстрелы, — дутовцы. Красноармейцы, коих было не много, версты за две до вокзала залегли по улицам в цепи, и поднимать их было нелегко. Зато изо всех щелей ползли «товарищи» — рабочие с винтовками.

Великий князь очень волновался, не уходил с улицы и всё время ходил по противоположной стороне.

Часа через два всё успокоилось. Оказалось, что своя своих непознаша: пришла рота в шестьдесят человек железнодорожной охраны и вступила в бой с местным вокзальным караулом, который был разоружён. Храброе воинство постыдно бежало, побросав винтовки в выгребные ямы.

Страстно хотелось верить, что это действительно Дутов и час

освобождения настал.

Молодые князья хотя не очень часто, но посещали Сергея Михайловича. Бывали все, кроме Иоанна Константиновича. Раза два заходила ненадолго и Елена Петровна. Я имел удовольствие быть ей представленным. Княгиня одевалась более чем скромно: в чёрной юбке и такой же кофточке, в серенькой вязаной шапочке.

Молодёжи хотелось бывать у нас. По крайней мере Сергей Михайлович просил разрешения приходить к нам запросто, на что, конечно, я от всей души передал князьям нашу сердечную радость видеть их у себя. Этот вечер князья Палей, Игорь и Константин просидели у Сергея Михайловича в комнате. Палей прекрасно играл на рояле, но войти в наши комнаты они почему-то не решились — к великому огорчению моих детей.

Однако дня через два к нам пришли с визитом Константин Константинович и Владимир Павлович и просидели за чаем часа два. Палей очень много болтал, читал стихи Христиановича в альбоме Наташи и обещал в другой раз почитать свои.

Видимо, на молодых людей моя дочурка Наташа произвела впечатление.

На праздниках приехал хозяин-«кулак» — бумажный фабрикант — и, не застав меня дома, очень резко выразил моей жене негодование за то, что в его комнаты пустили «какого-то великого князя», грозя пойти жаловаться на нас в квартирную комиссию.

Узнав об этом, я был огорчён предстоящим выселением Сергея Михайловича. На другой день старик очухался, и вместо всяких объяснений я провёл его к великому князю.

Видимо, старик опасался за целость содержимого в шкафу, стоящем в зале, в котором хранил деньги или золото. Он стал при князе открывать его, но руки дрожали. Сергей Михайлович встал, взял от него ключи и открыл шкаф. Старик растаял и позволил князю остаться.

— Живите, живите, пока живётся.

А уходя, говорил мне: «Бог его знает, может быть, и в самом деле опять князем будет».

Не менее удивлён был я и претензиями офицера, вернувшегося из отпуска, за сдачу его комнаты.

Вместо ответа я вызвал князя и сказал, что вот молодой человек претендует на комнату.

Сергей Михайлович спросил Чебановского:

— Прикажете очистить?

Но тот сконфузился и больше претензий не заявлял.

Пришлось пригласить его к обеду с великим князем. Чебановский вёл себя корректно, чем дело и кончилось.

Сергей Михайлович любил ходить и покупать на базаре всякую снедь: крупу, творог, яйца. Кур, по-видимому, он любил не только есть, но даже изъявил желание ходить за нашим куриным царством.

Ревматизм великого князя требовал тепла. Но по деликатности он как-то не сказал, что ему холодно. Сам через парадное крыльцо пронёс со двора дрова и затопил в своей комнате камин, но забыл при этом открыть трубу, надымил и был сконфужен в уличении кражи дров.

Сергей Михайлович оказался страстным картёжником, и по вечерам мы частенько играли в преферанс, для чего я приглашал или Поклевского, или Тяхта.

Как-то раз во время игры великий князь обратился к нам с просьбой: не найдём ли мы поручителя для князя Долгорукова, посаженного в тюрьму. Дня через два я доставил письмо Долгорукова из тюрьмы, где тот просил о поручительстве, жаловался на болезнь и высказывал желание, чтобы его заключили с Государем. Дать поручительство согласился Тяхт.

Но хлопотать было уже поздно и опасно. Как выяснилось, князь Долгоруков был расстрелян вместе с графом Татищевым. Об этом мне поведал Терентий Иванович Чемодуров — камердинер Императора, прослуживший у Государя шестнадцать лет и впоследствии скрывавшийся в моей квартире от преследования корреспондентов разных газет. Его арестовали приблизительно за месяц до расстрела семьи Государя и забыли в тюрьме, отчего он считал, что остался жив чудом.

Играли мы с князем по маленькой, и ему ужасно не везло. Мне же, против обыкновения, сильно шла карта, и князь говорил ворча, что он никогда не видел такого везения. Он возненавидел расплату фишками и непременно требовал писать мелом.

Играли обычно в его комнате при закрытых дверях, так как за картами Сергей Михайлович почти всё время курил сигары.

После обеда я обычно приходил в зал, занимаемый Ремезом, и там Сергей Михайлович угощал меня кофием. Долго мы засиживались за этим приятным напитком в густом дыме его сигары и двух махорочных трубок, которые курили я и Ремез (папирос купить было негде, и всем приходилось довольствоваться махоркой, доставаемой с большим трудом).

Эти интересные беседы с каждым днём становились всё более дружескими. Первоначальное стеснение прошло, и, чем ближе мы становились друг к другу, тем больше привязывался я к Сергею Михайловичу.

Какое чувство притягивало меня к нему? Конечно, не любовь, а, скорее всего, жалость. Впрочем, русский народ редко

употреблял глагол «любить», заменяя его словом «жалеть». Если это определение чувства правильно, то я искренне полюбил великого князя, искренне его жалел. Да и как было не жалеть, когда поневоле напрашивалось сравнение его и моего положении в прошлом и в настоящем. Если мне жалко было себя, утратившего и своё положение, и средства, то великий князь потерял несравнимо больше. Да и будущее его казалось во много раз безотраднее. Мне думалось тогда, что без банков не обойдутся и я, может быть, через год или два вновь поступлю в какой-нибудь из них. Ну, а великий князь? Вернётся ли к нему высокое прошлое, да и выдадут ли ему те пятьсот тысяч, помещённые в «Заём Свободы»?

Великий князь был уверен в конечной победе немцев. Он не верил в мощную помощь Америки и возлагал надежду на восстановление династии Романовых только благодаря немцам.

Сергей Михайлович искренне советовал русской интеллигенции работать с большевиками, чтобы растворить их, невежд, в интеллигентном труде. Так он рассчитывал найти линию примирения, считая, что в методе управления большевиков много общего со старым режимом.

— Точь-в-точь как при Императорском правительстве, но только у большевиков всё выходит в более карикатурном виде. То же держимордство, что и прежде, такой же Шемякин суд, такое же взяточничество.

К прошлому режиму Сергей Михайлович относился отрицательно. Заговорили о Пуришкевиче и его выступлении относительно водички Куваки Воейкова, к которой во время войны была проведена ветка железной дороги.

Я назвал это выступление Пуришкевича недостаточно проверенным.

— Да почему же вы считаете это выступление недостоверным?

— Да ведь было же опровержение правительства.

— Батюшка, да вы что, верили в правительственные опровержения? Неужели вы думали, что хоть одно опровержение прежних министров Николая, этих негодяев, было правдиво? Ложь, сплошная ложь, та же ложь, что и у большевиков, но только более тонкая, не такая наивная.

По отношению к Царю, а особенно к Царице он был сдержан в выражениях, но сквозь них просвечивало чувство неприязни к Государыне. На мой упрёк в том, что в развернувшихся событиях интеллигенция винит великих князей, боявшихся потерять свои права и мешавших Государю подписать конституцию, он горячо уверял, что все они неоднократно упрашивали Государя дать своё согласие на принятие конституции.

— Ведь нас не принимали, нас выселяли из Петрограда, как, например, моего брата Николая Михайловича, за слишком настойчивые советы пойти на уступки, равно как и за советы устранить Распутина.

Сергей Михайлович избегал говорить о Распутине и только раз сказал:

— Не верьте всему, что говорилось о его близости к Царице и дочерям. Всё это вздор. Такой же вздор и то, что Государь — пьяница. Я знаю его с юных лет и могу чем угодно поклясться, что ни разу не видал Николая Александровича пьяным. Да, он пил, но пил весьма умеренно. Всё это ложные слухи, распускаемые революционерами с целью дискредитировать Царскую семью.

Про возможность воцарения Михаила Александровича Сергей Михайлович говорил, что это будет такое же несчастье для России, как и царствование Николая. Оба были воспитаны Марией Фёдоровной и Александром III в таком подчинении родителям и были так изолированы от влияния жизни, что вышли бесхарактерными, безвольными людьми, легко поддающимися чужому влиянию.

Насколько это было уродливое воспитание, вы усмотрите из

следующего рассказа.

— К нам в батарею, в лагерь, уже взрослым юношей был прислан Михаил Александрович для практического ознакомления со строем и артиллерийской стрельбой. Был он, во-первых, с «гувернанткой», как называли мы кавалерийского полковника, не отпускавшего от себя ни на шаг своего воспитанника. Ведь Наследник не только стеснялся разговаривать с офицерством… Нам была передана просьба Михаила Александровича не присутствовать при его обучении стрельбе, и мы все уходили, когда оно начиналось.

Артиллерия была любимым коньком Сергея Михайловича, но мне, профану, не запомнились долгие рассказы, касающиеся этой области.

Помню лишь, что на мой упрёк в том, что он в Карпатах как начальник артиллерии должен был предвидеть нехватку снарядов, великий князь горячо возражал и сваливал всю вину на Николая Николаевича.

— Он давал задания на шесть месяцев войны, и все эти задания мною были исполнены в точности. Наконец по этому делу я подал обширную записку Государю.

— Ну и что же? — спрашиваю.

— Да то же, что было всегда. Внимательно выслушал, со всем согласился, а затем мнение последнего докладчика одержало верх.

Последний раз я видел Государя в Ставке, но о его решении отречься от престола осведомлен не был. Узнал я об этом от Алексеева, который до конца моего пребывания в армии относился ко мне хорошо. Особой перемены ко мне штабных генералов я не замечал. После подачи в отставку я жил во дворце моего брата Николая Михайловича. Нам жилось хорошо при Керенском. Никаких вмешательств в нашу жизнь не было. Когда же пришло известие об отречении Михаила, я понял, что всё пропало.

Как уверял меня Сергей Михайлович, за отречение высказались Родзянко, Керенский и, кажется, Шингарёв. Гучков и Милюков были против.

С воцарением коммунистов великого князя выгнали из дворца, позволив взять самое необходимое, а из мебели — одно кресло и походную кровать, которую он и привёз к нам. Выгонял великого князя матрос, который заявил, что «довольно вам пить нашей крови и обкрадывать казну».

Затем матрос потребовал:

— Покажи, где спрятал золото.

Сергей Михайлович показал ему золотые часы.

— Только-то?

И начался обыск. Часы матрос взять не пожелал.

Засим князь поселился совместно со слугой, кажется, у князя Оболенского, но какого именно, не помню.

В комнате великого князя, на письменном столе, было несколько карточек Кшесинской, одна — с ребёнком. Ремез говорил мне, что князь её безумно любит и считает, что ребенок от него. Сам же он никогда и ничего о Кшесинской не говорил.

Думал ли князь, что ему угрожает казнь? Я предполагаю, что нет, ибо на мой совет ему и юным князьям бежать из Екатеринбурга Сергей Михайлович категорически протестовал.

— Куда я побегу с моими больными ногами, а главное, с моим ростом? Мне деваться некуда, и я больше всего опасаюсь, что нас захотят выкрасть, а потом поймают, и тогда, конечно, расправа будет короткая.

Князь был очень наблюдателен. Так, бывая несколько раз в областном совдепе, который помещался в моей квартире, он заметил в бывшей моей бильярдной комнате заметки роста моих детей, сделанные карандашом, и спрашивал:

— Кто это Лев, заметка роста которого выше всех?

Я объяснил ему, что это гувернёр моего сына Делявинь, офицер французской армии, которого потом мне удалось устроить через друга моей юности Ознобишина в Париж, к графу Игнатьеву.

Сергей Михайлович замечал решительно каждую мелочь, вводимую в форме Красной армии. Даже судейский герб на пуговицах и тот заметил. Кстати, в возможность быстрого восстановления армии великий князь не верил и говорил, что ранее пяти лет этого сделать нельзя.

Постановление о высылке князей в Алапаевск сильно подействовало на Сергея Михайловича, сказавшего на это: «Чувствую: это начало конца». Я успокаивал его как мог и советовал, хорошо зная округ, просить совдеп поместить великих князей на Ирбитский завод, где хороший дом, сад, озеро, а население состоит из бывших государственных крестьян-землепашцев. «Товарищей» там сравнительно мало, а посему в случае нужды князья найдут поддержку большинства.

Незадолго до отъезда Сергей Михайлович просил меня достать для князя Палея денег, о чём я упоминал выше. И я пригласил Палея к себе пообедать, дабы свести его с Агафуровым, согласившимся одолжить князю Палею пять тысяч.

Это был последний вечер, когда у нас был этот милый юноша поэт. К сожалению, мне не пришлось присутствовать на обеде, так как меня вызвали на заседание Культурно-экономического

общества, и я описываю его со слов жены и детей.

На моё предложение пригласить Константина Константиновича и Игоря Константиновича Сергей Михайлович ответил отказом. Видимо, он хотел скрыть от них делаемый заём.

К этому обеду удалось достать хинной водки, и князь Палей с удовольствием выпивал рюмочку за рюмочкой, что делало его болтливее и интереснее. После обеда он подсел к роялю. Играл он хорошо, но всё больше романсы. Сыграв романс «В голубой далёкой спаленке», он, закрыв лицо руками, воскликнул:

— Боже мой, сколько дивных воспоминаний связано у меня с этим красивым романсом во время моего пребывания в Киеве!

Затем читал красивые стихи — кажется, «В монастыре», — кончающиеся словами: «Там на реке ледоход и весна, а здесь монастырь». Декламировал он неважно, но стихи были красивы. Повторил Палей и фразу, сказанную ранее Константином Константиновичем: «Мы, в сущности, рады нашему изгнанию. По крайней мере узнаем жизнь и людей, которых, к сожалению, ранее не знали».

Бедные юноши! Как мало они жили, как много перестрадали — и узнали не жизнь, а самую тяжёлую и лютую смерть.

После обеда Агафуров, передавший деньги в комнате Сергея Михайловича, удалился. Как раз в этот вечер пришла телеграмма, подписанная, кажется, Свердловым. В телеграмме Сергею Михайловичу отказывалось в его просьбе, адресованной Ленину, об оставлении великих князей в Екатеринбурге.

Старик телеграфист, принёсший телеграмму, просил моего сына показать ему великого князя. Сергей Михайлович с охотой вышел в прихожую, а за ним на одной ноге поскакал Палей. Оба они подали руку телеграфисту и этим так его сконфузили, что он ничего не мог говорить, а только низко кланялся. Вернувшись, оба передразнивали телеграфиста. Часов в одиннадцать Палей ушёл.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

За несколько дней до высылки князей в Алапаевск была привезена из Москвы постригшаяся в монахини великая княгиня Елизавета Фёдоровна, вдова убитого великого князя Сергея Александровича и родная сестра Императрицы. Её поместили в Атамановских номерах, где стояли и все молодые князья. Её выслали из монастыря, дав на сборы не более часа. Коммунисты, очевидно, боялись народного волнения, так как Елизавета Фёдоровна своей благотворительностью и строгой монашеской жизнью приобрела в России большую популярность и любовь народа. Теперь же её вместе с князьями отправляли в Алапаевск.

Какая странная судьба! В 1914 году Елизавета Фёдоровна собиралась посетить Алапаевск и старик Рукавишников, польщённый этим визитом, выписал меня для встречи великих княгинь. Тогда объявленная за несколько часов до их приезда мобилизация расстроила это торжество, а ныне вместо торжественной встречи её ждало в Алапаевске заключение и ужасная смерть.

Как тогда, так и теперь мне не удалось повидать Елизавету Фёдоровну, когда-то красавицу, которой много раз любовался я на улицах Москвы во время торжеств по поводу назначении Сергея Александровича московским генерал-губернатором.

Я попросил Сергея Михайловича узнать у великой княгини, насколько правильны слухи о том, что причиной её высылки был визит к ней немецкого посланника Мирбаха.

Великий князь обещал при случае осторожненько узнать об этом.

— Почему «осторожненько»?

— Да потому, что на мой прямой вопрос она может и не ответить.

В отношении Сергея Михайловича к Елизавете Фёдоровне сквозило особое почтение.

Также беспокоился Сергей Михайлович о судьбе вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны и жаловался, что, по его сведениям, её держат в Крыму, во дворце, в маленькой сырой комнате, и при этом плохо кормят.

Дня через два Сергей Михайлович сообщил мне, что Елизавета Фёдоровна не приняла Мирбаха, несмотря на то что тот два раза добивался свидания с ней.

По окончании революции Сергей Михайлович мечтал поселиться в Ницце. Как-то вечером, оставшись после обеда у нас в гостиной, он попросил, против обыкновения, у моей жены

разрешения закурить сигару и, пуская дым в камин, мечтал вслух:

— Мария Петровна, вообразите картину: чудная набережная Ниццы, променад, д'Англез, заходящее в море солнце. Вы идёте в белом, английского покроя платье и вдруг слышите возглас: «Мария Петровна, вы ли это?» Какая это была бы радостная встреча! Эх, скорей бы всё это кончилось…

Князь верил в систему игры в рулетку и даже показывал свой способ игры. Затем он сказал, что не представляет себе иного выхода поддерживать своё существование, поселившись в Ницце, как только игрой в рулетку.

Отъезд князя был обставлен скверно. Явились два «товарища» и, не застав князя дома, передали через жену приказ более не отлучаться из дому, ибо завтра последует отправка из Екатеринбурга.

Моя дочурка просила у меня разрешения поднести князю бутоньерку и побежала заказывать её на собственные, заработанные уроками деньги.

Сергей Михайлович этим подношением был тронут. Цветы эти были последними, поднесёнными ему в его жизни.

Жена моя тем временем хлопотала с провизией на дорогу.

Вечером сидели недолго, беседа как-то не клеилась. Принесли фотографические карточки Сергея Михайловича, снятые Имшенецким в нашей столовой, и мой сын попросил сделать на них надпись.

Князь ушёл в свою комнату и задумался, что надписать. Засим взял перо и написал только слово «Сергей». Вышло как-то сухо. Думаю, он боялся скомпрометировать нас, если эти карточки найдут «товарищи».

Уезжая, он благодарил нас за оказанный приём и ласку и несколько раз поцеловал жене руку, попросив её принять на память две колоды пасьянсных карт.

Я снабдил Сергея Михайловича письмами к двум знакомым инженерам Алапаевского округа с просьбой оказать посильную помощь в деле как устройства, так и снабжения провизией. Но, как потом оказалось, Ремез уничтожил эти письма, почувствовав в вагоне, с началом обысков, тюремный режим.

Отъезд оставил тяжёлое впечатление. За князем заехал на дрянном извозчике «товарищ», лет девятнадцати, по имени Мишка Остапин (говорили, что впоследствии он застрелился), и они поехали на вокзал.

Бедняга Ремез поехал на моей лошади, запряжённой в телегу с вещами князя. Наивный малый взял с нас слово, что по приезде в Петроград мы непременно остановимся у них во дворце.

Позже из Алапаевска я получил одну открытку от Ремеза с

просьбой прислать чаю, сахару и махорки.

Я пошёл на почту справиться о возможностях отправки. Оказалось, что табак отправлять не позволяют. Когда я решился поведать, кому он предназначается, то помощник управляющего конторой и почтарь не только согласились устроить доставку, но даже просили разрешения прибавить от себя четвёрку махорки, ибо в тот момент в городе её не было.

Но отправить посылку так и не удалось: на другой день меня предупредили о моём предстоящем аресте и я бежал в уральские леса.

Через несколько дней после отъезда князя пришла какая-то барышня, скромно одетая, и справлялась о его адресе. Кто она, нам узнать не удалось.

Затем через месяц, в конце мая или начале июня, зашла к нам княгиня Елена Петровна. Её принимала моя мать. Елена Петровна передала поклон от алапаевских узников, сообщила, что все здоровы и провизию посылать не надо, но просила получать на имя князей письма и передавать монахине, которая будет за ними заходить.

Два письма на имя князя Палея были нам доставлены каким-то инженером, но монахиня за письмами не зашла. Оба эти письма хранятся у меня до сих пор.

Про себя Елена Петровна сказала, что её выпустили из Алапаевска из-за болезни детей, оставшихся в Петрограде, и она направляется к ним. В тот же день княгиню арестовали и отправили под конвоем в Петроград. Как говорили мне потом сербские офицеры, Елену Петровну выпустили из Алапаевска как сестру сербского короля Александра, дабы избавить её от общей участи князей и боясь осложнений с Сербией, а совсем не потому, что её дети захворали.

Алапаевск после взятия Екатеринбурга чехами ещё долго находился в руках красных, а потому никаких вестей о пребывании там великих князей до нас не доходило.

Когда же осенью Алапаевск от «товарищей» был очищен, пришла ужасная весть, что тела убиенных были извлечены из глубокой шахты, расположенной недалеко от дороги, соединяющей Алапаевск с Синячихинским заводом.

В розыске тел исчезнувших из Алапаевска великих князей принимали участие инженер Карпов и мой родственник Алфимов. По их словам, великих князей заключили в пустое помещение школы, где не было даже кроватей. Узники всё же пользовались относительной свободой и без сопровождения конвойных ходили по городу и бывали в церкви. Так продолжалось не долго, и приблизительно с конца июня здание школы стал охранять

караул. Прогулки были заменены работой в огороде во дворе школы.

В распоряжение великих князей была предоставлена кухарка, которой разрешалось ходить на базар. Через неё они имели некоторую возможность сообщаться с внешним миром.

Кухарка, однако, вскоре была удалена, а приблизительно за несколько дней до убийства Государя я прочёл в екатеринбургских газетах одно за другим два сообщения. В первом говорилось, что из гостиницы в Перми белогвардейцами выкраден и увезён в неизвестном направлении великий князь Михаил Александрович. Второе сообщало, что на здание школы в Алапаевске отрядом белогвардейцев ночью было совершено внезапное нападение. Нападавшие увели заключённых там великих князей, розыски коих продолжаются.

В действительности как великий князь Сергей Михайлович, так и великие князья Иоанн, Константин, Игорь Константиновичи, князь Палей, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, сопровождавшая её монашка и слуга Ремез были украдены не белогвардейцами, а вывезены «товарищами». Похищение произошло ночью и сопровождалось выстрелами.

По одной версии, Сергей Михайлович не пожелал подчиниться и оказал сопротивление. Его вывели силой. Во время борьбы пуля попала князю в голову, и уже мертвого его положили в плетёнку. По другой версии, Сергея Михайловича, невзирая на его протесты, вывели и, пригрозив револьвером, посадили в плетёнку.

Остальные князья сопротивления не оказали, и их всех посадили в плетёнки и под усиленным конвоем вывезли по направлению к Синячихе.

Отвезя великих князей на несколько вёрст от Алапаевска, плетёнки были остановлены, и узников по одиночке выводили в сторону шахты. Первыми увели Елизавету Фёдоровну с монашкой, приказав великой княгине броситься в шахту. Она попросила завязать ей глаза. Вслед за ней бросилась в шахту и монашка.

Затем пришла очередь и молодых князей. Последнего привели к шахте Сергея Михайловича, который будто бы тут и оказал сопротивление, крепко схватив одного из палачеймучителей, желая увлечь его с собой. И тогда, дабы отбить «товарища», великому князю и всадили пулю в голову.

Какая ужасная смерть… До сих пор в бессонные ночи я часто вспоминаю ставших мне столь милыми мучеников, до сих пор моё воображение рисует предо мной ужасные картины той бесчеловечной казни.

Из Алапаевска до меня доходили слухи, что находившиеся на сенокосе крестьяне, разбуженные выстрелами и криками, ещё долго слышали пение псалмов, доносившееся из той ужасной шахты. Но крестьяне не посмели к ней подойти и подать помощь искалеченным, умирающим мученикам.

Мир праху вашему, несчастные мученики… Своей лютой смертью, своими муками вы превзошли страдания всех замученных во имя Христа святых, и я уверен, что настанет время, когда русский народ причислит к лику святых как Государя и его семью, так и великих князей.

Я же считаю для себя величайшим счастьем, что на мою долю выпала великая честь в лихую для Царствующего дома Романовых годину оказать его членам в пределах скромных сил моих помощь, посильной лаской и гостеприимством смягчить последние дни их земного пребывания. И сделано это было мной и моим семейством без каких-либо корыстных целей и побуждений в те дни, когда из страха перед большевиками все от Романовых отворачивались.

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Вскоре после ссылки в Алапаевск великих князей большевики начали проводить самый жестокий террор. Началось с массовых арестов ни в чём не повинных «буржуев» и интеллигентов. Арестовывали наиболее популярных своими общественными работами людей. В первую очередь посадили в тюрьму присяжного поверенного Гавриленко, секретаря думы кадета Чистосердова и инженера Питерского. Питерский состоял членом совета Культурно-экономического общества, бывшего единственным, которое пользовалось при большевиках всеми правами легального общества. Но права эти были куплены слишком дорогой ценой, ибо именно через это общество большевики проводили обложение «буржуев». В то время правление общества уже внесло совдепу более двух миллионов рублей контрибуции и около миллиона дало городской управе в долг под векселя. Последнее, по существу, нисколько не отличалось от контрибуции. Городская управа вскоре после займа прекратила своё существование, сделавшись подотделом совдепа, а частные долги по примеру государственных долгов аннулировались.

В качестве члена правления этого общества мне совместно с Беленковым пришлось начать хлопоты по освобождению Питерского. Председатель правления Павловский, как человек очень юркий и беспринципный, друживший с большевиками, почуяв приближение террора, успел вовремя взять отпуск и отправиться к себе в деревню. Участь же Питерского оказалась в руках еврея Юровского.

На любезный приём Юровского рассчитывать не приходилось. Так оно и случилось. Юровский не замедлил показать себя, ибо продержал нас в ожидании приёма с девяти часов утра до трёх часов дня.

Приём носил строго официальный характер. Юровский сидел в кабинете председателя суда. Жестом руки он указал нам на стоящее около стола кресло и сухо, официальным тоном спросил, что нам нужно. Мы объяснили, что пришли хлопотать от имени Культурно-экономического общества за его сочлена Питерского, арестованного вчера вечером. Просим, если нельзя освободить заключённого, заменить тюремное пребывание домашним арестом или выдать его на поруки нашего общества.

Ответ был категоричен:

— Никаких изменений в предварительных мерах пресечения допущено быть не может.

— В таком случае нельзя ли ускорить его перевод из арестного дома в тюрьму, ибо условия заключения в арестном доме слишком тяжелы?

— В этом я охотно могу пойти навстречу. Питерский сегодня же будет переведён в тюрьму.

Однако этот день всё же не был потерян даром. В ожидании приёма у Юровского со мной на одной скамье сидели и другие просители, более почётные, чем я. Это были «товарищи» — простые рабочие с уральских заводов. Им по сравнению с нами оказывали почёт и принимали раньше, несмотря на то что пришли они позднее. Я целый день расспрашивал их о новых порядках, и, странное дело, все они высказывали неудовольствие комиссарами.

— Прежде жилось не хуже, но зато если и приходилось шапку ломать, так перед настоящим начальством. А ныне перед кем кланяться надо? Перед своим же братом рабочим! А он тебе и ломается, и издевается, особливо если ты ранее знавал его да жил с ним не в ладах… Беда!.. […]

Сердце радовалось, глядя на разочарование, которое уже тогда наблюдалось среди рабочих Урала. Казалось, близок час избавления России от нелепых, безумных мечтаний большевиков облагодетельствовать человечество.

Но чем ближе приближался этот час, тем свирепее становились коммунисты…

Вечером того же дня было арестовано ещё несколько человек, и в том числе Н. И. Беленков, брат А. И. Беленкова, который вместе со мной хлопотал об освобождении Питерского.

Был арестован и В. Ф. Щепин, управляющий Азовско-Донским банком. Его арестовал Юровский в своём кабинете, когда Щепин приехал хлопотать об освобождении Н. И. Беленкова.

Происходящее заставило меня сильно призадуматься о своей судьбе. Ночь прошла тревожно и в напряжённом ожидании, что сейчас придут и за мной.

На другой день мы с женой собирались пойти на похороны очень влиятельного в Екатеринбурге присяжного поверенного С. А. Бибикова. Но часов в семь утра раздался звонок, и, запыхавшись, в квартиру вошёл мой компаньон по приисковому делу В. М. Имшенецкий.

— Вы дома? Ну, слава Богу. А мне сказали, что вы арестованы. Вы знаете, вчера арестовали Беленкова, Первушина, Щепина и Макаровых… Вам надо немедленно скрыться, и я предлагаю вам сейчас же ехать ко мне на заимку.

Едва успел он проговорить эту фразу, как вновь раздался звонок. Все насторожились… Жена пошла отпирать дверь.

Тревога оказалась напрасной: с теми же советами пришёл наш добрый знакомый Н. Н. Глассон, товарищ председателя окружного суда. Он тоже настаивал на моём немедленном бегстве.

— Послушайте, Николай Николаевич, но ведь вы-то не бежите, а меня отсылаете в леса.

— Я другое дело. Если я стану скрываться, то что будут делать судейские? Слишком тяжело их материальное положение, чтобы лишить их ещё и той незначительной помощи и нравственной поддержки, которую в пределах моих слабых сил я им оказываю. Ведь Пермский суд в значительном большинстве своего состава покорился горькой судьбе и пошёл в кабалу к большевикам. Нет, Владимир Петрович, я не побегу. Да думаю, что меня они и не тронут. А если и тронут, то что же? Одним бобылём на свете станет меньше. Вот вам — другое дело. Вы семейный, ваша помощь нужна и жене и детям. Да и грехов за вами накопилось много. Только из-за того, что вы сумели собрать крупные суммы на поддержку бастующих педагогов и судейских, — если, Боже сохрани, узнают об этом наши правители, вам не посчастливится. Да и приём великих князей они вам не поставят плюсом. Нет, послушайтесь меня, бегите немедленно, иначе не сегодня, так завтра вы будете арестованы…

Делать нечего, пришлось подчиниться дружеским увещеваниям. Решено было, что жена пойдёт на похороны одна, а я тем временем отправлюсь на заседание Культурно-экономического общества и заявлю о своём отказе от дальнейшей работы в правлении. Вернувшись домой, выеду вместе с Имшенецким на заимку, расположенную в семнадцати верстах от Екатеринбурга, при разъезде Хохотун. По шоссе это расстояние вёрст на пять больше.

Жена решила остаться на несколько дней в городе и затем уже приехать на заимку вместе с дочуркой.

Расставание было особенно тягостным, но утешала мысль, что до сего времени большевики по отношению к женщинам держали себя хорошо и их не арестовывали.

ЖИЗНЬ НА ЗАИМКЕ

На следующее утро я очутился на дворе у Имшенецких в несколько маскарадном костюме, в котором раньше постыдился бы выйти на улицу.

Кучер привёл под уздцы мою лошадь Полканку и запряг в лёгкую плетёнку. Запряжка пошла быстро, и мы разместили нехитрый наш багаж. Имшенецкий, двое взрослых его сыновей, я и мой сын медленно двинулись по наиболее глухим улицам Екатеринбурга, дабы по возможности избежать неприятных встреч. Но это было трудно. То и дело попадались знакомые, удивлённо смотревшие на наши скромные экипажи. Хотелось провалиться на самое дно плетёнки, мечталось о шапке-невидимке.

Перед самым выездом из города мы заметили группу всадников. Красный эскадрон!.. Один из всадников на сером коне приблизился к нам. В нём мы узнали командира эскадрона, старшего сына Ардашева. Дело плохо… Ардашевых мы побаивались, особенно старшего, Юрия, служившего у большевиков и бывшего у них в большом фаворе.

Отец его, Александр Александрович, был нотариусом и пользовался в городе и в думе большой популярностью. Про него говорили, что, пользуясь родством с Лениным (он приходился ему двоюродным братом), он решился поехать к главе большевиков с целью отстоять золото, около семи пудов, конфискованное у еврея Крумнаса. Как он сам рассказывал кое-кому из своих друзей, Ленин его принял, уговаривал идти к нему на службу, но, получив отказ, был очень рассержен и очень сухо с ним расстался. Однако, как говорят, через мужа сестры Ленина, видного коммуниста, дело с золотом всё же было улажено и Ардашев заработал от Крумнаса около трёхсот тысяч рублей.

Юра подъехал к нам, поздоровался и спросил, куда мы направляемся. Делать было нечего — пришлось сказать, что пробираемся на дачу.

Плохо дело, думал я, адрес дан, а по нему легко может последовать и арест.

Имшенецкий подбадривал меня. Состоя в близких отношениях с Ардашевым, он не допускал мысли, что тот его предаст. В этом он оказался прав, ибо месяц спустя Юрий Ардашев поднял свой эскадрон против красных и после небольшой стычки бежал вместе с отцом и двоюродными братьями из города, скрываясь от красных до прихода чехов.

Как назло, у Полканки отвалилась подкова, и пришлось

заехать в кузницу.

Спустя час лошадь была подкована, и мы тронулись через Верх-Исетский завод, самое опасное место, в путь-дорогу.

У страха глаза велики, и мне кажется, что каждый встречный рабочий и красноармеец как-то особенно всматривался в нас.

Наконец мы за городом. Медленно едем по ещё не просохшей от стаявшего снега дороге. Трава уже кое-где пробивается, но вокруг, куда только хватает глаз, стоят хвойные леса, поэтому общий колорит пейзажа — густо-зелёного цвета. Яркое солнышко сильно припекало, щебетали пташки, и с каждым движением вперёд в душу, вытесняя чувство страха, вливалась какая-то тихая радость от весеннего обновления.

Часа через два тяжёлого пути мы уже подъезжали к уютному дому заимки Маргаритино.

Заимка состояла из тридцати — тридцати пяти десятин земли, очищенной от леса. Разработанной, пахотной земли было не более двух десятин. Сама усадьба была расположена на берегу небольшой горной речки Северки, бурной весной и почти пересыхавшей летом. Усадьба состояла из небольшого, но очень уютного дома и только что выстроенного флигеля. Предполагалось выстроить и свою электрическую станцию. Хутор находился в двухстах саженях от разъезда Хохотун Пермской железной дороги и от самой станции отделялся узкой, но очень высокой скалой, состоящей из груды валунов, коих на Урале так много.

По ту сторону железнодорожного полотна, напротив станции, вдоль речки Решётки, в которую впадала Северка, тянулась узкая, шириной не более пятидесяти сажен, полоса земли с чудным строевым лесом. Шесть десятин этой земли были куплены мною у Имшенецкого за тысячу восемьсот рублей в расчёте построить себе дачу. Но так как переживаемое время было исключительно тяжёлое, то я решил выстроить на усадьбе Имшенецкого небольшой флигель размером три сажени на четыре.

С другой стороны, не было уверенности, что к зиме смута утихнет, и поэтому не исключалась возможность зазимовать в Маргаритине — так опротивела городская жизнь.

Вся моя жизнь, за исключением детства, прошла в городе — сперва за ученьем, а затем за службой в банке. И вот наконец я свободен: никаких служебных обязанностей, никакого начальства и подчинённых у меня больше нет.

Первое время мы жили совсем как робинзоны. Я вставал раньше всех, с восходом солнца, шёл прямо на речку умыться холодной ключевой водой, затем ставил самовар, чистил сапоги и, наконец, напившись кофейку, брал заступ, мотыгу и шёл

готовить землю под огород. Работа, особенно в первые дни, была тяжела. Бывало, вскопаешь полсажени, и приходится отдыхать. Помимо этого всю земляную работу по постройке моего флигеля я решил проделать сам. Правда, в этом помогал мне Толя, но делал он всё настолько неохотно, что я больше огорчался, чем получал наслаждение от совместной работы с сыном.

Сын мой отнюдь не был белоручкой. Наоборот, его руки всегда были вымазаны салом или керосином. Целые дни он возился то с чисткой велосипеда, то с проводкой электричества. В Маргаритине его техническим талантам было полное раздолье. Молодёжь собственными силами ставила электрическую станцию, за коим занятием и проводила весь день. Любви же к лошадям, к домашним животным и к сельскому хозяйству у моего сына не оказалось.

Уставал я за работой страшно и с большим трудом, с перерывами дотягивал за ней до полудня. Убрав свои инструменты, шёл в баню и в блаженстве обмывал своё потное тело тепловатой водичкой. Обед казался мне невероятно вкусным, а послеобеденный сон так укреплял меня, что я начинал чувствовать себя богатырём.

День ото дня работать становилось легче. Я не только сам вскапывал свой огород, но впоследствии стал недурным косцом, не отставáвшим в работе от крестьян. Правда, работал я не более пяти-шести часов в день с большим обеденным перерывом.

Мой животик совсем пропал, одышка прекратилась. Если и дальше удалось бы заниматься физическим трудом, то я дожил бы до ста лет, год от года молодея, а не старея.

Дней через десять приехала моя жена, Наташа и семья Имшенецких. Жизнь стала ещё полнее и, пожалуй, комфортнее. Занимаемый нами чердак казался раем.

Я с женой и дочуркой поместились на антресолях и всё мечтали о скорейшем переезде в собственный дом, постройка которого подвигалась чрезвычайно медленно. Вместо нанятых четырёх рабочих осталось только двое: один ушёл на сельские работы, а плотник Николай, обтёсывая бревна, порубил себе ногу. Рана была небольшая, но тем не менее он отпро-сился в больницу и просил вознаградить его пятьюдесятью рублями.

Как он просил, так я и сделал. Однако вскоре он явился к Имшенецкому в город и попросил прибавки. Тот дал, и в каждый приезд в город происходило новое появление Николая с новыми, всё более нахальными требованиями. Пришлось, конечно, ему отказать, несмотря на опасения, что последствия отказа скоро скажутся. Но хозяин заимки Имшенецкий так был уверен в искренности слез и клятв Николая при получении последней

суммы, что я успокоился.

Однако мои предчувствия сбылись.

ВЫЛАЗКА В ГОРОД

Вскоре я получил от Релинга, председателя комиссии по национализации банков, повестку с предложением прибыть для подписи акта передачи ценностей. Другая повестка, присланная моей матерью, оставшейся в Екатеринбурге, грозила чуть ли не смертной казнью, если мы не представим в указанный срок в распоряжение Красной армии нашу лошадь. После долгих споров мы решили исполнить приказание властей. Это была моя последняя поездка в город.

Моя старая лошадь так плелась, что мы запоздали и подъехали к городу после девяти часов вечера, т. е. после часа, в который был запрещён выход на улицу. Пришлось пробираться на Фетисовскую улицу окольными путями. Нигде ни души. Город весь как бы вымер, и как-то особенно гулко в тишине раздавались удары копыт нашей лошади по каменной мостовой. Экипаж двигался с черепашьей скоростью. Казалось, что мы никогда не доберёмся до квартиры. Но вот и Фетисовская, а вот и дом Захарова. Войдя в квартиру, мы обнаружили нежданного гостя — Поклевского-Козелла. Уже несколько суток он приходил к нам ночевать. Из-за опасения ночного ареста Викентий Альфонсович начал страдать бессонницей. В это тяжёлое время очень многие, так же как и Поклевский-Козелл, не ночевали дома, а искали ночлега у своих друзей, по возможности часто меняя место ночёвки.

Моя мать рассказала, что уже два раза приходили за лошадью, а один раз спрашивали меня. Помимо этого печ-ник-слесарь приходил предупредить, что меня ищут и его расспрашивали о моём местонахождении. Засим наши друзья Прейсфренды сообщили, что на днях был оцеплен дачный посёлок Шарташ. При обысках у комиссара прочли список подлежащих аресту и расстрелу лиц, в начале которого было проставлено моё имя и имя моего сына. Все это сильно взвинтило нервы, и как ни устал я от трёхчасовой езды, а спалось всё же плохо.

Часа в четыре утра раздался звонок. Мы с женой быстро вскочили и начали одеваться. Жена настояла, чтобы я бежал из дому через задний ход. Я сделал вид, что ухожу, а сам спрятался в коридоре, боясь оставить её одну. Оказалось, ложная тревога. Звонил рассыльный, принёсший телеграмму.

Напившись кофе, я в девять часов отправился прямо в Народный банк, где служили почти все мои бывшие коллеги. Едва завидев меня, они начали уговаривать бежать немедля. От них же

я узнал, что Чернявский только что выпущен из арестного дома и сидит под домашним арестом.

Всё же я решил исполнить свой последний служебный долг и пойти в комиссию по национализации банков. Акт был составлен грамотно, пришлось лишь сделать оговорку о неправильности приёма недвижимости по балансовой стоимости. Покончив с делом, я рискнул посетить Чернявского, с которым, несмотря на его левизну и угодничество большевикам, оставался в неизменно хороших отношениях. Меня мучило любопытство узнать причину его ареста. Я даже задавал себе вопрос, а не был ли арест симуляцией из желания обелить себя в случае освобождения нас чехами.

По дороге в Государственный банк мне встретился Павловский, возвратившийся из отпуска. Он шёл к комиссару Чутскаеву.

— Что слышно? — спросил я.

— Вчера получено известие из Москвы, что вскоре будет подана серьёзная помощь против чехов. Так что вся эта авантюра, слава Богу, будет скоро ликвидирована.

Я удивился и не смог воздержаться от восклицания:

— Как — слава Богу? Вы что?

— Да, я против этих выступлений — они только озлобляют большевиков.

Я сухо простился с Павловским.

К Чернявскому меня допустили. Он был рад моему приходу и начал жаловаться на большевиков и на отвратительный режим арестного дома, находившегося в ведении ГПУ.

— Скажите, Василий Васильевич, откровенно: не по вашей ли просьбе вас арестовали?

— Я так и думал, что вы зададите этот вопрос. Арест был для меня выгоден на случай прихода чехов. Я сидел под арестом при самых отчаянных условиях в доме Злоказова, где в одной комнате содержалось шестнадцать человек. И даже там я думал, как хорошо, что меня арестовали.

— Однако что вы натворили? За что такая немилость?

— А, видите ли, арестовал меня Войков. Он дал мне знать, что в пять часов начнут вывозить ценности; я и приказал явиться всему штату. Оказывается, он желал произвести вывоз ценностей келейно и страшно на меня за это рассердился. Потом придрался, что я без его разрешения, ввиду эвакуации отделения в Пермь, выдал служащим по двухмесячному окладу.

Простившись с Чернявским, я не рискнул идти домой, а зашёл в Северное страховое общество и просидел там до обеденного времени, как мы и сговорились с женой.

Ровно в три я сел за обед, а в четыре, захватив с собой краюху черного хлеба, вместе с кучером, немцем Иоганном, двинулся пешком в обратный путь, в Маргаритино.

Если бы это путешествие мне суждено было проделать двумя месяцами раньше, то я, наверное бы, на него не решился. Но теперь я окреп физически и был уверен, что свободно пройду расстояние в двадцать две версты без особой усталости.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАРГАРИТИНО

Погода стояла великолепная, хотя для ходьбы было немного жарковато. Но я утешал себя тем, что часа через два наступит вечерняя прохлада.

Первые четырнадцать вёрст я прошёл бодро, только хотелось пить, поэтому я решил зайти на лесной кордон и попросить молока. В избе я застал молодую хозяйку с довольно интеллигентным лицом. На мою вежливую просьбу продать мне крынку молока я получил резкий отказ.

— Много вас здесь шляется, буржуев. На всех молока не наготовишься.

Пришлось ретироваться. Выхожу на крыльцо и вижу, что мой Иоганн оживлённо болтает по-немецки с камарадом. Я недоумеваю, как, каким образом в четырнадцати верстах от города встретились двое военнопленных. Кое-как вступаю в разговор и узнаю, что камарад, собрав группу из восьми военнопленных, решил пешком пуститься в Германию, но несчастному так натёр ногу неуклюжий сапог, что он отстал от своих и решил вернуться в Екатеринбург.

Поделившись с ними краюхой хлеба, я уже собрался отправиться в дальнейший путь, как по шоссе подъехал дядюшка Имшенецкого, Ковылин, с сыном. Он возвращался из Маргаритина.

Поздоровавшись, он предложил выпить с ним чаю. Я рассказал ему про строгий приём хозяйки, но он оказался её знакомым. Потеряв около часа, я всё же подкрепил свои силы.

Ковылин приезжал в Маргаритино для того, чтобы предупредить Имшенецких, что им и мне грозит арест. Он настоятельно просил меня не идти по шоссе. Меня могут легко узнать.

Пришлось послушаться благоразумного совета и продолжать путь не по шоссе, а рядом — по довольно извилистой лесной тропинке.

Пройденные четырнадцать вёрст давали себя знать, и каждый камень или пень, пригодные для сидения, манили к себе.

Тропа, по которой приходилось идти, то отдалялась, то выходила на самое шоссе. Прошло около часа, лес стал редеть, и, выйдя по тропке на шоссе, я очутился как раз против верстового столба с цифрой девятнадцать. Слава Богу, осталось идти до поворота на окольную дорогу всего три версты, с радостью подумал я. И только я полез в карман за трубкой, чтобы закурить, как моё внимание привлекла бричка, едущая шагом саженях в

тридцати впереди меня, запряжённая прекрасной чистокровной кобылой.

В бричке, спиной ко мне, сидело двое: один — матрос, а другой, судя по кожаной куртке, — комиссар. Оба с винтовками… Кучер обернулся назад и пальцем указал седокам на меня. Лицо кучера показалось мне знакомым, но кто это был, я сразу узнать не мог. Предчувствуя опасность, я повернулся к ним спиной и вновь увидел саженях в пятидесяти едущие из города ещё две брички с седоками, вооружёнными винтовками. В один миг я сообразил, в чём дело, и припомнил, кем был указавший на меня кучер. Им оказался плотник Николай, успевший сбрить большую чёрную бороду. Ясно, что едут к нам в Маргаритино.

Не долго думая, я, быстро повернувшись на каблуках, бегом пустился в лес.

Позади меня бежал Иоганн.

— Герр барон, — кричал он, — так нельзя, вы заблудитесь, тут нет штрассе…

Пробежав минут пять, я не слыша ни выстрелов, ни погони, приостановился и пошёл дальше шагом. Иоганн скоро нагнал меня. Я объяснил ему, в чём дело, и сказал, что до Маргаритина отсюда, по моим расчётам, не более трёх верст. На этом небольшом пути мы должны будем пересечь полотно строящейся Казанской железной дороги, речонку Решётку и, наконец, Пермскую железную дорогу. Едущим же к нам большевикам нужно проехать по шоссе ещё три версты да по убийственной лесной дороге ещё не менее четырёх вёрст.

Это давало мне надежду опередить разбойников и спасти моего сынишку и всех Имшенецких от ареста. Особенно я волновался за молодёжь: все трое были призывного возраста и подлежали призыву в Красную армию, поэтому их могли схватить как дезертиров.

И откуда только силы взялись?.. Я почти бежал, по возможности спрямляя путь, руководствуясь заходящим солнцем. Перебравшись через небольшой горный хребет, я вышел на какую-то лесную дорогу, которая скоро исчезла в болоте. Не долго думая, я решился идти через болото, благо на Урале «окон» в болотах нет. Временами я погружался в грязь почти по брюхо. Иоганн возмущался и ругал русские порядки, жалуясь на отсутствие надписей с указанием, куда ведёт дорога… Вымокнув почти по пояс, я вновь полез на гору, заканчивавшуюся скалой из валунов. Посмотрев на часы, я понял, что брожу уже больше часа. Солнце почти село, становилось темно. Комары облепили нас так обильно, что из-за мощного назойливого жужжанья было хуже слышно ругань Иоганна. Я вновь полез в болото, которое казалось

бесконечным. Наконец я до-стиг противоположного берега и почти в изнеможении упал на сухую, усеянную сосновыми иглами землю под огромной развесистой сосной.

— Иоганн, вы умеете лазать по деревьям?

— О, йя, герр барон.

— Тогда полезайте на эту сосну и посмотрите, где железная дорога. Здесь недалеко станция. Вы, наверное, увидите крыши построек.

Послушный немец полез на дерево, но, как ни напрягал зрение, ни дороги, ни крыш, ни большой скалы, стоящей за станцией, не увидел.

— Кругом лес. У нас в Германии таких лесов совсем нет. Надо, герр барон, идти на гросс-штрассе.

— Да, хорошо идти… Но как мы на ваше штрассе выйдем? Нет, лучше будем ночевать здесь, в лесу.

— Шляфен, о нет, тут нельзя — комар съест.

— Не только комар, — сказал я, указывая на сорванную с мясом кору сосны.

Вспомнился рассказ покойного отца. Медведи, идя за самкой, оставляют на деревьях такую метку, стараясь сделать её как можно выше, чтобы отбить у низкорослых соперников охоту идти по следу медведицы.

— Вот метка медведя, вот след его когтей…

Несмотря на страшную усталость, всё моё существо пронизывала великая досада и злоба на то, что я заблудился и не сумел предупредить сына. Воображение рисовало мрачные картины, и я невольно прислушивался, не раздадутся ли звуки выстрелов из Маргаритина… Но был слышен только гул комаров и совиный хохот…

Кто не бывал в девственных уральских лесах, тот не поймёт, так же как не понимал и я, что можно заблудиться в полосе в три версты шириной, да ещё прорезанной двумя линиями железных дорог. Но тот, кто знает леса, эти чертовы городища, сопки да болота, тот не отнесёт мою ошибку к разряду легкомысленных. Нет, без компаса сюда соваться нечего даже опытному лесничему.

Передо мной стоял вопрос уже не о спасении сына, а о том, как выбраться из этого заколдованного леса, как избавиться хотя бы от комаров, от укусов которых и у меня, и у несчастного немца опухли лица…

В мыслях — пусто, и в дополнение ко всему, начала томить ужасная жажда.

Взошла луна, и мы тихо тронулись в путь, сами не зная куда. Шли, отмахиваясь от комаров.

Вдруг Иоганн крикнул радостным голосом:

— Герр барон, штрассе, штрассе!

И мы выходим на шоссе саженях в десяти от верстового столба.

Приглядываюсь к цифре, читаю: «Девятнадцать». Смотрю на часы — половина второго. Итак, я совершенно бесплодно проблуждал целых три с половиной часа. Теперь торопиться нечего. Закуриваю трубку и с удовольствием ложусь прямо на пыльное каменное шоссе. Мокрое платье облегает ноги, ноющие от усталости, комаров почти нет, нет и тревожных мыслей…

— Господи Боже милостивый, — твержу я, глядя в беспредельное тёмное небо, — да будет воля Твоя.

И на меня ниспало такое спокойствие, что, кажется, если бы я увидел не только тигров, львов, медведей, но даже дюжину комиссаров, то не только бы их не испугался, но и не двинулся бы с места.

Однако всё больше хотелось пить, несмотря на лёгкий предутренний ветерок, от которого моим мокрым ногам становилось не на шутку холодно. Делать нечего — надо вставать.

Взяв Иоганна под руку, я двинулся, как автомат, по знакомой дороге. Прошли пять вёрст. Появился мост через Решётку. Было ещё темно. Спустившись к речке, мы жадно припали к воде.

— А вот и моя земля, — указал я Иоганну на жалкие шесть десятин.

Иоганн восхитился моим богатством.

— Помилуйте, — прошептал он, — целых шесть десятин такой земли и такого леса…

* * *

Уже рассвело, когда я подходил к усадьбе Маргаритино, с трепетом думая о судьбе сына.

На застеклённой террасе ещё горел огонь, в окнах торчали незнакомые головы.

Я направился во флигель и залез под полог на кровать сына. Вот где блаженство!.. Неожиданно возле меня очутился мой верный пёс Трамсик, выказывающий визгами и лизанием моего лица свою неподдельную радость и дружбу.

Дверь отворилась и вошла Маргарита Викторовна.

— Владимир Петрович, это вы?

— Я.

— Ну, слава Богу. Я вас увидала, но никто из комиссаров вас не заметил. Сейчас же бегите в лес, а то вас арестуют. Владимир

Михайлович и Володя успели убежать, а Толя и Боря с ними отлично беседуют. Обыск закончился благополучно…

— Ну нет, я никуда не убегу — мочи нет. Пусть лучше арестуют, — не то наяву, не то во сне ответил я. — Принесите, ради Бога, холодного молока…

Выпив залпом два стакана, я залез под одеяло, и приятная дремота охватила моё усталое тело. Ведь, шутка ли сказать, за небольшими отдыхами я пробыл на ногах более двенадцати часов и, значит, сделал от тридцати шести до сорока вёрст по ужасной дороге!

Однако, как ни был я утомлен, всё же сознание близкой опасности гнало сон, и время от времени я высовывал голову из-под полога и через окошко старался рассмотреть, что происходит на террасе.

Дверь отворилась, и вбежала Оля Имшенецкая.

— Слава Богу, всё благополучно: закладывают лошадей. Они всё поджидали вас, но решили, что вы вернулись в город.

Убежала.

На дворе уже светало… Из усадьбы вышли «товарищи» с винтовками. Лениво волоча приклады по земле, они направились к флигелю. Один из них взошёл на крыльцо. Запрыгала щеколда в запоре. Ну, теперь я пропал… Схватил Трамсика за морду, чтобы не смел лаять… Но чудо свершилось! Почему-то дверь, так легко открывающуюся, комиссар не открыл, сойдя ленивой походкой с крылечка и направившись обратно в дом.

Слава Богу!

С комиссарами из усадьбы выехал и дворник Фёдор.

Слава Богу, мы спасены!

* * *

Хозяин заимки, Владимир Михайлович Имшенецкий, был человек практичный, не без хитрецы. Дабы спасти свою заимку, он с ранней весны начал хлопотать в Екатеринбургском, Исетском и Решётском совдепах о разрешении организовать сельскохозяйственную коммуну. После уплаты мзды его хлопоты увенчались успехом… Коммуна была разрешена. В члены была записана вся семья Имшенецких, моя и, для большей демократичности, дворник Фёдор и два плотника. Мы честь честью заказали бланки, печать и выдавали друг другу мандаты на право проезда в город, что тогда было запрещено. Комиссаром расписывался Имшенецкий, а секретарём — я.

Комиссаром села Решёты состоял очень умный,

хозяйственный солдат-мужик и безусловно честный человек. (Был такой случай: Имшенецкий решил сделать ему подарок и преподнёс пятьсот рублей. Он спокойно выслушал и, отказавшись от мзды, предложил ему эти деньги внести в Решётскую коммуну, о чём и выдал квитанцию.) Частенько, почти каждое воскресенье, он приезжал к нам наблюдать за нашими работами и присылал крестьян посмотреть работу огородника-немца и инкубатор, который всех крестьян очень интересовал.

Вот эти-то документы, гласящие о том, что у нас коммуна, и спасли положение, сбив с толку приехавших делать обыск «товарищей»… Выяснилось, что обыск был назначен по доносу плотника Николая. Он совершенно верно указал, что у нас имеются такие запрещённые к владению предметы, как пишущая машинка, револьверы, сёдла, велосипеды и даже мотоциклетка. Имелась и мука в большем, чем полагалось, количестве, и сахар. Было чем поживиться. Но всего за несколько дней до обыска, предчувствуя грозу, наша молодёжь воспользовалась тем, что плотники перепились, сварив себе самогонку. Разобрав в лачужке плотников потолок, юноши положили на чердак мотоциклетку, велосипеды и пишущую машинку.

«Товарищи» приехали поздно ночью, голодные и злые на доносчика Николая, проглядевшего дорогу. Обыск производили тщательно, разбивали даже стены наших антресолей, но ничего не нашли, за исключением сёдел. Зайти же в хибарку плотников не догадались…

Старик Имшенецкий принял «товарищей» за меня и спросил в окно:

— Владимир Петрович, это вы?

— Из штаба Красной армии.

Он тотчас захлопнул окно, быстро оделся и через дверь, ведущую на двор, убежал в лес.

Старший его сын Володя ушёл гулять и, возвращаясь в усадьбу вместе со своим другом Виталием, заметил огонёк дымящейся папиросы дежурившего часового. Догадавшись, что в усадьбе неладно, он ползком вернулся обратно и засел в кустах недалеко от дома.

Гостей принимали Маргарита Викторовна и дочь Имшенецкого, Ольга Владимировна Половникова. Руководство же обыском взяли на себя Боря и Толя. Они имели вполне демократичный вид, только что закончив возиться с электрической машиной, и были настолько грязны, что «товарищи» не решились подать им свои руки.

С каждой неудачей «товарищи» всё больше обрушивались на Николая за ложный донос, грозя расправой. Тот сперва из кожи

лез, указывая на те места, где могли находиться запретные вещи. Но комиссаров ждало разочарование.

Предложенный ужин совсем размягчил комиссаров, и беседа приняла дружеский характер. Они показали свои мандаты — один на обыск, другой на аресты. Толя рассматривал их оружие. Храбрецы удивлялись тому, что мы живём одни в лесу.

Когда же мы показали им бумаги, гласящие о нашей коммуне, — они выразили сожаление, что потревожили нас обыском. Комиссары делились своими наивными мечтами о будущем социалистическом рае, наивно представляя его в виде огромного, побольше агафуровского, магазина, из которого каждый может брать всё, что хочет.

На вопрос Маргариты Викторовны, а кто же будет пополнять убыль в товаре, комиссары самоуверенно отвечали, что для пополнения будут работать фабрики.

— А что же, работать-то фабрики тоже будут даром?

— Нет, за товары они будут получать другие товары.

— Я что-то не пойму. На фабриках, значит, пойдёт обмен товарами? Значит, это будет происходить не даром, а в магазины эти же товары будут поступать даром?

— Нет, не даром, — отвечал товарищ. — Это потребителю будут давать даром, а с фабриками будет через банки расплачиваться правительство.

Дальнейшие расспросы становились опасны, ибо «товарищ» начинал раздражаться.

В результате обыска у нас отняли только одно седло, да и то не даром, как полагалось — «из волшебного магазина», а за деньги, которые тут же были внесены под соответствующую расписку.

В сущности, это были добродушные русские парни, которых так много в рядах нашей армии и которые совмещают в себе и русское добродушие, и невероятную жестокость.

И в руках этих дикарей оказалась судьба русского народа.

Я вылез из моего убежища. Под рассказы очевидцев я с наслаждением попивал чаёк и закусывал остатками ужина.

Долго во всю глотку вызывали мы отсутствующего Владимира Михайловича и Володю. Наконец пришли и они, продрогшие, искусанные комарами.

* * *

Вскоре из города вернулась моя жена и привезла нам новости, от которых холодела душа… […]

А в газетах, привезённых женой, я громко прочёл следующие строки:

«Сегодня ночью, как месть за взятого проклятыми чехами в плен и расстрелянного товарища комиссара Малышева, мы расстреляли из числа заложников двадцать буржуев».

Среди фамилий значилось имя Александра Ивановича Фадеева, великолепного инженера-механика, бывшего управляющего Верх-Исетским округом, инженера-энциклопедиста, великолепно знавшего Урал.

Покойный состоял консультантом нашего банка, был очень хорошим человеком и стоял совершенно в стороне от всякого вмешательства в политику, если не считать его последних выступлений перед комиссариатом просвещения в защиту прав собственности на книги. Миссию он исполнил блестяще. Декрет о сдаче всех книг в общественную библиотеку был отменён.

В этом списке стояли и знакомые мне фамилии секретаря думы Чистосердова, юриста по образованию, и Мокроносова, управляющего Сисердскими заводами.

Волосы встали дыбом. Что теперь делать?

Правда, после произведённого обыска опасность для нас как будто миновала. Но кто поручится, что к нам не пришлют более энергичных «товарищей» с предписанием не обыска, а просто расстрела…

В ЛЕСУ

На семейном совете нами было принято позорное решение: сказав дворне, что мы отправляемся на поиски золота, уйти в лес и там дождаться прихода чехов. Женщин решили оставить в усадьбе. Правда, было решено отойти в лес на расстояние одной или двух вёрст, так чтобы мы всегда могли подать помощь. Но решение было позорное и, пожалуй, глупое. Утешали себя лишь тем, что в случае криков в усадьбе внезапным нападением мы сумеем защитить жён и перебить гораздо больше негодяев. Уж больно мы боялись за сыновей призывного возраста, которых могли обвинить в дезертирстве и расстрелять.

И, собрав котомки с кое-какими пожитками, мы отправились в лес.

Отойдя от города версты на полторы и выбрав место около скалы из валунов, мы разбили в лесу маленькую палатку.

Стоит ли описывать это глупое, трусливое, бесцельное прозябание в диком лесу без возможности развести вечером костёр, чтобы не выдать себя огнём? Не могу до сих пор без досады вспоминать те четыре дня, когда мы с замиранием сердца прислушивались к лаю собак в нашей усадьбе.

Залают собаки — прислушаешься и крадёшься к дому, чтобы взглянуть, не висит ли на перилах балкона условная, о призыве на помощь, простыня или скатерть.

Два раза в день к нам приходили дамы и приносили пищу.

Маргаритино и раньше посещалось белогвардейцами, а последнее время молодёжь начала заезжать чаще, избрав наш хутор базой для нападения на железную дорогу. Таким образом мы держали связь с готовящейся к восстанию белой молодёжью. Из них особой отвагой отличался офицер Юра Мюренберг, убитый впоследствии в войне с красными.

Приезжали и другие офицеры, в большинстве своём выпускники Генштаба. Их приводили к нам на свидание, и здесь на имеющихся у них картах они наносили пункты расположения красных и белых войск.

Кольцо всё сужалось.

В городе говорили, что началась паника: «товарищи» обстоятельно принялись за эвакуацию Екатеринбурга. Сердце радовалось, и как-то не верилось, что настанет момент и мы вновь из звериного состояния вернёмся в людское.

За время пребывания в лесу голова была совершенно пуста. Даже скуки я не испытывал… Обуяла какая-то лень, и настолько, что иногда я переставал отмахиваться от комаров. Не могу

сказать, чтобы время тянулось долго… Вероятно, то же ощущение переживают заключённые в тюрьме.

Но однажды я проснулся от чего-то холодного, мочившего мой бок. Оказывается, шёл дождь и вода просочилась под меня. Подвинувшись в нашем шалаше на более сухое место и подложив под себя какую-то тряпку, я старался заснуть. Но сон бежал, и мысли одна мрачнее другой стали приходить в голову. Мне ясно представлялась неизбежность расстрела — ведь расстреляли же Фадеева, Мокроносова, Чистосердова. Почему же судьба должна оберечь мою персону? Почему же всемогущему Богу угодно карать меня и превращать из полноправного гражданина в двуногого зверя, скрывающегося от людей в лесу? Какое преступление совершил я перед моей Родиной, перед русским народом?

Быть может, задавал я себе вопрос, моя вина заключается в том, что я рождён на свет дворянином? Предположим. Но ведь я ни разу не воспользовался дворянскими привилегиями, не имел ни чинов, ни орденов, ибо не служил на государственной службе. Со студенческой скамьи я поступил на службу в банк, где три месяца работал бесплатно. Затем получил скромное местечко на пятьдесят пять рублей в месяц и более четырёх лет работал по десять-одиннадцать часов в сутки. Не крал, не убивал. Меня оценили, продвинули вперёд и на одиннадцатом году службы назначили управляющим Симбирским отделением нашего банка. Будучи всегда в хороших отношениях со всеми сослуживцами, я был снисходительным началь-ником. За всю мою долгую службу я никого из моих подчинённых не уволил. Всегда со вниманием относился к их нуждам. Но виноват ли я в том, что, делая карьеру, я обогнал своих сослуживцев и заработок мой дошёл до шестидесяти тысяч рублей в год? Ведь, в сущности, и этот служебный успех, и этот огромный заработок до известной степени шли за счёт обездоленных людей. Иначе говоря, я нарушил идею равенства. Но можно ли за это карать? В таком случае и сосна, под которой я лежу, тоже виновата в нарушении равенства, отнимая сок у своих соседей и заглушая всё кругом. Да и возможно ли равенство людей, когда ни в растительном царстве, ни в мире животных его не существует? Наконец, христианство учит нас, что ни единый волос не падёт с головы человека без воли Божьей. Ведь если так, то и инквизиции, и войны, и революции, да и всякое нарушение заповедей Божьих, идут с Его ведома, с Его указаний… […]

В чём же состоят ошибки, приведшие человечество не к всеобщей любви и братству, а к всеобщей ненависти? Как можно объяснить вспыхнувшую между христианскими народами

всемирную войну и ныне начавшуюся революцию, в основе которой лежит зависть к сильным и ненависть пролетариата к капиталистам?

Как можно внушать хищнику: «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? Не лучше ли проповедовать не любовь, а терпимость: «Не пожелай ближнему своему того, чего себе не желаешь»? Не эта ли упрощённая формула лежит в основе ленинского учения о государственном капитализме? Ведь я сам на съезде управляющих горными округами пришёл к заключению, что война настолько разорила и народ, а с ним и банки, что последние не в состоянии прийти на помощь торговле и промышленности. Тогда я предчувствовал наступление хаоса и провал капиталистического строя. Правда, я не мог себе представить, что на смену капиталистического правового строя, основанного на незыблемых началах собственности, придёт коммунизм.

Но вот теперь, когда захват власти коммунистами совершился, когда на их стороне вся масса нашего безграмотного народа, — не пора ли призадуматься над этим? И не саботировать и скрываться в лесах, а прийти к ним на помощь в государственном строительстве? А ведь приглашали, сулили большую карьеру… Спаси же себя и горячо любимую семью от нищеты и, быть может, даже казни!..

В сущности, здесь нет борьбы с капиталом. Наоборот, происходит концентрация капитала в правительственных руках, что во много раз увеличивает его силу и, пожалуй, в данный момент представляет собой единственный выход для разоренного войной государства.

Но концентрация капитала в руках правительства неразрывно связана с другим вопросом. Лишь единый капитал является могучим средством для достижения другой цели — «диктатуры пролетариата». А ведь в огромной своей массе пролетариат не только необразован, но и неграмотен. Он обладает клыками, инстинктами хищников, из-за которых немыслимо разумное и честное управление государственным капиталом. Мне хорошо был знаком круг капиталистов. Любил ли я их или ненавидел? Глядя на их алчность и властность, скорее ненавидел, чем любил. Пролетарий, и каждый в отдельности, и в целом, обладает теми же клыками хищника, что и капиталист. Его стремление к собственности, к богатству отнюдь не меньшее, чем у капиталиста. Последний в своих стремлениях к увеличению богатства руководствуется реальными возможностями, здравым смыслом. У пролетариата действует скорее не разум, а инстинкт. Его требования часто неосуществимы. В своих экономических

забастовках пролетариат не только предъявляет требования, граничащие с абсурдом, но не считается и с тем обстоятельством, что во всякой забастовке сталкиваются интересы труда и капитала, и всего общества, и всего населения страны. Именно третьей стороне придётся расплачиваться, если капиталист вынужден будет пойти на уступки.

Мне возразят, что и капиталист грабит общество. Но капиталист всегда считается с возможностью повышения цен на товары, поскольку возможность эта стоит в прямой зависимости от наличия конкуренции.

Итак, диктатура пролетариата для меня менее приемлема, чем диктатура капиталистов, находящаяся в опытных руках. Потому им и легче управлять страной, так как создание капитала — большая наука, доступная далеко не всякому человеку.

Где же найдёт пролетариат хозяйственных людей, кто его водители? Большинство революционеров пошли по этой дороге, потерпев неудачи в капиталистическом строе. Не хватало выдержки, не хватало умения выйти в люди. И вот теперь большинство этих неудачников стали правителями страны. Недаром же Ленин заявил, что всякая кухарка может управлять страной. Но не лучше ли ломать шапку перед опытным капиталистом, чем перед безграмотной кухаркой? Сейчас начали образовываться в деревнях комитеты бедноты, на которые Ленин делает большую ставку. Из кого же они состоят? Исключительно из лентяев и пьяниц. Эта власть будет похуже ленинской кухарки. Можно ли при таких правителях ожидать успеха в проведении коммунизма, основанного на уничтожении частной собственности, когда эта шпана будет «грабить награбленное» для собственных целей? […]

Царствие земное Ленин строит насильно. Концентрируя капитал в руках правительства, он к огромной силе капитала прибавил ещё и силу оружия. Что же может из этого получиться, как не полное рабство всего населения страны перед правителями, когда невозможна станет борьба труда с капиталом? Всякая забастовка будет подавляться штыками, пулемётами и танками. Настанет ещё худшее рабство, чем было прежде. В прошлом рабы могли перебегать от одного помещика к другому, иногда сторону рабов принимала правительственная власть. А кто заступится за рабов советской России?

Конечно, абсолютной свободы граждан, как это проповедует анархизм, не существует. Нет её и в капиталистическом строе. Но то, чего добивается Ленин, приводит человечество к абсолютному рабству. А труд раба, по его слабой производительности, всегда обходится владельцу дороже вольнонаемного труда.

Эта истина доказана экономистами. Не поведёт ли такое рабство к всеобщему голоду? Россия до сих пор была житницей Европы, однако статистика с ясностью указывает, что вывоз зерна происходил за счёт более высокой культуры помещичьих земель. Теперь их уничтожили. Это, несомненно, поведёт к понижению урожайности, и настолько, что не только прекратится вывоз, но и население городов станет недоедать. А к этому надо добавить огромную армию коммунистов, не творящих ценности, а только их пожирающих. Содержание этих трутней обойдётся во много раз дороже той прирастающей ценности, что шла на удовлетворение аппетитов и помещиков, и капиталистов.

Давал ли казённый капитал когда-либо хорошую прибыль казне? Возьмём для примера казённые железные дороги. Ведь они почти всегда вели правительство к убытку, тогда как частные процветали, и стоимость их акций нередко в пять раз превышала номинал. Разве только одна винная монополия, введённая графом Витте, давала великолепную прибыль. Однако и в этом деле ту же, если не большую прибыль могло получить правительство, если бы взамен монопольной формы остановилось на акцизной системе собирания налогов.

К чему приведёт ленинизм? Основанный на насилии, он неминуемо зальёт весь мир человеческой кровью, усеет свой путь трупами умерших в муках голода людей. […]

Коммунисты желают возложить заботу о воспитании детей на воспитательные дома. Наш государственный воспитательный дом дал невероятную смертность, превышающую шестьдесят процентов. Почему же именно эти учреждения дают такую ужасающую смертность? Только мать, а не рабыня может любовно вынести все муки материнских обязанностей.

Нет, я должен не только саботировать коммунизм, а с оружием в руках, пока ещё не поздно, бороться с ним. И с этими мыслями я обратился к проснувшимся компаньонам по несчастью.

— Господа, вы как хотите, а я твердо решил сегодня же отправиться домой и там совместно с женой решить, что нам делать. Я лично предлагаю идти навстречу Дутову или чехам. Пешком пробраться всегда возможно. А там посмотрим. Хоть простыми солдатами, а постоим за правое дело.

Всем понравилось моё предложение, и мы, собрав нехитрый наш багаж, через какие-нибудь двадцать минут уже были в Маргаритине.

Дамы заявили, что одних нас не пустят. А если мы уйдём воевать, то и они пойдут с нами.

Вопрос сильно осложнился. Особенно затруднительно было

положение Имшенецкого — его старуха жена была без ног. Дочь же Ольга так напугалась прошедшего обыска, что слегла. У неё начались преждевременные роды, и её увезли в город к акушеру. Ребёнок родился мёртвым, и поправлялась Ольга очень медленно. Ещё одна безвинная жертва революции!

Имшенецкий получил письмо от брата, Михаила Михайловича, из Петербурга с сообщением, что Раиса Викторовна, жена брата, повесилась в доме для умалишённых, куда она попала в результате большевицкого режима.

Выдвигалось и ещё два проекта бегства к Дутову. По первому предполагалось на двух телегах совершить путешествие на курорт за Сергиевск-Уфалейским заводом. И оттуда, оставив дам, мужчины должны будут перейти линию фронта. По второму проекту предполагалось выехать в Пермь по железной дороге, а там, купив лодку, спуститься до Казани, которая находилась в руках белых.

Осуществление этих проектов было настолько рискованно, что окончательное решение откладывалось со дня на день.

А пока мы решили дежурить на высокой скале, что отделяла нас от полустанка. Дежурство начиналось в шесть утра и прекращалось в одиннадцать часов вечера. Ночью мы не дежурили потому, что, с одной стороны, приезд комиссаров ночью был маловероятен, а с другой — в темноте со скалы ничего нельзя было увидеть.

Моё дежурство всегда было первым, так как с начала революции я потерял предутренний сон. Продолжалось оно до девяти часов.

Встав с восходом солнца и напившись кофейку, я взбирался на скалу. Со скалы перед глазами расстилалась панорама Уральских гор, покрытых хвойным лесом.

Во время дежурств все мысли вертелись вокруг вопроса: когда же могут прийти чехи? Начинаешь рассчитывать… По последним сведениям, чехи в Кыштыме или на Каслинском заводе. Вёрст остаётся столько-то. Допустим, что чехи проходят не более пятнадцати вёрст в день. Но вот вопрос: как они пойдут — по железной дороге или по шоссе через Сысертский завод, на котором были последние бои? По моим подсчётам, нам осталось мучиться не более восьми — десяти дней. Но продвижение чехов, несмотря на почти полное отсутствие сопротивления со стороны красных войск, шло гораздо медленнее.

По полученным сведениям, красные Екатеринбург решили не защищать, что подтверждалось усиленной эвакуацией, ход которой был виден с моего наблюдательного пункта. Все поезда, наполненные товарами, шли по направлению к Перми, а обратно

они возвращались пустыми и в гораздо меньшем числе. В последние дни я замечал, что в теплушках вывозили реквизированную у «буржуев» мебель, за которой за самоварчиком сидело две-три комиссарских семьи. […]

Когда на скале появлялся Дружок, пёс Имшенецкого, а за ним и грузная фигура самого Владимира Михайловича, дежурившего от девяти до двенадцати, я с удовольствием удалялся со сторожевого поста.

Спали мы почти не раздеваясь. Частенько дежурный, увидав подозрительных лиц, сломя голову летел в усадьбу, и мы в один миг, закинув за плечи заготовленные котомки, с револьверами в руках под насмешливые взгляды прислуги скрывались в лесу. Делали это всегда так скоро, что, думаю, ни один пожарный не одевался так быстро. Последнее время убегала с нами и Маргарита Викторовна. Её «верные» приказчицы, образовав совет рабочих, захватили магазин, писали на неё доносы, и совдеп угрожал крупным штрафом. К счастью, тревоги неизменно оказывались ложными из-за частых наездов белогвардейцев для исполнения того или другого военного задания. […]

Однажды, вернувшись после обычной тревоги и бегства в лес, мы застали у себя двенадцать офицеров, приехавших взорвать наш разъезд Хохотун. Я не выдержал и запротестовал.

— Как, — говорил я, — в благодарность за хлеб-соль Имшенецких вы хотите, чтобы завтра же эта усадьба была сожжена дотла, а нас и наших жён расстреляли? Я не понимаю, кто вами руководит. Приказ взорвать Хохотун бессмыслен. Какова цель взрыва дороги? Прекратить эвакуацию красных? Но ведь этим взрывом вы в то же время затрудните доступ чехам к Екатеринбургу. Если уж взрывать, так за линией пересечения Пермской дороги и дороги Лысьва Бердяуш, по которой двигаются чехи. Но раз у вас есть такое приказание, то рвите полотно вёрст на десять дальше от нас, дабы спасти Маргаритино. И со стороны большевиков будет меньше шансов на возмездие.

Мои слова на этот раз подействовали. Сын решил идти с офицерами. Жена настаивала, чтобы я его не пускал, но исполнить её просьбу я не мог, хорошо понимая настроение юноши, и просил его лишь не очень бравировать.

Оказалось, что у приехавших не было с собой не только пироксилиновых шашек, но даже ключа для разборки рельсов и маленького лома. Всё, что привезли с собой эти молодцы, — это разрывные гранаты. Ночью руководимая Володей Имшенецким компания двинулась в путь через болото.

Я пошёл к себе на чердак и долго не мог заснуть, волнуемый

предстоящим взрывом. Спустя два часа послышался свисток прибывшего на нашу станцию поезда.

Кто едет с этим обречённым на крушение поездом? Может быть, далеко не все пассажиры — «товарищи». Явственно слышен свисток локомотива, и поезд, громыхая и позвякивая железом, медленно ползёт на подъём, ведущий к станции Хрустальная. Схватив часы, я зажёг свечку и начал следить за бесконечно долго ползущей стрелкой. Прошли мучительные десять-пятнадцать минут, шум поезда давно прекратился, а взрыв не раздался. Вдруг издалека раздаётся шум возвращающегося поезда и неистовая ругань и крики. Оказывается, поезд разорвался надвое, и задние вагоны скатились обратно на станцию, где и остановились, не разбившись… […]

За эти дни сообщение с городом было почти прервано, никто из нас не решался туда ехать. Провизию же доставлял молодой чех, служивший у Имшенецкого и охранявший его городской дом. Изредка приезжал его родственник Ковылин навещать своего сына-студента, жившего у нас.

Однажды в город поехал старший сын Имшенецкого, Володя, чтобы достать оружие… Мы ждали его возвращения с интересом и большим волнением.

Приехав на другой день, он сообщил нам потрясающую новость — Государь казнён. Об этом вчера под гром аплодисментов возвестил на митинге в театре Голощёкин.

Итак, Государь казнён без суда по воле Екатеринбургского совдепа. Даже казнить «бывшего тирана», как они называли его, и то не сумели! Не сумели придать его казни то торжественное значение, которым сопровождалась казнь французского Людовика и английской Елизаветы. Боже, как это ужасно, какая бесславная смерть! Но хорошо же офицерство нашей академии: не сумело похитить Императора! Ведь их около восьмисот человек. Допустили казнь почти накануне прихода чехов. […]

Володя, помимо этих потрясающих новостей, рассказал нам, что в городе паника, все бегут по железной дороге и по шоссе. По дороге в Маргаритино он встретил Юровского на автомобиле. Подтвердил и слухи о разбое каких-то трёх братьев с Верх-Исетского завода. На шоссе находили много убитых ими людей.

Слухи о приближении чехов подтверждались. Говорили, что дня через три они будут в Екатеринбурге.

* * *

В эти дни явилась к нам партия крестьян и подрядилась

косить луга. Началась настоящая деревенская страда. Во мне, как и в Имшенецком, заговорило чувство хозяина, и настолько сильно, что как-то сами собою отменились дежурства на скале.

А грозная туча всё ближе надвигалась на наши головы. Десятого июля по старому стилю к нам прискакал наш приятель решётский комиссар и сообщил, что недалеко от Решёт прошла сотня казаков. Имшенецкий предложил ему остаться у нас и заключил с ним договор, по коему тот обязывался охранять нас от красных, а мы его от белых.

К вечеру в усадьбу явилась депутация от станционных служащих с просьбой приютить на эти дни своих баб и детей. Все они боялись, что последние поезда с красными войсками захватят баб с собой, как это делалось на последних станциях.

— А если наши семьи будут в безопасности, так мы и сами скроемся в лесах, а если и это не удастся, то соскочим с поезда на первой остановке и прибежим в Маргаритино.

— Смотрите, — говорил я, — охраняйте дорогу, ведущую в Маргаритино. Напугайте комиссаров большой засадой белых, а главное, дайте нам знать. Тогда мы вместе с вашими семьями углубимся в лес.

— Что же, уж так охранять будем, что лучше и не надо.

К вечеру Маргаритино наполнилось плачущими и воющими от страха бабами и детьми. Одна баба-сторожиха выкинула, и наши дамы всю ночь возились с ней.

То и дело со станции прибегали посланцы с известиями о том, что за станцией Хрустальная идут бои. Однако выстрелов слышно не было: расстояние от нас было порядочное — не менее тридцати вёрст.

ОЛЬГИН ДЕНЬ

Наконец настало одиннадцатое июля, на которое приходится Ольгин день.

Встал я, по обыкновению, очень рано и, справившись первым делом у железнодорожников, где идут бои, узнал, что Хрустальная ещё в руках красных.

Утро было чудное. Я стал на своём лугу, поточил косу и с восторгом начал косить сочную, в пояс ростом, густую, стоявшую щетиной траву.

Кто сам не косил, тот не может понять то чувство, которое испытывает косец на своей собственной лужайке! Каждый шаг вперёд не утомляет, а подбадривает, азартит. Сколько поэзии, сколько музыки в звеняще-шипящем звуке косы! Джиг, джиг — и ряд за рядом падает, ложась ровными грядами, трава.

Всё больше врезаюсь узкой дорожкой в травяную стену. Но вот кончил ряд, пот заливает лицо и шею. Обтираешь пучком сена косу, правишь её бруском и снова встаёшь на работу. Вновь быстро врезаешься в щетинистую траву, расширяя узкий коридорчик сперва в улицу, а затем в целую площадку… Так и не заметил, как подошёл Иоганн, ведя под уздцы похудевшую на подножном корму Полканку.

Едва мы принялись за метание стога, как начал накрапывать дождик. Дождь шёл при солнце, даря надежду, что скоро погода восстановится. Всё же убирать сено было нельзя, да и коса моя расшаталась и требовала небольшого ремонта. Решил возвратиться домой.

Иоганн сел верхом на лошадь, держа грабли в руках, как пику, и поехал впереди, я же с косой на плече следовал за ним. Пересекая рельсы, я заметил стоящий у полустанка поезд. Я так увлёкся работой, что и не заметил, как он подошёл.

Минут через десять, уже помывшись, я сидел на террасе в ожидании кофе, которым обещала меня угостить именинница Ольга Владимировна. Вышел и сам хозяин. По случаю дня именин дочери Владимир Михайлович разоделся, как никогда, — в красную вышитую рубаху и бархатные шаровары.

По мосту, перекинутому через речонку Северку, я увидел, как идут два «товарища» с винтовками в руках. Матросская форма не оставляла сомнения в том, что это ультракоммунисты.

Сердце моё заныло. Матросы подошли ко мне и спросили, что это за заимка. Я объяснил им, что это сельскохозяйственная коммуна.

Они с недоверием посмотрели на меня.

Завидев «товарищей», Имшенецкий вместе со своим зятем Половиковым схватили грабли и для большей убедительности начали сгребать сено на ближайшей лужайке. Парадные костюмы обоих так не гармонировали с положением коммунара-работника, что мне хотелось послать их к чёрту.

— А это что у вас здесь строят? — спросили «товарищи».

— Сами видите — избу.

— А там что за народ?

— А крестьяне-косцы убирают сено.

Оба прошли дальше по направлению к строившемуся дому.

Я со страхом подумал, что будет дальше. «Товарищи» остановились около постройки и начали о чём-то расспрашивать плотников. Вдруг я увидел, как из дома вышел глухой плотник Николай и «товарищи», толкая его в шею, велят ему идти к нашему дому. Не дойдя до дома, Николай вырвался, бросился ко мне и начал просить спасти его.

— Идём, идём! — закричали матросы.

— Куда вы его, за что?

— Недалече, шагов на сто, дальше не отведём.

— Да за что же?

— Сам знает за что, а тебе какое дело? Ты кто таков?

— Я прежде всего человек и намного старше вас и нахожу по меньшей мере странным, что вы «товарищи» и так относитесь к человеку труда. Это наш полунормальный глухонемой плотник, контуженный на войне. Чем он мог оскорбить вас? Скажите, в чём дело?

— Тебя не спрашивают, так и помалкивай, а то и тебя отведём.

— Не ходи, Николай, — сказал я твёрдым голосом, опустив руку в карман и ощупывая браунинг.

«Товарищи» смягчились или струсили, уже не настаивая на выдаче Николая. Один из них присел на скамейку, сильно развалившись, другой, став спиной ко мне и поставив ногу на скамью, стал разматывать портянку.

Момент настал подходящий. «Сейчас или никогда, — шептал мне какой-то голос, — подойди и всади пулю в сидящего, а затем в хромого».

Но в это время сидящий заговорил:

— Ну ладно, пусть остаётся.

И они стали собираться. Но вдруг, заметив провода, проведённые из дома к электрической машине, остановились.

— Да у вас здесь беспроволочный телеграф!

— Какой же беспроволочный, когда это провода для освещения.

— Знаем мы это освещение, это вы белым телеграфируете. Мы вернёмся и приведём товарищей. Нас здесь четыреста человек на станции. Живо обыщем и, если кто из вас уйдёт, всех расстреляем, а хутор сожжём.

Едва они скрылись, как я начал кричать и махать бутафорскому рабочему в красной шёлковой рубашке. Имшенецкий быстро прибежал.

— Владимир Михайлович, настал решающий момент — или вступить в бой, или бежать.

— Но как же быть с женой? Она не побежит. Да и нас-то всего пять человек. Что мы можем сделать? Нет, я остаюсь.

Володя Имшенецкий бросил свой кольт в клевер, за ним полетел и револьвер Владимира Михайловича.

Я тоже было направился к клеверу, но перерешил. Нет, живым без боя в руки не дамся.

— Маруся, — позвал я.

Но она уже с дочерью шла ко мне.

— Сейчас же вместе с Наташей и Толей бегите в лес.

— А ты?

— Я остаюсь.

— Тогда и мы остаёмся.

— Я приказываю вам.

— Мы без тебя не уйдём. Бежим с нами.

Что было делать? Тяжело было бросать Имшенецких, но было ясно, что они сопротивляться не будут, а, стало быть, я им пользы принести не могу.

И мы все чуть не рысью пустились в лес. […] Инстинктивно мы бежали всё в том же направлении, где скрывались раньше. Тут вспомнил я о присутствии пяти офицеров и командировал к ним Борю и Толю, дабы просить их присоединиться к нам, если на Маргаритино будет совершено нападение. Ведь нас девять мужчин, из коих пять вооружены винтовками, а четверо браунингами. Этого уже достаточно, чтобы внезапным нападением разбить комиссаров. Но наши гонцы пришли с позорным ответом, что они к нам не присоединятся и просят не подходить к ним, так как мы идём с дамами.

Мы прошли мимо них и, перебравшись через большую болотную прогалину, достигли густого молодого сосняка. Если удастся пробраться этой чащобой сажен на двадцать, то мы станем невидимы и все следы пропадут. Выбрав подходящее место, мы остановились, напряжённо слушая, не долетят ли до нас выстрелы из Маргаритина.

А лес таинственно, почти бесшумно шелестел своими ветвями. Какое дело этим гигантам соснам и чащобам до жалких

людишек, так бесцеремонно нарушающих их вековечный покой?!

Просидели мы более часа. Имшенецкие решили пойти на разведку.

Минут через двадцать вернулся Боря и сказал, что можно возвращаться, «товарищи» ушли.

Перебивая друг друга, взволнованные от только что пережитых событий, Имшенецкие рассказали нам следующее:

— Едва вы успели скрыться в лесу, как на мосту появились пятнадцать «товарищей», предводимых юным комиссаром-евреем. Шли они с ружьями наперевес. Подойдя к усадьбе, комиссар приказал привести дерзкого плотника Николая. Бедный Николай сперва хотел спрятаться в выгребной яме, но затем совсем обмяк и, видимо, примирился со своей горькой участью. Ко времени вторичного прихода красных он смиренно работал на моей постройке. За ним побежали. Он шёл к «товарищам» медленной, расслабленной походкой.

— Становись к дереву, — крикнул комиссар.

Николай спокойно стал спиной к сосне.

— Говори, — вскричал еврей, — что ты спросил у наших товарищей, когда они подошли к тебе?

— Что греха таить, виноват, — тихо ответил Николай. — Я спросил их, кто они — белые али красные?

— А что они тебе сказали?

— Сказали, что белые.

— А ты?

— Сказал, хорошо, что вы белые, а то бы я вам этим топором головы отсёк.

— А кто тебя научил так говорить? Твой хозяин, да?

— Нет, хозяин не учил.

— Кто же тебя учил? Может, тот старик, что здесь сидел?

— Нет, он ничему не учил. А только так кругом все мужики говорят.

— А, вот как? Готовься, — скомандовал комиссар, и все направили на несчастного Николая свои винтовки.

Но тут вмешалась Маргарита Викторовна:

— Товарищи, повремените! Вам даст объяснение наш комиссар.

— Да, товарищи, я тоже комиссар местной коммуны, назначенный совдепом. Вот, читайте документы, — протягивая целых три удостоверения местных совдепов, сказал Имшенецкий.

Комиссар остановил солдат.

— Какая коммуна, какой комиссар? — вопрошал он.

— Вы читайте. — И Владимир Михайлович передал ему бумаги.

— Товарищи, вы, верно, устали и голодны. Не хотите ли напиться молочка? — говорила Маргарита Викторовна, таща краюху хлеба и молоко.

«Товарищи» солдаты пошли на речку и стали мыть руки.

— Ну, казалось бы, вы комиссар — и допускаете работать у себя такого белогвардейца?

— Какой же Николай белогвардеец? Он просто или ослышался, или от страха. Я уверен, что, если бы матросы сказали ему, что они красные, а не белые, он ответил бы: «Хорошо, что вы красные, а то я вам голову срубил бы». Вот и всё.

Этот довод показался вполне убедительным комиссару-еврею, и тот отпустил несчастного Николая со словами:

— Ну, иди. Но помни, что так говорить нельзя.

Однако «товарищам» не удалось попить молочка. Едва они расселись, как с другого берега речонки послышался голос:

— Товарищи, скорей на станцию! Идут чехи! Скорее, скорее, а то не успеем.

Но торопить их не приходилось. Храбрые вояки в смятении чуть не забыли свои винтовки и, едва подхватив их, опрометью бросились на станцию.

В это время другой плотник побежал за нашим приятелем комиссаром в село Решёты. Комиссар живо сел на коня и поскакал к нам. Не доезжая нескольких сажен до Маргаритина, он встретил бегущих к станции «товарищей». Они едва не приняли его за казака, но, узнав, кто он, взяли с собой. А на станции, по рассказам её начальника, происходило следующее.

С поездом с Хрустальной, что стоял у станции, прибыло человек шестьдесят «товарищей». Они заняли станцию, пригрозив всем служащим, что в случае непослушания расстреляют. Кто-то увидел меня и Иоганна, пересекавших железнодорожный путь. Иоганн, бывший верхом да с граблями, был принят за казака. Не поверив объяснениям начальника станции, «товарищи» послали двух матросов вслед за мной на разведку.

Когда матросы вернулись и рассказали о беспроволочном телеграфе да ещё о плотнике, хотевшем срубить им головы, было тотчас же решено всех в усадьбе перебить, а само «гнездо белогвардейцев» сжечь дотла.

— Да, Владимир Михайлович, — прибавил начальник станции, — подрожали мы за вас и за наших жён и детей! Вся станция замерла. Все слушали, когда раздадутся выстрелы. Ну да помиловал Бог.

Едва мы успели успокоиться и сесть за ранний именинный обед, как наш слух уловил какие-то таинственные звуки, идущие от железной дороги.

В это время с противоположной стороны леса мимо нашего балкона проходил какой-то молодой человек, одетый по-городскому и в котелке.

Удивлённые видом фигуры джентльмена среди лесной глуши, мы повскакивали с мест и вступили в разговор. Джентльмен оказался железнодорожным техником со стан-ции Хрустальная, бежавшим от большевиков в самом начале боя.

— Как удалось мне уйти, сам не знаю. Я вышел со станции медленным шагом и скрылся в лесу на глазах у всех, несмотря на запрещение уходить.

Пока мы вели с ним беседу, шум со стороны дороги усилился: что-то шипело, что-то позвякивало. Мы все бросились на крышу маргаритинского дома и — о радость! — увидали медленно, почти без шума идущие поезда. Они шли друг за другом в интервале не более пятнадцати-двадцати сажен. Мы бегом бросились по направлению к станции. Но я остановил компанию, предложив пробираться лесом врассыпную, прячась за кусты. А вдруг это не чехи и мы попадём в лапы отходящих красных? Все последовали моему совету и почти ползком начали продвигаться к полотну железной дороги. На вагонах мы ясно разглядели бело-зелёные маленькие флажки. Красного, ненавистного нам флага, нигде не было. Слава Богу, это чехи!

— Выходите все на дорогу, машите платками, — скомандовал я.

Дамы и молодёжь бросились собирать цветы.

Маргарита Викторовна передала букет стоявшему у паровоза остановившегося поезда чешскому солдату, но тот вежливо отклонил его, сказав, что благодарить надо начальника — капитана Войцеховского. Нас провели к нему. Моложавый капитан вышел из вагона и принял букет под наши дружные аплодисменты и крики «ура!».

Имшенецкий и я тут же представили капитану решётского комиссара, прося о его помиловании и рекомендовав как хорошо знающего местность проводника. Встретив бегущих от нас красных, он попал к ним в лапы, присутствовал на их последнем митинге и проводил до самого исетского моста, чтобы указать, где лучше устроить засаду и положить мину.

Войцеховский тут же сел на коня и в сопровождении нашего комиссара и нескольких всадников отправился на разведку.

Мы тем временем вошли в вагоны и радостно беседовали с чешскими солдатами, среди которых много оказалось русских, и между ними — бывший начальник Екатеринбургского сыскного отделения. Все чехи, рассказывая о своих по-бедах, с особым увлечением восхваляли достоинства капитана Войцеховского.

— Екатеринбург ваш возьмём завтра. Раз сказал так Войцеховский, так и будет. Сказал, что утром, — значит, утром…

Вдруг наши разговоры были прерваны чудными звуками великолепного военного оркестра, расположившегося на лесной лужайке. Оркестр играл вальс, и мощные звуки улетали вдаль, разбиваясь об уральские скалы.

Контраст с лесной тишиной был так велик, что мои натянутые нервы не выдержали. Все душевные струны напряглись во мне, и радостные слезы потекли из глаз. И я не стыдился и не прятал их как признак слабости от моих собеседников, а губы мои невольно шептали: «Велик Господь, и пути Его неисповедимы».

Я тут же решил вступить в число бойцов эшелона и отправился к Войцеховскому просить принять меня рядовым.

— С удовольствием исполню вашу просьбу, но должен сказать, что я нуждаюсь больше в оружии, чем в бойцах.

Узнав о моем намерении, жена заявила, что если я еду с чехами, то и она с детьми поедет со мной. Положение осложнялось, и я просил Войцеховского о разрешении ехать с эшелоном жене и дочери, а также принять в число бойцов сына и Борю Имшенецкого.

— Ну что же… Место есть, поезжайте. Но должен предупредить, что я ожидаю перед Екатеринбургом бой, за последствия которого ручаться не могу.

После весёлого ужина с пришедшими в усадьбу чехами, во время которого произносились горячие тосты и было выпито всё имевшееся в Маргаритине вино, мы пошли домой и, наскоро связав в узлы наиболее нужное, перебрались в один из вагонов эшелона, вёзшего два тяжёлых орудия.

Около часу ночи поезд тихо тронулся. Почти все солдаты в нашей теплушке спали мирным сном, а мы неподвижно сидели вокруг стола и говорили шёпотом, чтобы не нарушить сна бойцов. Что ожидает их завтра?

Поезд плёлся невероятно тихо, местами останавливаясь.

Но вот и Палкинский разъезд и мост через Исеть.

Не знаю, нашли ли там мины или они не были заложены вовсе, но засаду устроить, конечно, могли. И я с жутким чувством всматривался в лес, окружавший линию. А ну как из этой лощины грянут выстрелы?..

Наконец поезд совсем остановился. Стало светать. Дежурный чех обходил вагоны и, делая перекличку, отдавал какие-то распоряжения на чешском языке. Солдаты нашего вагона зашевелились и, одевшись, стали разбирать оружие. Было свежо и так хотелось попить чайку… Однако нечем было подкрепиться бойцам перед боем.

Кто-то из них вернулся в вагон и что-то передал товарищам. Те, видимо, взволновались и стали быстро выпрыгивать из вагона. Я обратился к оставшемуся дежурному по вагону чеху и узнал от него, что мы окружены красными…

А вокруг поезда шла очень нервная работа. Одни выводили из вагонов лошадей и поили их у колодца, другие выгружали две огромные пушки. Всё делалось совершенно бесшумно, как бы по заученному. Команд слышно не было. Запрягли в одно орудие цугом шестёрку лошадей и под прикрытием горсточки пехоты двинулись на ближайший холм.

Я вышел из вагона и с моими мальчуганами пошёл к орудиям. Но нас окликнули чехи и, указывая на вагоны, приказали сесть в теплушку.

В чём дело? Оказывается, было приказание поездам отойти назад, дабы выйти из возможного окружения.

Для охраны часть чехов вернулась в вагоны, и тихо, без всяких свистков поезд двинулся задним ходом. Стало жутко. В каждом поезде, считая безоружных, не более двадцати солдат. С другой стороны, было досадно, что не удалось посмотреть бой и принять в нём участие.

А поезда всё отходили. За окном пошли знакомые места: наш разъезд Хохотун, место, где мы садились в поезд… Не хотелось возвращаться домой, таща на себе тяжёлые узлы.

— Спали бы себе спокойно, — ворчал я, — а то только зря переволновались.

— Зато полны новых впечатлений, — говорила Наташа.

К усадьбе подошли часа в четыре утра. Было уже совсем светло. Молодёжь поставила самовар, и мы с наслаждением напились чайку и отправились на свои антресоли спать.

На кровати моей жены спал сном праведника решётский комиссар. Жена вознегодовала. Боря Имшенецкий разбудил комиссара.

Я предложил комиссару чаю. Выпив стакан и счастливый тем, что остался цел, он сел на коня и поскакал к молодой жене, повенчанной с ним всего месяц назад.

Но не ушёл комиссар от злого рока… Дня через два, уже будучи в Екатеринбурге, мы узнали, что его мёртвое тело было привезено верной лошадкой на екатеринбургский базар. Голова оказалась простреленной с затылка. Карманы вывернуты, сапоги сняты, масло и сметану, что он вёз с собой, тоже украли.

Помимо этой жертвы, нашлась и другая. В Ольгин день Имшенецкие ждали прихода из города своего чеха с кое-какой провизией. Но чех не пришёл…

Приехав в город, Владимир Михайлович узнал, что он,

закупив провизию рано утром, вышел в Маргаритино пешком. Начали разыскивать и дня через три нашли его разлагавшееся тело в кустах, верстах в трёх от Маргаритина.

* * *

Было совсем светло, когда, лежа в кровати, я услышал первый выстрел тяжелого орудия…

Бум! — прогремело в лесу, как будто в двух верстах от нас. Окна зазвенели. Бум… трах, трах… — послышались более отдаленные ответные выстрелы красной лёгкой артиллерии.

Я задремал под звуки этих отдалённых выстрелов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Всё следующее утро пришлось просидеть на станции. Как ни близок был вокзал, а поспеть к приходу поезда было трудно, так как поезда шли без всяких расписаний.

В одном из военных эшелонов около пяти часов вечера нам удалось двинуться к Екатеринбургу.

На разъезде Палкино, что в шести верстах от города, столпилось много рабочих Верх-Исетского завода.

Едва поезд остановился, как из соседнего вагона послышался голос чешского солдата:

— А, здорово, приятель! Вот где довелось встретиться. Поди, поди сюда…

Но вместо того чтобы подойти к поезду, один из стоявших стал пятиться назад, стараясь спрятаться в толпу.

— Нет, шалишь, не уйдёшь! — закричал чех и, соскочив на платформу, быстро сгрёб в охапку рябого коренастого парня.

— Сразу узнал я тебя, голубчик! Садись в вагон, я покажу тебе, как с красными против нас воевать! — И чех втолкнул несчастного парня в пустую теплушку и закрыл за ним дверь.

— За что его? — поинтересовался я.

— Как — за что? Он против нас на последней станции дрался. А теперь, вишь, мирным рабочим прикинулся.

— Что же с ним будет?

— Конечно, выведем в расход.

Сказано было так просто, как будто и злобы не было.

И странное дело — я, бывший всегда против смертной казни, нисколько не содрогнулся, нисколько не задумался. Тогда всё это казалось столь естественно и необходимо…

Пройдя ещё версты четыре, поезд остановился, и нам заявили, что дальше он не пойдёт. Пришлось добрых полторы версты идти к вокзалу с тяжёлой поклажей по рельсовым путям, неоднократно подлезая под вагоны, чтобы перейти на крайний путь.

Больших разрушений от артиллерийского огня заметно не было. Бросился в глаза лишь один исковерканный тендер и два разрушенных вагона. Вокзал почти не пострадал, если не считать небольшого количества следов от пуль на кирпичных стенах. Весь вид его сильно изменился, он скорее напоминал военную казарму, чем вокзал. И на перроне, и в залах виднелись лишь чешские солдаты. Исключение составляли две-три гимназистки, весело смеявшиеся среди окружавших их солдат. Извозчиков не оказалось, и нам вновь пришлось с нашими чемоданами,

картонками и портпледами плестись пешком по городу.

Несмотря на тяжёлую ношу и слишком медленное продвижение, на душе было весело и светло. Казалось, что моё чувство разделялось массой публики, как снующей по улицам, так и сидящей на завалинках у пригородных хибарок.

Вот и наш дом. Как хотелось скорее узнать, жива ли бабушка, цело ли наше имущество!..

Наконец мы дома… Всё благополучно. Толя и Боря Имшенецкие тотчас же побежали разыскивать коменданта, дабы за-писаться в армию. Жена пробовала их отговаривать, но я знал, что это бесполезно. Будь я помоложе, сам бы взялся за ружьё — так хотелось скорее сбросить ненавистных коммунистов, так верилось в скорое избавление России от большевицкого ига.

Наши юноши вернулись поздно вечером в диком восторге. Их лица раскраснелись, глаза горели…

— Нас приняли и назначили в службу связи. С завтрашнего дня начнём дежурить в гараже, и в нашем распоряжении будет мотоциклетка, — отрапортовал мой Анатолий.

Зная его любовь к машинам, я радовался, что он попал именно в эту часть.

Со слов юношей оказалось, что и здесь людей больше, чем оружия, поэтому их и назначили на эту нестроевую должность.

На другой день к девяти часам утра я уже был в вестибюле Коммерческого собрания, где разместилась комендатура города, и ожидал приёма коменданта. Весь вестибюль был заполнен военными и барышнями; встречались и солидные штатские. Последние были мне знакомы, военную же молодёжь я совсем не знал. Большинство военных не были екатеринбуржцами, а прибыли в город вместе с чешскими войсками.

Настроение в первые дни было настолько радостное, что часто можно было наблюдать и на улице, и в общественных местах, как люди, здороваясь, целовались, поздравляя друг друга с великим праздником освобождения от тяжёлого ига большевиков. Радость отдалённо напоминала светлый праздник Пасхи.

Тут же я узнал о подробностях взятия Екатеринбурга.

Красные покинули город ещё вечером одиннадцатого июля по старому стилю и сосредоточились около станции Екатеринбург-Второй.

Перед уходом большевиков решено было «хлопнуть дверью», т. е. разграбить город. Со стороны анархистов, во главе которых стоял Жебунёв, последовал сильный протест. Жебунёв заявил, что если начнётся грабёж и насилие, то анархисты ударят в тыл красным.

Как только «товарищи» покинули город, группа офицеров, человек тридцать, под командой прапорщика Зотова захватила со склада винтовки и, направившись к тюрьме, выпустила оттуда политических заключённых. Вместе они двинулись по Московскому тракту навстречу продвигавшимся к городу казакам, против которых красные устроили на шоссе засаду с пулемётом.

Подойдя с тыла к этой горсточке «защитников» Екатеринбурга и сказав им, что их прислали в подкрепление, Зотов и студент-матрос Чернобровин, завладев пулемётом, скомандовали: «Руки вверх!» Захватив красных в плен, тотчас же отослали под конвоем в город и заключили в тюрьму.

Казаки подходили осторожно, не веря в то, что перед ними отряд белого офицерства, а не красные… Наконец поверили и вместе вступили без боя в город. Лишь пройдя его весь, в кварталах, прилегающих к Екатеринбургу-Второму, вступили в перестрелку с красными, отходившими через Шарташ к Тагилу и Тюмени.

Сам же вокзал был взят чехами после небольшой перестрелки почти без сопротивления. Был убит один казак и ранено двое чехов.

Имя Зотова передавалось из уст в уста как героя дня.

После долгих ожиданий чешский комендант принял меня и на мои вопросы дал лаконичные, мало удовлетворившие меня ответы. Из его слов я узнал, что чехи не намерены оказывать давление на власть, которая здесь образуется. Больше всего их командование симпатизирует комитету, образовавшемуся в Самаре из группы членов Учредительного Собрания.

Город, по словам коменданта, пока управляется военной комендатурой, которая делится на чешскую и русскую. Сам же город разделён на одиннадцать участков, и по всем вопросам гражданского характера следует обращаться к участковому коменданту.

— Позвольте, какое отношение комендант моего участка имеет к денационализации банков? Нужна какая-нибудь единая власть, к которой мы должны обращаться по всем гражданским вопросам.

Комендант ничего не сумел ответить, и я вышел от него в несколько подавленном состоянии духа. «Конечно, прежде всего, — думалось мне, — надо сейчас же собрать городскую думу прежнего, дореволюционного состава и вручить ей всю власть».

Мне пояснили, что тут же находится и русский комендант. К нему я и решил обратиться.

Русский комендант — кажется, капитан, слушатель

академии, — не был мне знаком, но знал меня, а потому был много вежливее чеха. В сущности, он ничего не прибавил к предыдущим разъяснениям, если не считать сетований на неразбериху, которая происходит из-за двойного командования. Он посоветовал обратиться к командующему русскими войсками полковнику Шереховскому, штаб коего помещался в Первой женской гимназии.

Мой разговор с Шереховским всё время прерывался входящими офицерами, и я был поражён их оборванным видом и вольностью обращения. В общем, они нисколько не отличались от «товарищеских» войск.

Одному из офицеров даже этот терпеливый комендант, не удержавшись сделал замечание:

— Как вы стоите?!

— А что? — спросил офицер, обеими руками опиравшийся на письменный стол коменданта и очень неохотно их убравший.

На главный интересовавший меня вопрос — о судьбе великих князей, находившихся в Алапаевске, — офицер никакого ответа не дал.

В вестибюле Первой гимназии, куда я отправился, было ещё оживлённее, чем в Коммерческом собрании. Здесь я встретил многих своих знакомых, бывших влиятельных граждан Екатеринбурга, ожидавших приёма. Немало было русской военной молодёжи, гимназисток, подруг Наташи, и несколько знакомых дам.

Эти дамы в одном из классов устроили чайную, в которой всё офицерство получало даром чай и незатейливый обед.

Шереховской был со мной мил и любезен. Однако на первый заданный мной вопрос о судьбе великих князей он не смог дать мне никакого ответа. Алапаевск ещё находился в руках красных. О Государе Шереховской сказал, что тот, по-видимому, казнён, и есть основание думать, что погибла и вся Царская семья.

Шереховской поставил меня в известность, что захватным порядком образовалось местное правительство из второстепенных деятелей, в большинстве — эсеров. Но с этой властью никто не считается, и, по всем вероятиям, придётся временно сосредоточить эту власть в руках военного коман-дования. Шереховской хлопочет о составлении особого совещательного органа, который бы помогал ему в решении гражданских вопросов.

Я вполне успокоился и согласился с Шереховским, лишь высказав пожелание скорее решить этот вопрос. Успокоенный его заверениями по поводу твёрдости положения Екатеринбурга и в том, что о возврате красных не может быть и речи, прямо от

Шереховского направился на заседание Культурно-экономического общества.

НОВОЕ О ТЕРРОРЕ

Заседание под председательством Петра Феофановича Давыдова было малочисленно. Многие члены совета, скрываясь в лесах, ещё не успели приехать в город, а некоторые, как потом выяснилось, были расстреляны.

Но это заседание осталось в моей памяти по рассказам о пережитых днях большевицкого террора.

Выяснилось, каким тяжёлым было положение представителей буржуазии и интеллигенции, заключённых в тюрьму.

На строгость режима они не жаловались, им разрешали прогуливаться по двору и получать обеды из дома. Но ночи были кошмарны. По ночам, умышленно сильно гремя ключами, появлялся главный тюремный комиссар. Обойдя камеры, он вызывал, а затем выводил из тюрьмы для расстрела кого-нибудь из заключённых. Иногда вызывались отдельные лица, иногда целые группы. Особенно кошмарной была ночь, когда вызвали двадцать «буржуев», среди которых оказались Фадеев и Мокроносов. Из этих двадцати человек чудом спасся лишь Чистосердов, со слов которого нам и стало об этом известно.

Их вывели из камеры, посадили на грузовые автомобили и под сильным конвоем повезли по Тюменскому шоссе. За дачами Агафурова автомобили остановились, и арестантам было приказано выйти в поле. Все они сознавали, что их ведут на расстрел. Настроение было безразличное и подавленное. Многие плакали, другие угрюмо молчали. Их пытались поставить в шеренгу, но они постоянно сбивались в кучу, стараясь прикрыться телами товарищей по несчастью. Никто не знал причины расстрела, суда не было, и даже заоч-ного приговора о расстреле не прочли. Многие из обречённых что-то выкрикивали, прося о пощаде.

Комиссар и солдаты были растеряны и недостаточно энергичны. Это был первый массовый расстрел в Екатеринбурге.

Чистосердов рассказывал:

— Я стоял с самого краю, и в тот момент, когда послышалась команда, мы вновь из шеренги сбились в кучу. Я почувствовал, что какая-то внутренняя сила толкнула меня в сторону, и мои ноги, до сих пор парализованные страхом, вдруг сами побежали, унося мое тело от места смерти.

Мне чудилась погоня, я слышал близкие беспорядочные выстрелы, отчаянные крики, но сильные ноги уносили меня в глубь леса. Ветки больно хлестали по лицу. Зацепившись за что-то ногами, я со всего размаху упал в яму и потерял сознание.

Сколько я лежал — не знаю, но, убедившись в наступившей тишине, что погони нет, я встал и, осторожно ступая, опасаясь каждого хруста ветки, стал всё глубже удаляться в лес. С каждым шагом надежда на спасение и великая радость всё более проникали в мою душу.

* * *

Большая часть заключённых в тюрьме была послана на фронт рыть окопы. Среди них оказались два двоюродных брата Макаровых, очень тучный купец кадет Сысой Иванович Елшанкин, отец служащей в нашем банке барышни, и Иван Сергеевич Соколов, состоявший вместе со мной в Исполнительной комиссии. Отношение к ним было строгое, их насильно заставляли работать сверх сил, кормили скверно. Однако, не к чести «буржуев» будет сказано, многим из них оказывали льготы — конечно, за деньги, которые они давали, скрывая эти факты от остальных. Не было между ними солидарности даже в столь грозные минуты.

Во время работ бывали случаи, когда конвоиры, отойдя от окопов, начинали без предупреждения стрелять, как бы пробуя прочность сооружения, и если не попадали в людей, то только потому, что те с первым выстрелом прятались в ров.

Братьев Макаровых, Елшанкина и Топорищева, владельца большого гастрономического магазина, разбудили ночью и куда-то повели. Когда они переходили железнодорожный мост, им было приказано остановиться посередине, а перешедшая мост стража открыла по ним огонь. Все четверо упали. К раненому Николаю Макарову подошли. Тот притворился мёртвым. Солдат поднёс к его глазу зажжённую спичку и, заметив, что глаз дёрнулся, выстрелил в голову в упор из револьвера. Николай потерял сознание и очнулся, когда его тормошил брат. Оказалось, что пуля, пробив околыш фуражки, прошла между околышем и волосами. Николай, простреленный в плечо и контуженный в лоб, остался жив. Борис Макаров получил смертельную рану в живот, Елшанкину во время осмотра прокололи штыком живот, а Топорищев, не будучи ранен, выдержал пытку от поднесённой к закрытому глазу зажжённой спички и тем спасся.

Все трое оставшиеся в живых, Макаровы и Топорищев, с великим трудом пробрели около трёх верст до деревни и там постучались в первую же хату. Хозяин принял их и дал укрыться в бане, где они перевязали свои раны. Тут Борис, истекая кровью, скончался. Николай же и Топорищев пробрались в белый

Екатеринбург. При каких обстоятельствах был убит Соколов, по профессии химик, мне узнать не удалось. Говорили, что это произошло при рытье окопов.

Интересен рассказ жандармского полковника Стрельникова, подобно Чистосердову спасшегося бегством, но только из другой партии. Это тот самый Стрельников, о котором я уже писал как о военном цензоре, судебное дело которого было поручено мне.

Он рассказал, что их в количестве двенадцати — четырнадцати человек под слабым конвоем из шести солдат повели в самом начале ночи из тюрьмы к станции Екатеринбург-Второй.

В этой партии находился и бывший полицмейстер Екатеринбурга Рупинский. С ним последний раз я виделся на Пасху, с интересом выслушав его рассказ о том, как он попал в дутовские войска, организацию которых тогда считал настолько слабой, что не возлагал особых надежд на спасение Дутовым Екатеринбурга. В той же партии очутился и епископ Гермоген.

Один из солдат-конвоиров знал Стрельникова по службе в жандармерии и поэтому потихоньку сказал ему, что их ведут на расстрел…

— Услыхав об этом, — рассказывал Стрельников, — я стал подговаривать Рупинского и прочих сильных и здоровых мужчин к нападению за городом на конвой и к общему бегству. Сделать это было очень легко — нас было вдвое больше. Стоило только дружно напасть на конвой во время перехода по полю, и, конечно, все шесть винтовок оказались бы в наших руках. Но никто из товарищей по несчастью не соглашался не только оказать активное сопротивление, но, выражая полную покорность судьбе, они высказывали сомнение, что их ведут на расстрел. Рупинский даже уверял, что их просто вышлют из Екатеринбурга куда-нибудь на север.

Однако эти доводы на меня мало действовали, и я решил бежать один.

Нас привели на станцию Екатеринбург-Второй и оставили под конвоем на самой платформе. Я всё сидел и медлил, стараясь припомнить профиль местности, чтобы составить план бегства. Наконец стало светать. Это обстоятельство ускорило решение: или бежать, или погибнуть вместе с остальными. Я встал и попросил конвоира отвести меня в отхожее место. Войдя в клозет, я через заборчик старался угадать, где находится часовой, прохаживавшийся вдоль здания. Наконец, заметив, что он дошёл по бровке до выхода из клозета, я вышел, как бы оправляя брюки. Часовой остановился, и глаза наши встретились. Как мне показалось, его глаза говорили мне, что он проник в мой

замысел. Я изо всей силы толкнул его обеими руками в грудь. Он грузно упал вниз под откос, а я, сделав большой скачок, быстро побежал вдоль железнодорожного полотна к городу.

Это направление было мной обдумано, ибо снизу конвоиру было труднее в меня стрелять. Я, за будкой сторожа сбросив серую офицерскую шинель и оставшись в защитном кителе, быстро перекинулся через забор и залёг между начавшими зеленеть огородными грядками.

Послышался выстрел, другой. Потом через несколько долгих минут мимо забора пробежали солдаты. Один из них крикнул:

— Братцы, тутотка его шинель! Уж не юркнул ли он в огород? — и, поднявшись на забор, стал осматриваться.

Я лежал ни жив ни мёртв, но солдат, грузно соскочив на землю за ограду, побежал вдогонку за товарищами. Терять время было нечего. Я быстро встал, кинулся к противоположной ограде и, перескочив её, бросился мимо станции в лес. Там я добежал до берегов Исети и залёг под железнодорожным мостом, где в мучительном ожидании отдыхал на земле. Надо мной прошёл поезд, и, только когда стук колёс затих, я вышел из засады и углубился в лес. Сделав огромный круг, явился домой со стороны Московского шоссе. Дома переоделся, поел с большим аппетитом и, условившись с женой о снабжении пищей, вновь отправился в лес. А там, недели через две, я присоединился к чехам и вместе с ними участвовал во взятии Екатеринбурга.

Вся же партия заключённых, как потом выяснилось, была расстреляна около Тюмени.

Так погибли и епископ Гермоген, и полицмейстер Рупинский.

* * *

Решено было в ближайшем будущем устроить специальное заседание, на котором можно было бы выслушать всех рассказчиков на эту тему.

К сожалению, заседание это почему-то не состоялось. Но зато другое пожелание — поблагодарить войска, участвовавшие во взятии города, устроив особый праздник, — было осуществлено. Я предложил в распоряжение совету пустующее помещение банка и мою квартиру. Решено было от имени комитета устроить собрание представителей всех организаций, чтобы выбрать распорядителей праздника.

Тут же была проведена принудительная подписка со всех членов, дабы на собранные средства устроить торжественные похороны не только жертв революции, принадлежащих к

буржуазии и интеллигенции, но и семидесяти рабочих Верх-Исетского завода, расстрелянных «товарищами». И расстреливали те, кто так много кричал и негодовал по поводу Ленских событий.

Возвращаясь домой с заседания, я заметил огромную толпу, собравшуюся вокруг пьедестала памятника Александру II. (Сам памятник был уничтожен коммунистами.) С одной стороны этого памятника были похоронены первые жертвы меж-дуусобной войны — разумеется, красные воины. С тех пор это место постоянно привлекало внимание публики. То за ночь раскопают могилы и зальют их жидкостью из ассенизационного обоза, то жёны и единомышленники убитых украсят их красными тряпками и подновят надгробную надпись: «Спите, орлы боевые». То вновь вместо красных бантов окажется на могиле дохлая кошка или собака, а поэтическая надпись заменится близкими сердцу народа нецензурными словами в три и пять букв. Я подошёл к толпе, очень пёстрой по своему составу; кто-то ораторствовал и требовал вырыть трупы мерзавцев и восстановить памятник. Толпа бурно аплодировала… Оказалось, что в ночь на следующий день по распоряжению военного начальства трупы обманутых и заблудших в убеждениях людей были выкопаны и увезены в какое-то другое место для погребения.

ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИКОВ

Начался ряд заседаний Банковского комитета. Все мои коллеги стояли за скорейшую денационализацию банков. Один я держался иного взгляда.

— Господа, — говорил я, — нам великолепно удалось провести национализацию. Мы всё сдали в полном порядке под расписку Государственному банку. Если продвижение белых пойдёт удачно и через несколько месяцев мы соединимся с правлениями, то тогда им решать, на каких условиях мы можем восстановить наши отделения. Этим самым мы сохраним для правлений и права иска за понесённые убытки. Если мы начнём работать теперь, мы, несомненно, эти права ослабим или совсем потеряем. Работать же сейчас, при отсутствии сданных Государственному банку ценностей, которые вывезены в Пермь, а может, и в Москву, я нахожу чрезвычайно трудным. Наконец, мы уже пережили всю тяжесть деятельности отделений, отрезанных от правлений. Уже тогда работа являлась невозможной, а теперь будет ещё более затруднительна. Не забудьте, что трагизм положения заключается главным образом в том, что линией фронта мы отрезаны от печатного станка, который остался в руках красных. Значит, и Государственный банк не будет в состоянии снабжать нас даже кредитной валютой.

Однако мои коллеги стояли на своём. Как главный довод, перед которым пришлось преклониться и мне, они выставляли то, что во всех городах банки уже денационализированы и нам отставать нечего.

— В таком случае обставим дело так: нас национализировала большевицкая власть, пусть же теперь денационализирует ныне существующая, отдав особый приказ. Этим мы снимем с себя ответственность и перед правлением, и перед клиентами.

Предложение было принято, и мы отправились к полковнику Шереховскому, который и согласился подписать приказ о том, чтобы местные отделения банков немедленно приступили к своей обыденной работе.

* * *

За день до назначенного собрания я отправился к участковому коменданту с просьбой, во-первых, выселить из моей квартиры и банка всех слуг большевиков, всё ещё живших там. Именно в моей квартире помещался Исполнительный комитет

Урала, обслуживаемый только коммунистами.

Вторая моя просьба заключалась в том, чтобы до собрания обстоятельно осмотреть здание, в коем могли быть подложены бомбы. Незадолго до этого бомбы были обнаружены в Общественном собрании.

К моему удивлению, комендант, слушатель Академии, ответил, что закон о квартирах не позволяет ему, ради моих удобств, выгонять людей на улицу; вторую просьбу он удовлетворить согласился.

Квартира моя представляла интересное зрелище: здесь была масса мебели, вещей, сундуков и чемоданов, принадлежавших Царской семье и заключённым вместе с ней лицам свиты. Особенно запомнились мне маленькие санки, обитые солдатским шинельным сукном, выкрашенным в голубую краску, принадлежавшие Наследнику. Их ужасно хотелось оставить себе на память.

Во время осмотра помещения банка в аффинажной лаборатории между большими бочками с железным купоро-сом был найден узелок, в котором оказалось большое количество драгоценностей — тысяч, вероятно, на полтораста; всё это, как выяснилось впоследствии, принадлежало как Царской семье, так и графине Гендриковой и фрейлине Шнейдер.

По приказанию судебного следователя, присутствовавшего при осмотре помещения, был произведён обыск жившей там большевицкой прислуги, при котором было найдено большое количество драгоценностей. Этим обстоятельством тотчас воспользовались и засадили всех голубчиков в тюрьму, нарушив тем самым соблюдаемый комендантом закон о неприкосновенности квартир.

* * *

Собрание было многолюдно, присутствовало более пятисот человек. В результате председателем грандиозного праздника чествования чешских войск против моего желания был выбран я.

Уже в то время радостное чувство освобождения от коммунистов начало сменяться разочарованием и смутным сознанием того, что ожидаемое не свершилось и не свершится. Прежней России уже нет, среди хаоса безвластия всё сильнее начинал чувствоваться переход власти в руки чешского командования. И не только чехи превращаются из бесправных пленных в господ положения, но сама власть разделяется и, пожалуй, сосредоточивается в руках английского и французского

консулов. Особенно поражался я энергии и смелости, проявлявшейся местными евреями — Атласом, Раснером и особенно Кролем. Последний внезапно появился в Екатеринбурге, будто бы только что пробравшись через фронт из Москвы, и действовал здесь от имени Комитета Освобождения Родины. С этого момента главная роль местного политического деятеля, несомненно, перешла к нему. Особенно неприятно было, что он настоял перед полковником Шереховским на созыве думы не последнего дореволюционного состава, как предлагал я, а революционного. Иначе говоря, этот акт призывал население признать все изданные в революционном угаре законы Временного правительства, нуждавшиеся в серьёзной поправке или просто в отмене.

Мне становилось непонятным, почему мы, идущие против революции, должны признавать законы Керенского только потому, что правительство это считалось признанным союзниками…

Наконец, если признать все эти законы, то почему тот же Кроль, вместо того чтобы назначить новые выборы думы, самовольно заменяет три четверти гласных по спискам, составленным в дни революционного угара, когда власть фактически была сосредоточена в руках Советов рабочих и солдатских депутатов?

Радостное чувство избавления от большевиков начало сменяться досадой на несбыточность моих мечтаний. А мечтал я страстно о том, что спасут нас чехи и во главе движения станет законный Наследник земли Русской — великий князь Михаил Александрович, в то время находившийся в Перми. Он дал бы нам широкую конституцию, и Россия пошла бы гигантскими шагами по пути развития индивидуальных сил страны.

Но Пермь ещё не взяли. Не был очищен от большевиков и Алапаевск, где находились в заключении великие князья. Никто не знал, живы ли они.

Несколько раз заезжал я к Шереховскому узнать, нет ли какой-либо весточки от Сергея Михайловича, но Алапаевск находился во власти большевиков.

За это время командующим войсками был назначен Владимир Васильевич Голицын — бравый, красивый молодой генерал. Я тотчас же направился к нему. Приём его был предупредительно вежлив. Я обратился с заявлением о необходимости сейчас же объявить Ипатьевский дом, в котором убили Царя, национальной собственностью и тщательно его охранять.

— Я сочувствую вашей идее, — распинался генерал, — но,

знаете, ещё прослывешь монархистом…

— Ну так что же из этого, генерал? Мне думается, что это совсем не так страшно.

— Да-да, но всё же, знаете, не время подымать эти вопросы, надо повременить.

— Смотрите, пропустите срок, вас же укорять будут. Но вместо того чтобы охранять дом — величайший памятник русской революции для одних и святыню для дру-гих, бравый генерал по приказанию назначенного в Екатеринбург чешского генерала Гайды очищал дом для последнего.

В скором времени после первого знакомства с Голицыным мне пришлось вызвать его поздно ночью к телефону и, сообщив текст телеграммы, полученной от инженера Карпова, управляющего Алапаевским округом, со станции Богданович, просить его немедленно выслать туда людей. Из телеграммы: «Пребывание Богданович, все здоровы» — я понял, что великие князья находятся с Карповым.

Генерал тотчас послал на станцию Богданович с верными людьми отдельный паровоз, но мои надежды не оправдались — великих князей там не оказалось, а приехавший Карпов ничего не мог сообщить об их жизни в Алапаевске.

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВ ТЕРРОРА

Во время сложных приготовлений к чествованию чешских войск нашим обществом было ассигновано около трёхсот тысяч рублей, а истрачено около семисот. Каждому воину (а их, по показаниям чешского командования, оказалось более пяти тысяч человек, тогда как на самом деле едва ли участвовала в освобождении города и тысяча) приготовлялся подарок стоимостью в сорок рублей. Пришлось наблюдать тяжёлое зрелище: торжественные похороны сперва девятнадцати расстрелянных интеллигентов и «буржуев», а затем похороны семидесяти рабочих, расстрелянных большевиками.

Один за другим несли и везли на катафалках девятнадцать гробов, украшенных цветами. Толпа была настолько велика, что буквально вся Соборная площадь представляла собой море голов. Я едва пробрался к собору во время отпевания, но запах от трупов был настолько силён, что я ушёл в банковскую квартиру и с глубокой грустью следил с балкона за погребальной процессией.

А вот и гроб Александра Ивановича Фадеева, горного инженера. Ходячая энциклопедия уральских заводов — так называл я его. Он состоял последнее время консультантом нашего банка, его письменные отзывы по тем или другим техническим вопросам отличались удивительной ясностью и вдумчивостью. За что он погиб?

Как тогда говорили, смертный приговор ему был произнесён в моей столовой, за большим столом, покрытым красной скатертью, вокруг которого сидели комиссары на обитых шёлком креслах, вывезенных из Тобольска. Среди комиссаров присутствовал негодяй коммунист Сафаров из рабочих Верх-Исетского завода, которым лет шесть назад управлял Фадеев. Он выгнал тогда этого рабочего за недобросовестное, воровское отношение к делу и за пьянство. Так вот этот-то рабочий, как говорят, и потребовал расстрела Фадеева. За достоверность этого я не отвечаю, так же как снимаю с себя ответственность за следующий рассказ, слышанный мной от Чемодурова, камердинера Императора.

— Когда Государь был привезён из Тюмени в Екатеринбург часов в десять вечера, его потребовали в Исполнительный комитет и, как говорят, продержали в прихожей более часа. Наконец его ввели в столовую, где он предстал перед заседавшими в полном составе за столом, покрытым красной скатертью, и в красных креслах членами комитета.

Председатель, осмотрев его и сделав паузу, спросил:

— Вы бывший император, ныне Николай Романов?

Государь ничего не отвечал.

Прошло ещё несколько минут в созерцании его «товарищами».

— Можете идти.

Государя опять доставили на место его заключения — в дом Ипатьева.

Какое странное совпадение: вышли Романовы из Ипатьевского монастыря и погибли в доме Ипатьева…

Под влиянием похорон и навеянных ими грустных мыслей я вошёл в столовую, и перед моим воображением предстала эта страшная картина. Несмотря на то что вечер лишь наступал и в комнатах было светло, мне стало жутко в этой большой столовой, и я спешно сошёл вниз, в банк.

«Как будет теперь житься в этой квартире? — думалось мне. — Если верить в воплощение духов, то не здесь ли изберут они место для явлений на спиритических сеансах?»

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЧЕХОВ

Устраиваемый праздник требовал массы забот и хлопот, целые дни и вечера пришлось просиживать в комиссиях и подкомиссиях, и я думаю, что не менее сотни человек было привлечено к работе по его устроению. Особенно много пришлось работать Кошелеву, чтобы изготовить пять тысяч подарков. В каждый подарок входили: бельё, мыло, гостинцы, зубные щётки, перья, карандаши, конверты и бумага.

Нелегко досталось моей жене — председательнице комиссии по устроению ужина для офицеров. Нужно было приготовить ужин на шестьсот человек. Все клубы были разгромлены большевиками. Моя жена целыми днями хлопотала, доставая посуду, вилки, ножи.

Не могу не упомянуть о том демократическом настроении, которое царило тогда среди екатеринбуржцев.

В комиссии обсуждался вопрос о чествовании как чешских, так и русских офицеров. Значительное большинство выступило против раздельного чествования офицерства и солдат.

Я настаивал на том, чтобы чествование состоялось, видя свой долг в том, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить наше офицерство за те муки, позор, оскорбление и страдания, которые оно вынесло в революцию. Всё же большинство было против, и мне пришлось поставить вопрос ребром: или я ухожу из председателей, или раут должен состояться.

Мне уступили, но обрезали смету, ассигновав на каждого офицера всего по восемь рублей, т. е. столько же, сколько было выделено на каждого солдата, не считая сорока рублей на подарки, которые готовились только для солдат. Ясно, что при стоимости рубля, не превышающей двадцати копеек, ничего порядочного устроить было нельзя. Тогда я решил готовить ужин не на шестьсот человек, а на восемьсот и выпустил двести почётных билетов стоимостью пятьдесят рублей каждый, а даровые билеты послал только английскому и французскому консулам.

Ругали меня за это крепко, а всё же двухсот билетов оказалось мало.

Праздник прошёл на славу. Началось всё, конечно, торжественным молебствием, затем прошёл парад войск на Соборной площади. Но, Боже мой, как мало было войск! Общее число их в Екатеринбурге не превышало пятисот человек. Это всё, что осталось в городе как резерв. За два дня до назначенного праздника красные повели наступление на Екатеринбург. Один

момент был настолько тяжёл, что меня вызвал по телефону Вологовский в свой магазин, где над составлением подарков работали не на шутку встревоженные дамы. Все они просили меня поехать к командующему и узнать, в каком положении город.

Я застал командующего в вестибюле Первой женской гимназии. На мой вопрос о положении дел он радостно ответил, что опасность миновала и я могу успокоить комитетских дам. Как-то не верилось в возможность взятия Екатеринбурга красными, несмотря на то что временами, особенно ночью, слышалась артиллерийская стрельба.

После парада с трибуны бесконечной вереницей ораторов произносились речи. Пришлось, конечно, выступать и мне. Слава Богу, речи все были очень короткими, а ораторы неизменно встречались и провожались громом аплодисментов.

После речей все мы, причастные к устроению праздника, выстроились в ряд по четыре и под звуки военного оркестра под национальными флагами двинулись длинной вереницей позади войск к Общественному собранию, против которого жил хорошо мне знакомый и бывавший у меня английский консул Томас Гиндебрандович Престон. У него же остановился и французский консул.

Здесь овации по адресу союзников приняли шумный и искренний характер. Опять говорились речи, раздавались крики «ура!», а оркестр исполнял то французский, то английский и чешский гимны. Увы, нашего чудного русского гимна тогда, как и теперь, не играли, чего-то опасаясь.

Наконец толпа разошлась по кинематографам и наскоро устроенным кофейням, где и зрелища и напитки давались даром.

Центральной кофейной стала моя квартира, где всё время пришедшим гостям подавались кофе, чай и сладости. Мой зал, столовая и кабинет были набиты битком.

Главной заботой моей жены Марии Петровны являлся ужин, который решено было накрыть в клубе, на садовой площадке перед эстрадой. Столы, поставленные буквой «П», занимали более половины клубной площади. Каким чудом уда-лось жене всё это сервировать, я до сих пор понять не могу. Столы ломились от яств и были украшены не только разбросанными по столам цветами, но и большими букетами. Один был недостаток — сравнительно слабое для еды освещение, так как негде было достать должного количества дуговых фонарей. Мы ужасно опасались сильного дождя, который в этот вечер начинал накрапывать раза два.

Гвоздём ужина был крюшон, который готовил мой сын Анатолий. Крюшон был превосходный, и подавали его в

несчётном количестве. В это время вин и спиртных напитков в продаже не было. Всё приходилось доставать из частных запасов буржуазии, а также из конфискованного военным ведомством.

По программе ужин должен был начаться после концерта в городском театре, куда, помимо офицерства, были приглашены почётные граждане города.

Не обошлось и без скандалов. Перед самым началом концерта в число ораторов с разрешения распорядителя концерта Атласа записался какой-то только что прибывший в Екатеринбург гражданин высокого роста, отрекомендовавшися представителем Самарского правительства.

Этот великан, выйдя на сцену, после цветистого приветствия, изобличавшего в нём недюжинного митингового оратора, начал речь, продолжавшуюся более часа. Каждая фраза была шедевром провокаторского искусства. Всё, что он говорил, можно было понять различно — и за и против чехов, и за и против союзников. Для меня становилось ясным, что это один из тех ораторов, которых выставляют «товарищи» с целью затянуть время и сорвать митинг. К сожалению, Атлас не догадался распорядиться дать занавес. Митинг затянулся, и я, отказавшись от данного мне слова, уехал в клуб на помощь жене.

В клубе меня обступили распорядители с просьбой усилить контроль за входящей публикой, которая, несмотря на протесты контролёров, врывалась силой. Прибегали с заявлениями, что офицеры перелезают через забор. Многие из непрошеных гостей набрасывались на закуски. Приходилось охранять столы от голодных людей. Оркестр из любительской студии, обидевшись на то, что эстрада занята военным оркестром, отказался играть и засел за столы с яствами.

Затем пошли скандалы, устраиваемые Вишневецким. Сперва он выступил на организационном собрании по устроению праздника, под гром аплодисментов заявив, что жертвует на издание газеты против коммунистов две тысячи рублей.

Присутствующий на собрании прапорщик Герасимов, впоследствии за личную храбрость получивший генеральский чин, обращаясь к Вишневецкому, заявил:

— Господин Вишневецкий, потрудитесь сейчас же выложить на стол две тысячи, ибо я неоднократно убеждался в неисполнении обещанного вами.

На этот раз Герасимов оказался не прав, ибо пресловутые две тысячи были внесены на другой же день. Теперь Вишневецкий попросил у меня разрешения устроить аукционную продажу цветов. Не вполне доверяя этому человеку, я не дал согласия, мотивируя отказ как недостатком времени, так и тем, что

приглашённое офицерство вряд ли может дать большую сумму. К тому же мне говорили, что восемнадцать тысяч, полученные за проданную лошадь, Вишневецкий ещё не сдал казначею. Этот отказ вызвал со стороны Вишневецкого совершенно неприличный выпад. Заметив, что многим из офицеров не хватило за столами мест, он встал и заявил: «Господа чешские офицеры, вам, спасшим Екатеринбург, не хватает за столами мест. Поэтому я прошу оказать мне честь и пожаловать в мой дом, где обещаю угостить вас хорошим ужином».

Я тотчас же встал и, обратившись к гражданам города Екатеринбурга, попросил их уступить свои места нашим гостям — чешскому офицерству.

Моя просьба была исполнена, но, несмотря на это, чехов тридцать вслед за Вишневецким покинули собрание.

Наконец все успокоилось, гости утолили свой голод, и начали разносить крюшон.

Первую здравицу я произнес за многострадальное русское офицерство.

Вторую — за чешских офицеров.

Третью — за казаков-бурят.

Публика развеселилась и после ужина направилась в пустующие залы клуба, где начались танцы.

Дождались рассвета, и едва утренние лучи солнца осветили клубную площадку, как раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий. Эти выстрелы возвещали, что прерванная на несколько дней атака Екатеринбурга красными войсками снова началась.

Несмотря на то что пальба усиливалась, у всех пирующих была полная уверенность в отсутствии опасности.

Момент для атаки был выбран превосходно: войск в Екатеринбурге почти не было, а всё находящееся в городе офицерство перепилось настолько, что вряд ли могло оказать сколько-нибудь серьёзное сопротивление. Что бы было, думал я, засыпая под утро, если бы ворвались красные? Каким бы кровавым пиром закончилось наше торжество!

На другой день, проснувшись часов в девять утра, я был неприятно поражён необычным видом улиц, переполненных крестьянскими повозками со скарбом. Всё это были беженцы из окружных сёл и деревень, занятых красными войсками. Стрельба слышалась очень близко, но почему-то я был уверен в полной безопасности. И это несмотря на то, что под утро бой шёл почти у самого вокзала.

К полудню выстрелы стали стихать и отдаляться, и атака красных была отбита.

Говорят, что Екатеринбург своим спасением был обязан чешскому капитану Жаку, который, несмотря на то что, будучи раненным, находился в лазарете, взял ружьё и, приняв командование над небольшой группой войск, своими решительными действиями обратил красное войско в бегство.

В этот день ко мне явилась депутация от чешского офицерства с извинениями за вчерашнее поведение. Вид депутатов был весьма сконфуженный.

После обмена примирительными фразами один из офицеров вполне конфиденциально просил меня сказать, что представляет из себя господин Вишневецкий, подбивший их вчера во время ужина уйти из клуба. Я ответил, что знаю его мало, в Екатеринбурге он появился сравнительно недавно, купил большое усадебное место с хорошим домом, скупал у разных лиц золотые и платиновые прииски. Моё малое знакомство с ним и принудило меня вчера отказать ему в устроении аукциона на цветы, так как у меня не было никаких сведений о том, что вырученная Вишневецким крупная сумма за аукционную продажу лошади была им внесена нашему казначею.

Тем и закончился этот неприятный инцидент.

ЧЕМОДУРОВ

Ещё на похоронах жертв большевицкого террора мне указали на высокого человека, одетого в пиджак цвета хаки. Был он в очках, с большой русой бородой. Это оказался камердинер Государя.

Дня через два после праздника ко мне заехал ротмистр Сотников и попросил от имени группы гвардейских офицеров собрать пять тысяч рублей на расходы по поискам Царской семьи, поскольку он уверен, что не только его семья, но и сам Государь живы и находятся в Перми. К сожалению, такой суммы я дать не мог, а вручил всего полторы тысячи рублей, предложив за остальными обратиться к кому-либо из более состоятельных граждан Екатеринбурга.

Вторая просьба Сотникова заключалась в том, чтобы я приютил у себя Чемодурова, потому что он совершенно без средств и его слишком одолевают газетные репортёры, от которых его надо тщательно оберегать в интересах объективного ведения следствия.

Я охотно согласился на эту просьбу и поместил Чемодурова как раз в ту комнату, в которой весной жил великий князь Сергей Михайлович.

Таким образом, я был вновь волею судьбы приближен к дому Романовых, но на этот раз я имел дело не с живыми членами династии, а лишь с тенями венценосных мертвецов.

Дней через пять я уехал со всей семьёй в Самару. Поэтому очень мало виделся с Чемодуровым, обычно целый день пропадавшим у следователя. Вечерами старик очень осторожно (в первые дни он не верил в уничтожение всей семьи), а затем всё смелее и смелее делился со мной воспоминаниями о жизни Царской семьи как до революции, так и во время ссылки Государя.

Чемодуров происходил из крестьян, имел где-то в Полтавской или Курской губернии небольшой хуторок, купленный им на сбережённые деньги. Камердинером Государя он состоял давно, более десяти лет, и получал при готовой квартире и столе около двухсот рублей в месяц. Очень гордился своим званием камердинера Государя и был, несомненно, предан правителю и его семье. Эту преданность он доказал на деле, не бросив своего господина в дни постигшего его несчастья.

За месяц до расстрела Царской семьи Терентий Иванович стал прихварывать и по настоянию самого Государя стал просить комиссара временно выпустить его на волю для лечения.

Комиссар согласился, но вместо того, чтобы выпустить на волю, заключил в тюремную больницу, откуда впоследствии его перевели в камеру, где помещался граф Илья Леонидович Татищев.

По иронии судьбы, камера эта оказалась той самой, в которой когда-то сидел Керенский. Об этом свидетельствовала надпись на стене, сделанная каким-то острым предметом будущим премьером России.

Спасение своё от расстрела Терентий Иванович объяснял чудом. По его словам, был прислан список лиц, подлежащих расстрелу. Список был большой и на одной странице не уместился, отчего фамилия его оказалась написанной на обратной стороне листа. Будто бы по небрежности комиссаров, не перевернувших страницу, когда выкликали заключенных, его не вызвали. Вскоре пришли чехи, и он оказался спасённым. Всё это правдоподобно, но есть и другая версия, сильно меня смущавшая: не был ли Чемодуров в близких отношениях с доктором Деревенко, который, как известно, тоже был выпущен и пользовался большим фавором у большевиков?

Возможно, Чемодуров был ему полезен, давая кое-какие сведения о Царской семье. Когда же вопрос о расстреле был предрешён, дальнейшая слежка стала уже не нужна. Вот и решили спасти старика от расстрела в благодарность за его шпионство.

Но это тягостное обвинение голословно и основано лишь на моих наблюдениях над переменой состояния духа Чемодурова. Мне казалось, что первые два дня он был более подавленным, чем тогда, когда узнал, что расстреляна вся семья и вся прислуга. Мне казалось, что это обстоятельство, за отсутствием свидетелей снимавшее с него все улики, было ему приятно.

Вот что подсказывает мне память из рассказов Чемодурова.

Царская семья во время войны, да и ранее этого, жила замкнуто. Приёмы были редки, чаще всего у Государя бывали Михаил Александрович, Ксения и Ольга Александровны. Мария Фёдоровна почти не бывала. Вставал Государь рано. День обычно начинался с прогулки, затем шёл прием министров и разные представления. После завтрака Государь прогуливался с детьми в саду, рубил дрова, очищал снег. За обедом, если никого не было, он почти ничего не пил, если не считать рюмки мадеры или хереса. Если же бывали гости, Государь выпивал за закуской рюмку-другую водки. После вечернего чая он отправлялся к себе в кабинет, куда дежурными камердинерами относилась вся полученная корреспонденция, равно как и доклады, составленные министрами. Государь не имел секретаря и сам вскрывал

конверты, делал на бумагах пометки, сам запечатывал их и записывал в журнал. Между часом и двумя ночи обыкновенно раздавался его звонок. Государь, сдав всю корреспонденцию дежурному камердинеру, уходил в почивальню.

На мои расспросы, часто ли бывал в семье Государя Распутин и допускался ли он в спальню великих княжон, Чемодуров ответил, что в свое дежурство он никогда не видел Распутина в семье Государя. Но Императрица видалась с ним на квартире Вырубовой, с которой была очень дружна. Ответ, несомненно, был уклончивый. Чемодуров, так же как и Сергей Михайлович, уверял меня, что слухи о близости Распутина к Царской семье были сильно преувеличены.

В его словах всё же проглядывала некоторая нелюбовь к бывшей госпоже. Он считал её виновной и в ссоре Государя с великими князьями, и в революционных событиях.

Когда Государь в последний раз вернулся из Ставки, отрёкшись от престола, и сообщил Императрице о происшедших событиях, она, обычно сдержанная, заплакала и сказала, что во всем случившемся винит себя… Государь же успокаивал её, сказав, что всё творится по воле Господа.

Многочисленной прислуге было сказано, что кто не желает оставаться может уходить. Значительное большинство было распущено. Во дворце началась тихая, уединённая жизнь, прерываемая частыми приездами Керенского, к которому Государь относился с большим доверием.

Начались сборы к отъезду в Англию. Государь разбирал свои бумаги и вещи. Но вместо ожидаемого отъезда было заявлено, что Царскую семью отправляют в Тобольск. К отходу поезда приехал Керенский и долго беседовал с Государем в купе. По-видимому, беседа была дружественная, потому что Чемодурову удалось, присутствуя при прощании, слышать фразу Керенского:

— Будьте спокойны, я даю вам слово, что все высказанные вами пожелания будут исполнены в точности, за это я ручаюсь.

На прощание он первый раз поцеловал у Императрицы руку.

В Тобольске жилось сносно. Кормили хорошо. Царская семья пользовалась относительной свободой. Княжнам позволяли ходить за покупками, что доставляло им большое удовольствие.

Государь прогуливался по двору и часто, заходя в караульную комнату, разговаривал с охраной. К сожалению, одна из рот, охранявших его, была коммунистической, и беседа с этой ротой часто его расстраивала.

К слугам Государя население относилось очень хорошо, всегда любезно расспрашивая про Царскую семью.

В церковь Государя допускали, но проход тщательно

охранялся конвоем. Служил Гермоген.

Очень тревожно прошёл последний день в Тобольске. По требованию приехавшего комиссара было предложено немедленно собираться в путь. Тревожно было потому, что был болен Наследник. Императрица, всегда гордая, сама просила комиссара отсрочить поездку до выздоровления Наследника, не соглашаясь расстаться с ним. Но комиссар был неумолим и торопил, потому что рушилась дорога. Стояла весна, и опасались разлива рек. Ехали быстро на нескольких тройках с малым конвоем. Если бы в это время захотели Государя освободить, то сделать это было бы просто. Собственно, куда везли, никто из Царской семьи не знал. Предполагалось, что в Москву.

Когда их привезли в Екатеринбург, в дом Ипатьева, то Государь подошёл к окну. Окно смотрело в забор.

Несмотря на это, комиссар грубо и громко крикнул:

— Прочь от окна!

Государь, понурив голову и сделав три шага назад, так и застыл в этой позе. Тотчас же начался обыск. Когда у Государыни потребовали её ридикюль, она не хотела его отдавать, а Государь заметил:

— Вы имеете дело не только с бывшей Императрицей, но прежде всего с женщиной.

— Прошу молчать и помнить, что ты здесь не император, а арестант и государственный преступник.

Государь, Императрица и Наследник поместились в одной комнате, а княжны в другой. Последним не дали кроватей, и они спали на полу, на который постилали пальто и шубы Государя и княжон.

Жизнь была ужасная. Наверное, каторжанам жилось лучше, ибо не было над ними тех издевательств, которые постоянно позволяли себе комиссары, а особенно еврей Юровский. Комиссары почти ежедневно устраивали в своей комнате оргии: оттуда слышались песни, неслись крики, ругательства.

Во всякое время, без всякого предупреждения комиссары входили в комнату княжон и в комнату Государя. При этом костюм их был умышленно небрежен, часто без пиджака или френча, с трубкой или папироской в зубах.

Кормили очень скверно. Обед в два блюда и ужин в одно блюдо. Кушанья доставляли из Коммерческого собрания, где в то время была устроена столовая для большевиков. Приносили почти всегда всё холодное, с застывшим салом. Часто — очевидно, умышленно — попадались тараканы, куски мочала. Нам говорили, что повара отказываются работать на Царя.

С первого же дня приезда в Екатеринбург Государыня

потребовала, чтобы вся прислуга обедала с ними за одним столом.

Нередко во время обеда заходил комиссар в фуфайке, с трубкой в зубах и взяв со стола вилку, лез в блюдо, унося с собой кусок телятины или говядины. При этом негодяй старался толкнуть Государыню, протискиваясь между нею и Государем. Комиссар нередко ронял пепел в тарелку Александры Фёдоровны.

Комиссаров кормили, конечно, хорошо, и делалось это отнюдь не из-за голода, а чтобы показать свою власть и подчеркнуть бесправие узников. Царской семье, например, во время обеда жаркое давали в обрез. Еды кому-нибудь не хватало и порции приходилось делить. Не хватало и тарелок с вилками, поэтому узники ели по очереди. О скатертях и салфетках речь и не заходила.

Всё это сильно огорчало Государя, но Императрица переносила испытания с изумительной стойкостью.

На Пасху в церковь не пустили. Служили заутреню в комнатах, на разговение дали всего по одному красному яичку, один кулич и одну пасху на всех.

На мой вопрос, не было ли насилия над княжнами, Чемодуров ответил, что при нём не было.

Я очень сожалею, что недостаточно подробно расспросил его тогда. Но это произошло потому, что, узнав о моих записках, он просил разрешения после моего прибытия из Самары приехать ко мне из Тобольска (куда он намеревался отправиться за женой), чтобы я записал с его слов, шаг за шагом, всю его долгую службу у Государя. Я очень обрадовался этому предложению и, когда вернулся из Самары, дал ему знать о приезде. В своей казённой квартире я с любезного разрешения генерала Домантовича сохранил одну комнату для Терентия Ивановича (в то время каждая комната была на учёте).

В феврале 1919 года я получил от него телеграмму с просьбой разрешить приехать. Я ответил согласием, но сам уехал в Омск, где слёг в злой инфлюэнце, продержавшей меня около двух недель в постели. Когда же я выздоровел, то узнал, что Терентий Иванович отдал Богу душу.

Уезжая, Чемодуров в знак благодарности за приют подарил моему сыну револьвер системы «Стайер», который и по сие время хранится у него.

Часть третья
ОМСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

УРАЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Во время чешского владычества началась работа по образованию самостоятельного Уральского правительства. Инициатором этого явился Лев Афанасьевич Кроль. Судя по его докладу, сделанному в Культурно-экономическом обществе, главная причина образования Уральского правительства состояла во временной необходимости отмежеваться от поползновений как Самарского правительства, так и Сибирского. Оба они были опасны своими крайними, диаметрально противоположными политическими направлениями. Сибирское правительство слишком реакционно, а потому не может быть приемлемо демократическими массами Урала. Самарское же правительство оказалось в руках крайне левых эсеров: если Урал подпадёт под их влияние, то рабочая масса вновь обратится к большевизму.

Эти главные тезисы казались мне тогда правильными. Однако в переговорах с приехавшим из Омска министром финансов Иваном Андриановичем Михайловым тот же Кроль пошёл на уступки и признал подчинение Уральского правительства Омскому, отказавшись от содержания собственной армии и от самостоятельных финансов. Само собой разумеется, Уральское правительство этим актом себя аннулировало. Его образование состоялось разве только для того, чтобы удовлетворить честолюбие Кроля и прочих министров вновь зародившегося правительства. Однако была и некоторая цель, диктовавшая нам стремление к сепаратизму: получение голоса на Всероссийском съезде в Уфе для избрания единой всероссийской власти.

Омск был освобождён ранее Екатеринбурга чисто случайно. Это дало возможность сформироваться Сибирскому правительству в Омске, а не в Екатеринбурге. Подобное сожаление я высказываю потому, что Екатеринбург был центром заводского Урала и по качественному составу интеллигенции стоял гораздо выше. Нет сомнения, что Уральское правительство было сильнее Омского. Кто знает, возможно, результаты восстания белых были бы совсем иные, если бы власть принадлежала лицам, вошедшим в правительство Урала.

Премьер-министром и министром торговли и промышленности составом думы и Культурно-экономического общества был выбран общий любимец буржуазии и интеллигенции — Павел Васильевич Иванов. Министром юстиции — Николай Николаевич Глассон, товарищ председателя местного окружного суда, великолепный юрист и прекрасный человек. Инженер Гут стал горным министром. Анастасиев — министром

народного просвещения. Кроль взял себе портфель министра финансов (хорошо, что без финансов). Этого выбора я никак не мог понять, ибо и финансов-то у правительства не было. Да и Кроль по своим способностям, скорее, должен был взять себе портфель министра иностранных дел, что выглядело бы ещё смешнее: до иностранных государств хоть тридцать лет скачи, а не доскачешь. Было время интервенции. Одни чехи чего стоили. Помимо этого, как грибы росли всевозможные правительства. Рядом с нами оказались правительства калмыков, башкир, Оренбургское, Самарское и целых два Сибирских. Поэтому обойтись без министра иностранных дел было никак нельзя. Впрочем, Кроль и исполнял его обязанности, представляя наше правительство на Уфимском съезде и ведя переговоры в Омске. Пребывание Кроля в Омске только усиливало возраставший антагонизм между Омским и областным Уральским правительствами.

Екатеринбуржцы, особенно правые и военные, отрицательно относились к нашему новорождённому правительству, всячески подсмеиваясь над ним, и называли его «Шарташским» (по имени дачного местечка). Особенно раздражало военных присутствие еврея Кроля. Обычно, указывая на него, все спрашивали: «К чему нам этот министр финансов без финансов, да ещё с двумя товарищами министра? Это только извод наших денег».

Я дал себе слово стоять подальше от политики, но всё же старался примирить общество с создавшимся положением, указывая на цель и временность существования Уральского правительства. Но правые не унимались. Как я узнал позже, представители общества отправили депутацию к главе правительства с требованием смещения Кроля и назначения меня на его должность. Нельзя сказать, что это требование было для меня приятно, ибо на должность министра финансов без финансов я бы не пошёл. А отношения с Кролем стали натянутыми.

Как раз в самый разгар переговоров по этим вопросам я получил телеграмму от управляющего нашим Самарским отделением Рожковского с приглашением приехать и принять участие в работе съезда по образованию дирекций, без которых, из-за отсутствия связи между отделениями, работать банкам было нельзя. Я передал содержание телеграммы коллегам по Банковскому комитету, но те не сочли нужным участвовать в съезде, и поэтому я отправился на съезд один. Жена заявила, что поедет со мной, дети тоже. Действительно, время было тревожное. Легко могло случиться, что Екатеринбург окажется отрезанным красными войсками от Самары, и тогда пришлось бы

расстаться с семьёй, — быть может, навсегда.

К моему большому удовольствию, Толюше как добровольцу вместо отпуска дали командировку в Симбирск, и он вместе с Борей Имшенецким присоединился к нам.

Я обещал семье, что если Волга будет очищена от красных и пароходное сообщение будет восстановлено, то отпущу их в Симбирск и по окончании съезда сам приеду за ними.

Однако уже на вокзале в Екатеринбурге выяснилось, что поездка будет далеко не комфортабельной, ибо все классные вагоны предоставлены чешскому командованию, а для русских граждан отводятся лишь грязные теплушки.

— Ехать ли вам? — спрашивал я. — Это путешествие в теплушках без уборных будет очень тяжело, особенно дамам. Оставайтесь-ка лучше в Екатеринбурге.

— Ни за что на свете мы не оставим тебя одного, — отвечала жена.

Слава Богу, в Челябинске мне удалось получить у коменданта станции купе второго класса, и то только потому, что у меня в бумажнике оказался документ, удостоверявший, что я состою членом Чешско-Русской торгово-промышленной палаты.

Транспорт находился в полном расстрое. Поезда по расписанию не ходили и иногда часами стояли на маленьких станциях. Из окна вагона частенько виднелись сброшенные под откос исковерканные составы, а под Челябинском находилось огромное кладбище паровозов, требующих ремонта. С этих паровозов крали всё, что поценнее, особенно, конечно, медь. Большевизм сказывался и в обращении железнодорожной прислуги с пассажирами. Да и чешское командование не отличалось вежливостью. Однажды под утро к нам в купе ворвался чешский солдат с криком: «Убирайтесь отсюда, сволочи! Как смели вы занять это купе?» Но и тут помог мой членский билет.

СЪЕЗД БАНКИРОВ

В Самару мы прибыли — с большим опозданием — ночью, которую мы предпочли скоротать на вокзале, ибо извозчиков не оказалось, да и лакей предупредил меня, что путешествие по городу в ночное время небезопасно.

На другой день, как только появились извозчики, мы отправились прямо в банк. Но здесь встреча с Рожковским ясно показала, что смерть моего благодетеля и покровителя А. Ф. Мухина внесла существенные изменения в наши отношения. По крайней мере меня не пригласили зайти в квартиру Рожковского, а был лишь указан адрес загородного дома лечебницы Постникова, снятой под съезд.

Снятое помещение выглядело удобным, но следы советской власти сказались на его чистоте. Нам отвели две небольшие комнаты с очень бедной обстановкой. Заведующего помещением и столовой не оказалось, всюду царил беспорядок, и нам долго пришлось ожидать завтрака.

Встреча с коллегами, за исключением старика Ивана Петровича Домаскина, которого я раньше знал только понаслышке, была подчёркнуто холодной. Но тем не менее он оказался очень милым и любезным собеседником.

На другой день состоялось первое заседание съезда. Собралось около семидесяти человек. В президиум был выбран весь самарский Банковский комитет во главе с его председателем Рожковским.

Засим мы разбились на комиссии. Меня избрали председателем Комиссии по финансово-экономической политике, и я был этому сердечно рад. С самого начала войны я очень интересовался судьбой нашего кредитного рубля. Разыскивая источники по этому вопросу, я довольно основательно познакомился с ними.

Началась интересная, но тяжёлая работа. К сожалению, все комиссии посещались очень плохо, за исключением Комиссии по личному составу под председательством Де Сево, управляющего Самарским отделением Русско-Азиатского банка. Каждое её заседание, в сущности, превращалось в пленарное заседание съезда. Решительно все были заняты тем, как бы побольше урвать себе жалованья, совершенно не соотнося это с источниками получения доходов.

Это заставило меня обратиться к моим коллегам по Волжско-Камскому банку. Заручившись их согласием, я выступил на пленарном заседании с заявлением, что мы сами себе повышать

жалованье не можем. Это дело или правлений, или в крайнем случае тех дирекций, которые мы должны здесь выбрать.

Поднялся невообразимый шум. Выступали ораторы, требующие исключения представителей Волжско-Камского банка со съезда.

Но исключить не посмели, и делегаты постепенно умолкли. Наконец были выбраны члены во временные дирекции банков, с возложением на них функций правлений. В нашу дирекцию были избраны Рожковский, Домаскин и Лемке (что мне объяснили относительной близостью их отделений к Самаре). Таким образом, я, имеющий наибольшие права на должность члена дирекции, оказался в подчинении у более младших по службе коллег, Рожковского и Лемке, но не протестовал. Однако из-за неявки на съезд управляющих Иркутским и Омским отделениями мои коллеги поняли, что новая дирекция не будет приемлема многими управляющими большими отделениями. Отделения эти должны были войти после присоединения Урала к Омскому правительству — в общую организацию банков. Поэтому было предложено составить, как высший орган управления, временный совет банка, в который автоматически включались бы все управляющие отделениями. На председателя этого совета были бы возложены обязанности высшего арбитра между управляющими и временной дирекцией.

Я предложил избрать на должность единственного члена совета нашего банка, находившегося на территории Омского правительства, — В. А. Поклевского-Козелла. Но коллеги отклонили эту кандидатуру, ссылаясь на его плохое знакомство с банковским делом, и единогласно выбрали меня. Избранием я был очень польщён. Произошло оно в конце съезда после ряда моих докладов по финансово-экономическим вопросам, имевших огромный успех.

Мои доклады сводились к следующим тезисам.

Начав с изложения истории денежного дела в России, хорошо мне знакомой и сразу заинтересовавшей съезд, я перешёл к решению основной задачи момента.

— Нужно или не нужно объединённому белому правительству печатать свои денежные знаки? Предположим, что мы отвергнем это предложение и поведём войну на те дензнаки, что находятся в кладовых всех банков на нашей территории.

Я лично думаю, что гражданская война затянется на многие месяцы. Сужу по опыту германской войны. Может быть, через год или два мы окажемся победителями и изгоним большевиков из Москвы. Однако печатный станок всё время будет находиться у них в руках. Большевики не ведут интенсивного денежного

хозяйства, чтобы удержать кредитный рубль от падения своей стоимости. Они стараются извлечь из этой бумажки всё, что она может им дать, ведя её к обесцениванию. Поэтому через какой-нибудь год на душу советского населения придётся тысяч по сто кредитных рублей.

Не имея печатных станков, мы вынуждены будем всячески экономить, и, когда завоюем Москву, на душу победителей вряд ли придётся по тысяче рублей. Кто же окажется в выигрыше — победители или побеждённые? Отсюда вывод: нужно как можно скорее приступить к выпуску собственных денег, в течение первого месяца сделать обмен всех дензнаков рубль на рубль, а после этого принять прежние дензнаки по определённому курсу.

Приступив к печатанию собственных денег, его следует ограничить законом, который принято называть эмиссионным правом. Следовательно, нам нужно учредить единый Государственный банк и это эмиссионное право выработать. И я рекомендую съезду остановиться на следующем временном эмиссионном праве.

У нас, как говорят, есть золота и серебра, доставленного в Омск из Казани, на шестьсот миллионов золотых рублей. Эта сумма и должна составить основу обеспечения новых денежных знаков.

Старые рубли также следует присоединить к фонду обеспечения и периодически переоценивать по курсу дня, а новые деньги выпускать без размена на драгоценные металлы. А чтобы количество новых денежных знаков не превышало стоимость их обеспечения, надо будет установить курс в сопоставлении с ценами на продукты первой необходимости.

В настоящий момент цена кредитного рубля не превышает двадцати золотых копеек. Тогда стоимость золотого запаса составит не шестьсот миллионов, а три миллиарда кредитных рублей, то есть в пять раз больше золотого номинала. Кредиток старого образца по номиналу мы будем иметь на два миллиарда рублей. Их курсовая стоимость будет в пять раз меньше и выразится в четырёхстах миллионах золотых рублей, что в данный момент балансируется с двумя миллиардами выпущенных против них новых купюр. Против золота можно было бы выпустить три миллиарда кредитных рублей.

Несомненно, что стоимость нового рубля снизится на товарном рынке до десяти копеек. Тогда под золотое обеспечение можно будет выпустить ещё три миллиарда рублей. Но вот царские деньги, «зелёные» рубли и керенки в своём падении обгонят наши и, допустим, станут оцениваться в пять копеек за рубль. Придётся оценить их запас в сто миллионов золотых

рублей, а стало быть, можно выпустить ещё один миллиард. Тогда общая сумма эмиссии ограничится семью миллиардами.

Когда же закончится гражданская война и мы будем в Москве, министру финансов легко будет произвести деноминацию в расчёте 17,424 доли золота на один рубль, выдавая рубль за десять, а может, и двадцать рублей Сибирского прави-тельства. Тогда восстановится и размен кредиток на золото. Но до этого времени расценка и товаров, и труда должна идти на прежний золотой рубль, а расплата — на кредитный рубль по курсу дня. Эта мысль не нова и принадлежит не мне: она применялась нашими дедами и прадедами после войны двенадцатого года и принесла прекрасные результаты. Тогда падение курса ассигнаций приостановилось. Вот если бы этот проект был проведён в жизнь, то и нам стало бы чем платить служащим. Пришлось бы не прибавить, а убавить довоенное жалованье младшим служащим процентов на двадцать, а старшим, быть может, и на сорок и по этим ставкам платить кредитными в пять раз больше. Это убавление жалованья необходимо, ибо мы за войну не разбогатели, а обеднели и прежняя, спокойная и сытая, жизнь отошла назад.

К сожалению, из всего многолюдного состава съезда только два или три человека слабо разбирались в вопросе. Поэтому оппонентом был приглашён профессор финансового права Казанского университета Будде. Но и он не внёс существенных поправок в мои доклады.

Несмотря на большой интерес всего съезда к моим выступлениям, собиравшим полный зал слушателей, члены моей комиссии отсутствовали, отговариваясь незнанием дела, и мне, в конце концов, пришлось работать одному.

Чрезвычайным событием на съезде был приезд члена правления Русско-Азиатского банка по фамилии Барбье. Переодевшись в платье крестьянина, он пробрался через линию фронта. Приветствуемый дружными аплодисментами, Барбье выступил с докладом, в коем настаивал на том, чтобы съезд вынес постановление о желательности открытия на территориях, занятых белыми войсками, французских банков, которые и регулировали бы финансы нового правительства наподобие немецких банков в советской России.

Съезд обещал обсудить этот вопрос, но к ходатайству не присоединился. Я восстал против этого решения, фактически отдающего не только все русские банки, но и всю Россию под власть Франции.

— Господа, — говорил я, — если советская Россия склонила свои знамена перед победителями, то мы пока не пленены

союзниками, мы не побеждены, а сражаемся за нашу самостоятельность, за нашу свободу. Я не знаю, что будет лучше: продать Россию союзникам или заключить мир с коммунистами…

Такие выступления против предложения Барбье поссорили меня с представителями Русско-Азиатского банка, кои до конца беженства мне сильно вредили.

Съезд подходил к концу. Истек почти месяц со дня отъезда родных в Симбирск, откуда последние дни я не получал ни писем, ни ответов на телеграммы, вызывающие семью в Самару. А между тем известия с фронта приходили печальные.

Казань была отбита красными. Сызрань тоже находилась под ударом, и не было сомнения, что и Симбирск будет занят красными войсками. Я страшно волновался и не знал, что предпринять. Ехать ли самому в Симбирск, дабы соединиться с семьей, или поджидать её в Самаре?

В последнее воскресенье я отправился пешком через сады и дачи на Волгу. Какой красавицей показалась мне знакомая с детства река! Но и на ней отразилась гражданская война. Не было видно ни барж, ни плотов, ни пароходов. Река была почти мёртвой. Я просидел часа два на самом берегу, а потом, сняв сапоги, вошёл в воду и напился жёлтой мутной водицы. Что-то подсказывало мне долгую разлуку с кормилицей рекой. Память рисовала мне картины счастливого прошлого, ведь почти вся жизнь моя прошла на её берегах.

Вернувшись к обеду в помещение, где проходил съезд, я застал коллег чрезвычайно взволнованными. Оказалось, что ночью в нашем саду был найден большой склад оружия, зарытого красными.

Правительство Самары в то время состояло в большинстве из левых, ибо здесь собрался так называемый Комуч, т. е. бывшие члены разогнанного Учредительного Собрания. Политическое положение сложилось таким, что каждый день можно было ожидать восстания коммунистов, проникавших в Самару под видом рабочих. Само собой разумеется, такой состав Самарского правительства сильно сказался на отношении к съезду банкиров. Конечно, правительство нас только терпело и так же, как коммунисты, именовало нас «прихвостнями капитализма». Никто из членов правительства не явился с приветствием на съезд. Не побывал у нас и местный министр финансов. И не он один. Даже управляю-щий Государственным банком Ершов не счёл нужным посетить наш съезд. Из министров бывал лишь министр путей сообщения Белов, да и то потому, что хлопотал о займе для постройки ветки железной дороги, необходимой в стратегическом отношении, да ещё потому, что приходился родственником жене

Рожковского и даже жил в его квартире. Единственный, кто приветствовал нас, — это депутат от местной биржи Неклюдов.

Наконец вернулась из Симбирска моя семья, и я вздохнул свободнее. Они еле-еле выбрались из города и нашли место на пароходе лишь потому, что на пристани оказался наш бывший повар Пётр. Он не только посадил их на пароход, но даже отвёл им каюту.

Надо было торопиться с отъездом, благо министр путей сообщения Белов обещал дать нам комфортабельный классный вагон.

Напоследок мы успели устроить отвальный обед, прошедший весело. Говорились тосты, в числе коих выделялись речи бывшего моего сослуживца талантливого оратора и поэта Александра Фёдоровича Циммермана.

Выпили и за моё здоровье, поблагодарив за большую работу, проделанную на съезде.

Незадолго до отъезда моя семья, осматривая Самару, столкнулась на улице с бывшим комиссаром Екатеринбургского отделения офицером Бойцовым. Сын мой не пожал его протянутую руку. В тот же день я получил от Бойцова письмо, в коем он умолял не выдавать его, ибо по убеждению он никогда коммунистом не был. Как доказательство он приводил свое деятельное участие в казанском восстании против коммунистов.

В льстивых выражениях он восхвалял меня как прямого, честного и храброго человека, не боявшегося выступить против коммунистов в Екатеринбурге.

Что было делать? Идти к коменданту с письмом и просить арестовать негодяя?

В сущности, я не мог утверждать, был ли Бойцов коммунистом. Но определенно мог сказать, что он, как я узнал при восстановлении банков в Екатеринбурге, был большим негодяем, бравшим взятки с владельцев сейфов за незаконную выдачу их ценностей. Впрочем, можно ли было в то время за такие действия причислять человека к негодяям? Ведь он, как-никак, многим лицам, правда, за мзду, но спас состояние, выдавая ценности, отобранные коммунистами. Так перепутались все понятия, что я, разорвав письмо Бойцова, решил предать дело забвению.

На съезде я особенно обрадовался встрече с Михаилом Михайловичем Головкиным, тогда ещё управляющим Внешним банком в Симбирске. И он был обрадован, увидев меня. Но, Боже мой, как он изменился, как опустился и постарел! Оказывается, он женился на сестре моего бывшего конторщика Котельникова, очень хорошенькой барышне. Вскоре после свадьбы с ним

случился лёгкий удар. Он приехал с молодой женой, за которой сильно ухаживали многие члены съезда. Михаил Михайлович напомнил мне Платона Платоновича из «Горя от ума»: его внимательно опекала молодая супруга, не позволяя ни пить, ни курить, ни волноваться. И он сидел на съезде молча, не принимая участия в комиссиях и пленарных выступлениях.

Наконец настал день, когда все сибиряки оказались на вокзале в ожидании обещанного комфортабельного вагона. Но пришлось занять места в довольно потрёпанном и грязном вагоне третьего класса. Так ослабла власть министра путей сообщения, парализованная распоряжениями чешского командования.

На соединительной с Бугульминской дорогой станции, выйдя на платформу, я увидал Леонида Ивановича Афанасьева. Он, взволнованный известиями о взятии Симбирска красными, возвращался со съезда землевладельцев, который проходил в Уфе одновременно со съездом, выбиравшим всероссийских правителей. Мы затащили Л. И. Афанасьева на минутку в наш вагон, но времени было мало, и мы, не успев толком поговорить, расстались.

Нельзя было сказать, что обратный путь из Самары в Екатеринбург был безопасен. За несколько дней до нашего проезда довольно значительная колонна красных войск, направляясь из Уральска на север, попортила полотно.

В Челябинске местные таможенные чины начали осматривать багаж. Это была новость, указывавшая на удобства сепаратизма Уральского правительства. Я вёз с собой корзину с яблоками: Екатеринбург был беден фруктами. Ока-зывается, на фрукты наложена пошлина. Я тут же при страже с зелёными кантами, раздал часть яблок пассажирам и таможенник успокоился только тогда, когда я преподнёс и ему пять штук.

Дорогой жена и дети рассказывали мне обо всём виденном и пережитом в Симбирске. Они остановились у наших добрых знакомых Цимбалиных, которые купили дом у Глассона. В этом столь знакомом нам доме никаких перемен не произошло. Да и в жизни Цимбалиных тоже не было заметно ничего нового. Но в симбирском обществе, особенно среди помещиков, случилось немало тяжёлого: полное разорение, многие убиты и растерзаны крестьянами. Особенно страшна была смерть старика Гельшерта. Его разорвали солдаты на станции Инза, так же как и Толстых в их имении. Перси Френч была посажена в тюрьму и отправлена в Москву. Покончила жизнь самоубийством Катя Мертваго, предварительно застрелив свою мать.

Многие из симбирского общества пропали без вести, другие, сильно нуждаясь в средствах, не брезговали работой. Так,

Надежда Павловна Королькова пекла пирожки и ходила на пристань их продавать. В бывшем магазине Юргенса, что находился в его доме, в коем родился Гончаров, был устроен ресторан, действовавший на очень оригинальных условиях. Там не было постоянного повара. Все работники, принадлежавшие в большинстве к симбирскому помещичьему обществу, приготовляя для дома, что-либо жарили, варили, пекли и для ресторана, куда и относили затем свои кулинарные произведения. Этим экономился и труд, и топливо. В большинстве случаев это были холодные закуски Конечно, каждая хозяйка изготовляла те блюда, которые ей особенно удавались, отчего подбор блюд был особенно вкусен и доступен по ценам Тут можно было найти вкусные пирожки, всевозможные салаты и бутерброды, холодный ростбиф и ветчину. Обслуживали барышни и дамы общества. Получая деньги за принесённые блюда, они кормили свои семьи Я не знаю наверное, кто был главным инициатором этой системы, но, думаю, здесь проявилась и инициатива, и могучая воля Леонида Ивановича Афанасьева. Конечно, многие дома были реквизированы красными. Зажиточных людей, особенно из купечества, посадили в тюрьму, но такого террора, как в Екатеринбурге не было, хотя и произошли отдельные расстрелы. Расстреляли председателя суда Полякова и присяжного поверенного Малиновского. Последний, к счастью, оказался только раненным и, попав в больницу, выздоровел. Расстрелян был и Вася Арацков, бывший студент Казанского университета и фабрикант.

Эту сравнительную умеренность в терроре, пожалуй, можно объяснить присутствием среди коммунистов инженера Ксандрова. Он за многих заступался и даже спасал от верной смерти. Я когда-то встречался с ним у Курдюмова, в клубе на шахматном турнире. И однажды, помню, помешал ему пройти в Третью Государственную Думу, проведя вместо него Николая Алексеевича Вологина. Ксандров тогда поступил по-джентльменски: услышав фамилию рекомендованного мной кандидата, он снял свою кандидатуру.

Во время пребывания моей семьи в Симбирске вспыхнула эпидемия холеры. Молодёжь всё же набросилась на яблоки, что в изобилии созревали в цимбалинском саду, и Толюша захворал. Появилась рвота и спазмы в желудке. Он решил, что заболел холерой, и просил Цимбалина отправить его в холерный барак. К счастью, приём касторки и компрессы подействовали, и он поправился.

Получив с запозданием моё письмо и телеграмму, жена стала собираться в Самару, Но тут оказалось, что для выезда надо

получить разрешение коменданта. Она отправилась к нему в бывший великолепный особняк Шатрова, но ей отказали. Помогло вмешательство Фёдора Степановича Серебрякова.

В Челябинске нам вновь пришлось поместиться в теплушке. Ночь была холодная: мы все дрожали под пледами. Но поезд шёл без опоздания, с восходом солнца стало теплее, и часам к восьми мы были уже в Екатеринбурге.

За время нашего пребывания в Самаре мою квартиру в Екатеринбурге отремонтировали, и мы переехали из дома Захарова.

Однако всей квартирой воспользоваться не удалось, ибо две комнаты из восьми пришлось сдать Министерству снабжения под канцелярию, а зал, в котором проходили наши собрания, зачислить под Банковский комитет. Впоследствии пришлось одну комнату отдать судебному следователю по цар-ским делам Соколову, одну — полковнику Тюнегову и ещё одну задержать для ожидаемого Чемодурова.

В первый же день переезда Толюша нашёл в своей комнате на подоконнике, между рамами, образок святой Богородицы. Сам образок не представлял из себя никакой ценности, но на обороте имелась надпись, сделанная карандашом самой Императрицей Александрой Фёдоровной. Эта надпись гласила: «Ёлка. Тобольск. 1917 год. Господи, спаси и сохрани. *Александра*». Каким образом уцелел этот образок? Ведь квартира моя сначала была отдана под комитет устроения праздника в честь чешских войск, освободивших Екатеринбург. Здесь же во время празднования была устроена кофейная для чехов. Наконец после этого работали маляры, и никто не тронул деревянный образок.

Все царские вещи были сданы следователю, но образок я решил оставить у себя как образ явленный. Он и теперь находится у нас под киотом и хранит пока нашу семью.

Вскоре по приезде пришли вести о падении Симбирска, Сызрани и Самары. С пути я получил телеграмму от Рожковского с просьбой похлопотать о классном вагоне. Конечно, эту наивную просьбу я выполнить не мог.

А банки, несмотря на полное отсутствие средств ко дню их открытия и невозможность платить по старым текущим счетам, всё же привлекали в свои кассы деньги. Это постепенно позволило проводить активные операции.

Кажется, ещё до отъезда в Самару была введена караульная повинность. Она заключалась в том, что все граждане, способные носить оружие, распределялись по полицейским участкам и призывались по очереди нести ночные караулы. Получил и я с сыном такое приглашение. Мы явились в наш участок к девяти

часам вечера. Там собралось довольно много народу. Нас разбили на группы по пять человек и снабдили винтовками, но без патронов. Да если бы таковые и оказались, вряд ли можно было бы из оружия стрелять. Кажется, были испорчены замки. Толюшу назначили командиром группы, где я был рядовым, имея при себе, помимо винтовки, и собственный браунинг. Нам указали, какие именно кварталы должно обходить всю ночь, и мы тронулись в путь.

Никаких неприятелей, воров и убийц мы не встретили ни в первую, ни во вторую ночь. Мы бодро ходили по ули-цам солдатским шагом, но утомление быстро давало о себе знать. С разрешения нашего начальника отдыхали на том или другом участке на крылечке какого-нибудь дома. Под утро стало совсем тяжело. Так пришлось продежурить две ночи, а затем присылка повесток прекратилась, очевидно, из-за отмены постановления.

Помимо этой натуральной повинности, была возложена и другая. От коменданта чешского лазарета я получил в письменной форме приказ ежедневно поставлять одну лошадь с кучером и пролёткой. В то время из четырёх лошадей у меня осталась одна престарелая чистокровная кобыла Полканка и одна пролётка. Я проехал к коменданту лазарета и попросил просто реквизировать и лошадь, и пролётку, и кучера, так как при всём желании быть полезным лазарету не могу. Лошадь стара и не выдержит ежедневной гонки, да и пролётка требует ремонта, а платить кучеру жалованье, не имея от него услуг, несладко. Комендант сконфузился и сказал, что считает письмо ошибочным, и отменил своё решение.

Была попытка реквизировать мою пролётку каким-то русским генералом, которому потребовался экипаж для разъездов по городу. Он пришёл в банк в Екатеринбурге во время моего пребывания в Омске и потребовал осмотра пролётки. Но таковая за ветхостью Его Превосходительству не понравилась.

Наконец, пытались занять и мою только что отремонтированную квартиру. По этому поводу мне была прислана телеграмма в Самару.

Тогда съезд заступился за меня, обратившись к нашему правительству с просьбой не занимать помещений, принадлежащих банкам. Просьба была уважена. Я тоже просил правительство оставить мне квартиру, так как из шести управляющих банками только я один выселялся большевиками.

По возвращении со съезда из восьми комнат я оставил себе четыре, включая и зал, в коем проходили заседания Банковского комитета. Остальные послушный закону об уплотнении квартир — сдал. Как-то раз пришлось принять у себя и кормить одного

французского полковника, ибо и для такого гостя не нашлось подходящего помещения. Полковник был очень удивлён, когда моя жена отказалась принять плату за проведённые у нас пять дней. Он полагал, что находится в меблированных комнатах, предъявляя без стеснений разные требования.

ПРИБЫТИЕ В ОМСК

Наш поезд был совершенно отдельным: он состоял всего из одного вагона первого класса, одного товарного и локомотива. В те времена такие поезда были особенно в моде.

Несмотря на экстренный поезд, мы прибыли в Омск против мирного времени с запозданием ровно на сутки. Хозяин поезда Сергей Семёнович Постников, главноуполномоченный Омского правительства по управлению Уралом, был очаровательно мил и своего начальнического права не использовал. Себе он оставил только одно купе на четыре места. Все же остальные купе были предоставлены знакомым Его Превосходительства, как величали Постникова.

Приехали мы рано утром. Со станции Куломзино часа через три наш поезд передали в Омск, на большую площадь — что против огромного здания железнодорожного управления, — всю сплошь изрезанную рельсовыми путями и заставленную вагонами первого и второго классов, в которых месяцами жили люди. Некоторые, особенно интервенты, владели целыми поездами в несколько вагонов. Глядя на такое скопление подвижного состава, нельзя было не воскликнуть: «Так вот одна из причин нехватки классных вагонов и паровозов!» Действительно, по Оби плывёт масса леса, да и в Омске на складах лежит много строевого материала, чтобы приступить к постройке двухэтажных деревянных с коридорной системой корпусов. Ведь корпусами в три-четыре месяца можно было бы застроить большую площадь.

Наконец после довольно долгого пути я подъехал к банку на извозчике.

Впечатление от города неважное, кроме торгового центра, что расположен за мостом, перекинутым через разделяющую город реку. Теперь я забыл название главной улицы, но она произвела на меня хорошее впечатление.

Уплатив извозчику три рубля, я зашёл в наш банк. Бухгалтер Митрофанов сорвался с места и побежал навстречу. Зайдя в кабинет управляющего Ветрова, я застал более чем любезный приём от красивого, лет сорока, курчавого брюнета с несколько раскосыми глазами.

Через небольшой промежуток времени приехал и Викентий Альфонсович Поклевский-Козелл, и хозяин отделения по-тащил нас к себе на рюмку водки. (Винная монополия — новость для нас, екатеринбуржцев. Мы о ней знали только понаслышке. В Екатеринбурге как в прифронтовой полосе продажа вин и водки запрещалась.)

Мы завтракали, как все русские люди, довольно долго, ведя переговоры по разным деловым вопросам.

А в банке нас уже нетерпеливо дожидались для заседания дирекции Станислав Иосифович Рожковский и Николай Оттович Лемке.

Первое заседание оставило неблагоприятное впечатление. В сущности, оно было посвящено вопросам, сводящимся к рассмотрению всевозможных просьб о пособиях на дороговизну или на возмещение убытков, связанных с эвакуацией отделений. Ведь уже тогда были эвакуированы Самарское, Симбирское, Казанское и Сызранское отделения. Ожидалось падение Оренбурга и Уфы. И работали только Екатеринбург, Омск, Семипалатинск, Курган и Иркутск. Работа же этих отделений тоже сводилась к убыткам. Учитывая векселя даже из десяти процентов, в банки возвратилось то же количество рублей, но уже сильно обесцененных. Становилось ясным, что обычная работа банков вестись не может. Оставался единственный путь к существованию — спекуляция, т. е. покупка товаров за собственный счёт. Но как это сделать? Как приспособить к рынку наш аппарат, в сущности, в прошлом совершенно оторванный от товарного рынка, и направить его по новому руслу? На этот сложный вопрос дало ответ, как часто бывает, само время.

На другой день по всему Омску разнеслась весть о моём приезде. Когда я явился в ресторан «Россия», дабы пообедать в сопровождении коллег по дирекции, ко мне то и дело подходили беженцы из Симбирска. В Омске их было очень много. Всех их я хорошо знал по прежней многолетней службе. Знал их и как людей, и как капиталистов, и моя встреча с ними здесь носила самый дружеский характер. Не успел я заказать обед как меня потащили в отдельный кабинет, и я с моими сослуживцами попал в полное распоряжение таких мастеров закусить и выпить, каковыми были Михаил Дмитриевич Кузьмичёв, Михаил Петрович Мельников, братья Першины, Энгельман, самарский миллионер Сурошников, Григорий Андреевич Кузнецов и пензенские лесопромышленники Карповы.

Пошла закусочка, затем великолепный обед, ненароком появилось и шампанское. Начались тосты. Вспоминалось прошлое, которое в то время ещё не казалось невозвратным и разговор вертелся вокруг вопроса, когда же нас пустят обратно в Симбирск, на Волгу, к своим имениям, домам, фабрикам и торговым делам?

Большинство присутствующих было довольно, что попало в Омск.

— Да нет, Владимир Петрович, мил человек! — восклицал

Кузьмичёв. — Да ведь разве я когда-либо по собственному желанию смог бы попасть сюда, в Сибирь? Как же, держи карман! Сибирь в наших глазах как была, так и осталась Сибирью. А теперь, нате вам, в Омске заседаем. Вот она, Сибирь необъятная… Богатство-то какое… Ведь мы этого и вообразить себе не могли. А теперь, вернувшись домой, мы с этой Сибирью во какие дела делать будем.

Прибежал и милый Владимир Александрович Варламов. Вошли поздороваться в кабинет Михаил Фёдорович Беляков, предводитель симбирского дворянства, и симбирский городской голова Леонид Иванович Афанасьев.

Не скрою, что приём, оказанный симбирцами, был мне весьма приятен, а обстоятельство, что всё происходило на глазах Поклевского-Козелла, моего начальника, и сослуживцев по дирекции, делало его для меня ценным вдвойне.

За русской водочкой само собой напросилось дело, которое могло бы спасти наш банк от неминуемого краха и обогатить сидящих в кабинете, если бы только адмиралу Колчаку суждено было закончить победой над красными, в чём мы в то время совершенно не сомневались.

Кузьмичёв начал просить меня поддержать симбирских беженцев кредитом.

— Вы знаете нас всех с детства, знаете, что каждый из нас имеет, знаете нас как честных и деловых людей. Поддержите же нас до весны, а весной, придя домой, мы вам всё сторицей вернём. А так как каждый из нас в отдельности представляет здесь только жалкую былинку, то мы решили объединиться и образовать акционерное Волжское товарищество.

— Эта мысль. — ответил я, — мне очень улыбается. Однако, давая слово оказать возможную поддержку вашему делу, если на то последует согласие дирекции, я хочу заранее огово-риться. Дав сравнительно небольшой капитал на образование основного фонда вашего товарищества под векселя, в дальнейшем мы будем с вами работать, но на видоизменённых условиях, то есть не на проценте, а с участием банка в прибылях.

Не очень-то понравилась такая мысль этим деловым людям, но обоюдное согласие всё же было достигнуто. В этот приезд пришлось отдать много времени организации Волжского товарищества.

На другой день я отправился представляться министру финансов Омского правительства Ивану Андриановичу Михайлову.

Министерство занимало огромную площадь верхнего этажа торговых рядов, фундаментальные стены обширного здания

служили лишь каркасом для огромного количества кабинетов всевозможных начальствующих лиц. Кабинеты были разделены тонкими деревянными перегородками. Проходя по коридорам, мы то и дело читали надписи: «Кабинет господина Министра финансов», «Кабинет Директора Кредитной канцелярии», «Кабинет товарища министра», «Кабинет начальника неокладных сборов» и т. д.

Министр не заставил себя долго ждать и сразу принял Олесова и меня.

Моложавость министра портила впечатление и волей-неволей умаляла значение деловых переговоров.

После нескольких слов приветствия Михайлов сказал Олесову, что должен переговорить со мной наедине.

Это было очень неприятно для Олесова, и я в первый раз видел старика столь расстроенным, о чём свидетельствовал пунцовый цвет его лица.

Когда мы остались наедине, министр обратился ко мне со следующими словами:

— Я очень рад поближе познакомиться с вами. Много о вас слышал, особенно про доклады на самарском съезде. Читал и изданную вами брошюру «Наши финансы и путь к их исправлению» и во многом согласен. Я, конечно, сознаю всю необходимость финансовых реформ и желал бы видеть вас своим ближайшим сотрудником. Посему предлагаю занять вам место управляющего всеми отделениями Государственного банка или директора Кредитной канцелярии. Это место пока занято Скороходовым, но мы с ним скоро расстанемся.

Разумеется, я был польщён сделанным предложением, однако вынужден был отказаться.

— Но почему?

— Иван Андрианович, не сочтите мой отказ за ломание. Я премного благодарен за лестное обо мне мнение и, конечно, с радостью бы согласился. Но сделать этого не могу. Всю жизнь прослужив в Волжско-Камском банке, я не могу его бросить на произвол судьбы в столь тяжёлое время.

— Да я и не настаиваю на том, чтобы вы бросили ваш банк. Я разрешу вам совмещать эти должности.

— Ваше высокопревосходительство, они несовместны…

— Да почему?

— Как могу я управлять всеми отделениями Государственного банка и в то же время быть управляющим Екатеринбургским отделением нашего банка? Ещё возможно было бы, отказавшись от Екатеринбурга и оставшись членом дирекции нашего банка, принять должность директора Кредитной

канцелярии, поселившись в Омске. Но дело в том, что директору Кредитной канцелярии всегда были подчинены все банки, а потому такое совместительство вызовет с их стороны ропот.

— Да, это верно, но всё же прошу вашего согласия.

— В таком случае самой подходящей была бы для меня должность члена совета министра финансов с условием, чтобы я мог продолжать жить в Екатеринбурге и приезжал бы сюда для обсуждения интересующих нас вопросов. При этом я отказываюсь от причитающегося мне жалованья, а стану получать на расходы по проезду и пребыванию здесь.

— Отлично. Буду иметь в виду ваше пожелание и приведу его в исполнение, как только приступлю к учреждению совета.

Мы расстались полными друзьями, и я чувствовал себя на седьмом небе.

Мой отказ от места управляющего Государственным банком позволял решить вопрос о назначении на этот пост С. И. Рожковского.

Моё назначение было принято сослуживцами с большой радостью. Не знаю, насколько поздравления коллег были искренни, но для меня они оказались чрезвычайно лестны.

Приятно с такими блестящими результатами возвращаться к себе домой в Екатеринбург. Как радостно я был встречен милой женой и детьми, которые, узнав, что моё назначение по занимаемой должности приравнивается к четвёртому классу и меня величают в официальных бумагах «Ваше Превосходительство», пришли в полный восторг.

МОЙ ЮБИЛЕЙ

Первого января 1919 года исполнилось двадцать пять лет со дня моего беспрерывного служения в Волжско-Камском коммерческом банке, и нужно было сделать кое-какие приготовления к этому знаменательному дню.

В сущности, все приготовления сводились к тому, чтобы достать необходимое количество спиртных напитков. Как я уже упоминал, в Екатеринбурге как в прифронтовой полосе продажа спиртных напитков была запрещена. Пришлось отправиться к чехам и после продолжительных объяснений получить у них разрешение на покупку двух вёдер пива. А спирт достал мой ближайший помощник Сергей Петрович Копьевский, большой любитель и мастер выпить.

Однако ни шампанского, ни вина добыть не удалось. Да признаться, и цена на вино была так высока, что даже для такого знаменательного дня я не мог решиться на столь большую затрату.

Одно было чрезвычайно обидно — праздновать юбилей приходилось, будучи оторванным от правления банка. Поэтому я не смог получить установленного нашим банком жетона за двадцатипятилетнюю службу.

Накануне торжества я позвал сына и сказал ему следующее:

— Ты знаешь, что в прежние времена из Москвы вывозилось больше вина, чем ввозилось?

— Да что ты, папа, как же это могло быть?

— А вот догадайся.

— Значит, там делали вино.

— Да, совершенно верно Там фальсифицировали в основном красное вино, и думаю, что главной составляющей была черника. А ну-ка, Толюша, давай попробуем устроить к завтрашнему дню глинтвейн.

Мой Толюшка живо вернулся из аптеки с черникой, гвоздикой и корицей и через час притащил ко мне стаканчик глинтвейна. Разница с красным вином была значительная, но напиток, который можно было назвать жидким кисельком со спиртом, был настолько недурён, что мы решили приготовить его уже в большом количестве.

Настало и завтра. В десять часов я спустился в банк, где после молебствия, отслуженного соборным протоиереем, меня приветствовали подношением адреса все служащие отделения а члены Учётного комитета во главе с Павлом Васильевичем Ивановым — речью и вручением серебряной братины. В силу

оторванности от столиц выбор подарков был скуден, и братина совершенно не подходила к случаю, ибо представляла собой приз для конских бегов с изображением коня и всадника.

Пришла телеграмма от Поклевского-Козелла. Старик огорчил меня тем, что не приехал на моё торжество.

Вечер удался на славу. Были приглашены все служащие отделения, члены Учётного комитета и кое-кто из знакомых. Собралось человек тридцать пять сорок. Ужин был хорош по времени, но несравним с прежними торжествами. Нельзя было достать фазанов, отсутствовала и волжская стерлядка, и икра. За ужином подали «знаменитый» глинтвейн. Все с наслаждением его пили, похваливая вино, и только один Сергей Фёдорович Злоказов, нагнувшись над моим ухом, потихоньку спросил:

— Из чего, собственно, состоит эта гадость?

Начались, как водится, поздравительные тосты. Выслушав их, я подошёл к концу стола и попросил слова.

— Я должен предупредить вас, господа, что хочу занять у вас много времени и внимания. Надеюсь, как юбиляр я заслужил это право.

— Просим, просим! — послышались возгласы.

— Прошло четверть века, как я совсем молодым человеком переступил порог нашего банка Как томительно долго шли эти годы и как они коротки! Помнишь всё, как будто происходило это всего несколько месяцев тому назад.

И речь моя полилась про старину, про бывших моих начальников, про губернаторов тех городов, где довелось служить, и, наконец, про встреченных на жизненном пути интересных людей… Я говорил, и мои рассказы не только не были скучными, но часто прерывались бурными аплодисментами, во время коих я обходил гостей с чарочкой вина.

— Да, всё это было и быльём поросло, а смахивает как бы на сказку, приговаривал я по окончании каждого эпизода.

Бодрое, хорошее настроение в день моего юбилея в значительной мере поддерживалось крупным успехом на фронте. После некоторых неудач наши войска под командованием молодого генерала Пепеляева наконец-то сломили сопротивление красных и взяли Пермь. Екатеринбург переставал быть в черте прифронтовой полосы, что могло разгрузить город от излишних войск, из-за которых жители терпели значительные стеснения в жилье.

Вскоре после юбилея мне пришлось снова ехать в Омск, куда меня призвали дела не только нашего банка, но и государственной важности. Предстоял доклад министру по вопросу денежной реформы, над решением коего я много работал

последнее время.

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

В то время адмирал Колчак получил признание генерала Деникина, и, таким образом, Омское правительство стало единым правительством России. Посему каждый вопрос нужно было решать не только с точки зрения интересов Сибири, но с точки зрения общегосударственных интересов.

Вопрос о деньгах обладал общегосударственным значением, и денежную реформу нужно было проводить в общем масштабе.

Нужно ли было торопиться или можно было оставить решение этого вопроса до прихода белых в Москву?

Теперь, когда Омское правительство прекратило своё существование, каждый скажет, что действия были преждевременны. Но в то время они проводились со значительным опозданием.

В чём заключались дефекты денежного обращения? Помимо очень скверных по исполнению сибирских денег, на территории Омского правительства продолжали обращаться как дензнаки царского образца, так и «зелёные» рубли и керенки. Печатный станок находился в руках наших врагов, и количество царских и «зелёных» множилось. Если бы коммунисты печатали свои особые деньги так же, как и Омское правительство, то вопрос можно было бы разрешить просто, улучшив качество сибирских рублей и согласившись на параллельное хождение всех дензнаков, за исключением советских.

Уже в то время в ходу насчитывалось около девяноста миллиардов советских рублей, из коих керенок было около семидесяти миллиардов. И это керенок зарегистрированных. Но керенки в упрощённом порядке печатались в большом объёме. Говорили, что существуют передвижные фабрики, печатающие керенки в вагонах поездов, входящих в состав красных войск. Их назначение снабжать армию и агитаторов, переходивших линию фронта, дабы вести пропаганду по всей Сибири. Приходилось задумываться над следующим. Количество рублей на душу населения по ту сторону фронта к тому времени достигало приблизительно десяти тысяч, а по эту вряд ли превышало тысячу. Настанет конец войны, Москва будет взята, и в этот момент население Центральной России окажется во много раз богаче, чем жители окраин, прилагавшие усилия к сохранению ценности денег. А разница в ценности уже тогда была колоссальная. Особенно это сказалось при взятии Перми. Там стоимость пуда муки равнялась восьмидесяти рублям, тогда как у нас в Омске пуд муки отдавали за двадцать. Эта разница сейчас

же сказалась на стоимости нашего рубля, упавшего почти вдвое, что было заметно по ценам продуктов и золота в слитках. Пуд муки поднялся в цене до тридцати пяти рублей, золотник — с тридцати двух до пятидесяти рублей. Становилось очевидным, что нужно было либо насыщать денежный рынок нашими рублями в одинаковых размерах с советскими, либо совершенно оградить себя от поступления советских рублей и керенок. Однако объявить керенки ничтожными было нельзя. Это вызвало бы недовольство населения, владеющего керенками, и следовало рекомендовать их обмен на сибирские дензнаки сперва рубль на рубль, а затем периодически понижать курсовую стоимость советских денег, продолжая обмен до полной аннуляции. Параллельно с этой реформой я предлагал ввести принудительный заём в половинном размере к вымененным деньгам, т. е. выдавать, скажем, против ста керенок пятьдесят рублей сибирскими и пятьдесят — займом. Заём представлял бы собой лист с двадцатью купонами, оплачиваемый каждый год по купону. Иначе говоря, это превращалось бы в рассрочку платежа на двадцать лет без уплаты процентов.

Мой проект с некоторым изменением его первой части был поддержан министром финансов И. А. Михайловым. Михайлов остановился только на размене керенок и совершенно отверг идею принудительного займа — главным образом по технической невозможности быстро изготовить купонные листы.

РЕВИЗИЯ

Помимо этого большого дела, связанного с многократными публичными выступлениями, мне предстояла немалая работа по ревизии Омского отделения банка. Я получил письмо от Рожковского и Лемке с просьбой принять на себя этот труд. Оба намекали на то, что в Омском отделении не всё благополучно. Я не мог отказаться от этой тяжелой обязанности, но, дав согласие, поставил условие одновременно провести ревизию Екатеринбургского отделения. Этот труд взял на себя вновь назначенный инспектор банка Полоскин.

Ветров совершенно не ожидал, что я буду его ревизовать, и настойчиво приглашал меня и Поклевского позавтракать. Поклевский согласился, пришлось пойти и мне.

Я торопился с завтраком, и Ветров спросил у меня, почему я так тороплюсь.

— Да потому, — ответил я, — что в два часа должен начать ревизию отделения.

— То есть как?

— Точно так, как её производили инспектора.

— Почему же, скажите мне, начали с меня, а не с Екатеринбурга?

— А с этим вопросом обратитесь в дирекцию. Она поручила мне обревизовать ваше отделение, что я и сделаю.

— Я считаю это совершенно излишним.

— Это ваше дело. Одно лишь могу сказать: я чрезвычайно удивлён таким разговором и должен буду, если вы его не прекратите, зафиксировать ваш протест в протоколе.

— А, теперь я всё понимаю. Значит, по просьбе Рожковского и Лемке вы желаете меня съесть.

— Вы, господин Ветров, вероятно, сами не понимаете, что говорите.

И я отправился в кассу, где занял место за столом кассира.

Скучная это вещь — заниматься ревизией банка…

Много раз за двадцать пять лет службы меня ревизовали инспектора, ещё больше раз ревизовал я кассира отделения, но ревизовать чужое отделение мне приходилось в первый раз. Разница в положении заключалась в том, что при домашней ревизии знаешь дело и приходится только смотреть, целы ли ценности и документы. Тут же приходилось входить в рассмотрение каждой сделки по существу, особенно после странного поведения Ветрова и намёков Лемке и Рожковского.

Больше недели продолжалась ревизия, в результате которой

выяснилось полное незнание Ветровым постановки товарной операции. А между тем именно он считался у нас в правлении товарником. Не было ни одной сделки, которую кредитор не мог бы оспорить, но никаких хищений обнаружено не было.

Ветров с каждым днём всё больше смирялся с положением ревизуемого и, совсем переменив тон, просил указаний и советов, как исправить ту или иную допущенную ошибку. Очевидно, он не предполагал, что из полученного письма управляющего Иркутским отделением мне известна история получения им одного миллиона рублей. Он отлично понимал, что найти следы исчезновения этого миллиона из-за отсутствия счёта я не мог.

Завершив ревизию кассы и составив протокол, я созвал дирекцию и, призвав Ветрова, заявил, что проверка закончена. Указания на допущенные ошибки я зафиксировал в протоколе. И тут же обратился к Ветрову с просьбой осветить во всех подробностях историю получения им из Иркутска одного миллиона рублей.

Ветров побледнел, как полотно, и очень взволнованно рассказал нам следующее. Он решил воспользоваться тем временем, когда собирался съезд управляющих банками в Самаре, и отправиться в Иркутск. Он не ожидал застать Ермакова, уехавшего на съезд. Состоя директором-распорядителем Омского торгового товарищества, Ветров обещал учесть ему в банке векселя на эту сумму, но таких денег в кассе Омского отделения не было.

Перед тем как ехать, Ветров выдал на эту сумму аккредитив за своей единоличной подписью и отправился в Иркутск в сопровождении двух артельщиков Омского товарищества.

Иркутское отделение располагало средствами, так как оно не было национализировано и вело все операции, а Ермаков не поехал на съезд из-за дальности расстояния и оказался на месте.

Допрошенный впоследствии, Ермаков сознался, что он очень сомневался в правильности выдачи миллиона, но присутствие Ветрова рассеяло эти сомнения.

Получив миллион, артельщики тотчас же отправились в Харбин за покупкой товаров, а сам Ветров в тот же день уехал в Омск. Очевидно, он торопился обогнать почту, дабы скрыть обычную ведомость о выплате перевода. Это ему удалось, и на мою просьбу он передал мне ведомость, равно как и скрытые письма Иркутского отделения о возвращении денег.

Таким образом, факт получения Ветровым миллиона был налицо. Случись это в прежнее, дореволюционное время, конечно, следовало бы снестись с правлением и ждать его указаний. Теперь дирекции предстояло решать этот вопрос самостоятельно.

Передать дело прокурору было чрезвычайно рискованно, ибо обнаружение столь крупной растраты могло возбудить панику среди вкладчиков и банк, не имея возможности оплатить все вклады, мог погибнуть. Надо было во что бы то ни стало вернуть этот миллион. Поэтому, с полного согласия всех членов дирекции, я повёл с Ветровым переговоры в самом дружеском тоне и предложил оформить дело путём дебетования счёта товарищества и кредитования Иркутского отделения. По моей просьбе Ветров в письменной форме подтвердил правильность проведения этой сделки, расписавшись как директор товарищества. Уже одно это до некоторой степени спасало нас от возможных потерь, так как члены товарищества были людьми солидными. Затем дирекция предложила Ветрову сейчас же проехать в Харбин, продать или заложить все товары и перевести деньги нам. На это мы ему дали двухнедельный срок. Мы обещали полное забвение его поступка, если деньги будут уплачены. Ветров обещал выехать в Харбин. Однако принятое решение меня сильно беспокоило. По ходу дела возникли основания думать, что эти деньги, помимо товарищества, присвоены непосредственно Ветровым. Тогда Ветров мог воспользоваться отпуском и бежать из Харбина за границу. Но мои коллеги были уверены в наличии там товаров.

К этому времени относится и моё первое выступление на частном заседании в Министерстве финансов, собранном в воскресенье под председательством товарища министра финансов. В заседании участвовали все начальники отделов, и я ознакомил их с моими планами по денежным вопросам. Заседание тянулось долго — кажется, с десяти часов утра до пяти вечера. Всем оппонентам я давал достаточно исчерпывающие ответы. Закончилось заседание под бурные и продолжительные аплодисменты всех десяти — двенадцати присутствовавших. Это был триумф! Большего удовлетворения я получить не мог.

К этому времени — из-за болезни или из-за отъезда адмирала Колчака — я ещё не был утверждён в должности члена совета министра финансов. Но назначение было подтверждено министром.

В этот же приезд в Омск я получил две телеграммы: одну — от генерала Дитерихса из Челябинска с просьбой приехать к нему, а другую — от жены и сына; в ней сообщалась грустная новость о том, что сын, несмотря на закон об освобождении единственных сыновей от воинской повинности, призван. При этом Анатолий просил совета, какой вид оружия ему избрать.

Я узнал, что провод с Челябинском не действует, а в вызове жены мне отказали.

Я был удивлён, увидев в зале заседаний моего старого знакомого по Симбирску Бориса Николаевича Некрасова, бывшего директора Симбирской гимназии, приговорённого в арестантские роты за растрату восьмидесяти тысяч рублей. Здесь же, оказывается, он занимал пост попечителя учебного округа. Было видно, что ему очень неприятна наша встреча. Я же недоумевал, каким образом Некрасов — выпущенный из тюрьмы, вероятно, до срока — мог быть назначен на столь ответственный пост. Наши взгляды встретились. Некрасов тотчас же согнулся над столом и сделал вид, что углублён в разбор бумаг.

На другой день должен был состояться парадный обед в ресторане «Россия», даваемый Поклевским-Козеллом в честь моего двадцатипятилетнего юбилея. Но накануне у меня поднялась температура, а к четырём часам в день торжественного обеда температура скакнула к тридцати девяти градусам. Меня бил озноб, и холодные мурашки пробегали по спине. Пришлось лечь прямо на пол в кабинете управляющего банком…

Доктор Михаил Иванович Крузе, знакомый мне по Симбирску, был очень встревожен и опасался сыпняка. Я и до сих пор не знаю, что это было. Я пролежал, борясь со смертью, в полном забытье около десяти дней. Когда же я стал поправляться, мне припомнилось, что по пути в Омск в вагоне Государственного банка, проснувшись ночью, я увидел конвойного солдата, сидящего на моей скамейке и ловящего на себе вшей. Я тогда прогнал его. Но мог ли прогнать ползающих по скамейке насекомых? Впоследствии я узнал, что милый чиновник, сопровождавший ценности банка, заболел сыпняком и умер в Омске. Так я и не попал на обед, а десять дней спустя отправился в том же вагоне Государственного банка в обратный путь, но не через Тюмень, а через Челябинск. В Челябинске я надеялся застать генерала Дитерихса, в то время командовавшего чешскими войсками.

ВИЗИТ КОЛЧАКА

Поездка из Омска в Челябинск тянулась семь дней: мы попали в сильнейшую пургу и, занесённые снегом, стояли на какой-то станции около трёх суток. Порывы ветра были так сильны, что вагон вздрагивал. Какой-то генерал требовал, чтобы поезд двинулся в путь, и кричал, что расстреляет начальника станции. Но это не помогало. Буря усилилась до такой степени, что одного проводника, рискнувшего пойти на станцию за кипятком, отнесло ветром в поле, где на третий день, когда метель стала спадать, нашли замёрзший труп.

Положение было скверное. На станции не оказалось буфета, а небольшой запас провизии, что я вёз с собой, весь вышел. Питался я только чёрным хлебом да прополаскивал желудок чаем, и то без сахара. Хотя особого голода я не ощущал, но, приехав в Челябинск, с огромным аппетитом съел в какой-то кофейной две порции бычачьей печёнки в сметане.

Застать Дитерихса, к великой моей досаде, не удалось, но зато повидался с Сергеем Григорьевичем Мельниковым, доверенным Шатрова. Этот практичный человек и здесь, в беженстве, очутившись почти без средств, не растерялся, а, приторговав маленькую мелочную лавочку, питался от трудов своих. В этой же лавчонке Мельников догадался устроить и заводик по производству сальных свечей. В ящик со свечными формами он вкладывал фитили и лил сало. Эти свечи брались нарасхват, а он только посмеивался и, потирая руки, приговаривал:

— Ничего, жить можно… Да и много ли мне нужно?

Я дал телеграмму в Кыштым, где стояла тяжёлая батарея, в которой служил мой сын, но, вероятно, телеграмма запоздала, и мне не удалось повидаться с сынишкой.

Наконец подъехали к Екатеринбургу. Поезд остановился на каком-то полустанке верстах в восьми от города. Шла дислокация войск, и путь был занят.

Пришлось нанять розвальни у станционного сторожа и, погрузив в них вещи, как свои, так и семи пассажиров, двинуться в двадцатипятиградусный мороз к Екатеринбургу пешком.

Недели через две после моего возвращения в Екатеринбург пожаловал Верховный Правитель адмирал Колчак.

К этому приезду готовились, и приём адмирала решено было устроить в особняке Тулуповой, что на Соборной площади. В нём находились наиболее сильные общественные организации того времени: Биржевой комитет. Культурно-экономическое общество,

Союзы горнопромышленников и железнодорожников Урала.

Торгово-промышленный класс решил поднести адмиралу чек в один миллион рублей. Сумма как будто большая, но если перевести его по курсу на золотые рубли, то она вряд ли превышала шестьдесят — семьдесят пять тысяч.

Для подношения чека было назначено торжественное заседание, после которого решено было подать лёгкий завтрак а-ля фуршет.

Мы собрались заблаговременно, и ровно к назначенному часу — в десять утра, не запоздав ни на минуту, в сопровождении небольшой свиты военных и двух телохранителей пожаловал адмирал.

Поздоровавшись со всеми общим поклоном, он занял место за накрытым зелёной скатертью столом, а позади Колчака стали два телохранителя: казак с большой окладистой бородой, одетый в черкеску и высокую папаху, и башкир в национальном красного цвета костюме.

Как мне сказали, оба молодца были преподнесены оренбургскими казаками и башкирами в полную собственность Верховного Правителя России.

Зрелище было красивое, но всего эффектнее была изящная фигура самого адмирала Колчака. Особенно выразительны были глаза. Такие глаза мне редко удавалось встречать. В них отражались и ум, и энергия, и благородство.

Начались доклады. От торговопромышленников выступил П. В. Иванов, засим от горнопромышленников — Европеус, а от железнодорожников — Топорнин.

Эти серьёзные доклады, несмотря на крайнюю сжатость, длились более двух часов, во время которых Колчак не проронил ни единого слова, напряжённо слушая.

Когда выступления кончились, адмирал сказал, что доклады интересны и он возьмёт их с собой для детального ответа по всем заинтересованным ведомствам. Однако он считает возможным вкратце ответить на все три доклада вместе теперь, ибо они имеют общие точки соприкосновения. Благополучное разрешение затронутых вопросов в значительной степени зависит от положения железнодорожного транспорта.

— Вы сами, господа, знаете главную причину расстройства работы транспорта: тяжёлая братоубийственная война. Если бы были средства и мы смогли купить подвижной состав, то и тогда не все раны транспорта были бы залечены. Достаточно упомянуть о разрушении мостов и самого железнодорожного полотна… Все сложные проблемы, затронутые в докладах, исходят отсюда.

Существуют претензии иностранцев, и особенно

американцев, желающих получить концессию на Сибирскую железную дорогу. Если её дать, то вряд ли работа транспорта от этого быстро улучшится. А кончится война — тогда мы и сами сумеем справиться с восстановлением работы транспорта. Что же касается обеспечения заводов топливом, то всё сводится к решению земельного вопроса. Таковой же должен быть разрешён не мной, а Учредительным Собранием. Здесь я могу только предположительно сказать, что невозможно ожидать постановления, которое лишило бы заводы дешёвого топлива.

Всё это сказано было так просто и в то же время так умно и авторитетно, что я лично и почти все присутствующие остались как от заседания, так и от ответа адмирала в полном восторге.

Засим Колчаку был поднесён чек, после чего все были приглашены к скромному столу, заполненному холодными закусками.

Отъезд адмирала был весьма торжествен. Кортеж состоял из нескольких автомобилей, из коих последний, в котором сидел Колчак, был окружён конным конвоем. Особенно выделялась красивая фигура принца Кули Мирзы в черкесской форме, стоявшего на предпоследнем автомобиле спиной к шофёру и впившегося глазами в автомобиль Верховного. Сам Кули Мирза принадлежал к персидской династии, состоял в свите Его Величества покойного Государя, а теперь сопровождал Верховного Правителя. Глядя на эту живописную картину, я не сомневался в том, что Колчак займёт место Романовых…

Кто мог тогда думать, что он будет казнён и от Омского правительства не останется и следа?..

ПРОФЕССОР ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

Приблизительно в эти дни у меня в квартире появился известный профессор металлургии Грум-Гржимайло. Он состоял консультантом Алапаевского округа, и я с ним часто виделся на заседаниях дирекции. Профессор, захваченный большевиками, находился у них на службе несколько месяцев и, конечно, не был назначен по специальности, а строил лесообделочный завод, кажется, на Часовой. Когда же наши войска заняли город, он приехал в Екатеринбург.

Он рассказал мне о своей службе у большевиков, называя их глупыми и наивными детьми.

— Я бы, профессор, прибавил «и злыми детьми».

— Да, — ответил профессор, — с этим добавлением вполне согласен, но при условии ещё большего обобщения. Я не могу делить наш простой народ по злости и жестокости на белых и красных. По-моему, жестокость и злобность присущи всему нашему народу в одинаковой степени, вне зависимости от политических воззрений.

— Не знаю, профессор, насколько вы правы… Но то, что мне пришлось видеть самому и слышать от других, говорит о невероятной жестокости именно большевиков.

Я рассказал ему о похоронах девятнадцати интеллигентов, расстрелянных без всяких оснований. Рассказал о семидесяти трупах рабочих Верх-Исетского завода, найденных в подвалах Г.П.У. Рассказал, наконец, во всех подробностях о расстреле Царской семьи и о казни великих князей в Алапаевске.

— Да, всё то, что вы поведали мне, ужасно, невероятно жестоко и отвратительно… Но позвольте и мне, справедливости ради, рассказать вам виденное собственными глазами.

Это было как раз на другой день после того, как белые войска заняли лесообделочный завод, где я служил у большевиков.

Я шёл по заводу и увидел толпу людей, стоявших у ворот. Я подошёл ближе и заглянул на двор. На дворе, несмотря на мороз в двадцать пять градусов, была выстроена в одном белье и без сапог шеренга людей. Они были синие от холода и еле перебирали отмороженными за ночь ногами. В таком виде они провели всю ночь в холодном сарае и теперь над ними шла казнь.

Казнь состояла в том, что какой-то солдатик из белой армии прокалывал животы арестантов штыком. Один из толстых солдат схватил руками штык, воткнутый в живот, и неистово завизжал от боли, приседая на корточках. Другие лежали на снегу в крови и переживали предсмертные судороги, иные уже заснули вечным

сном.

Картина была так ужасна, что я чуть не упал в обморок…

Но всего непонятнее и ужаснее было то, что толпа отнюдь не падала в обморок от ужаса, а неистово хохотала, глядя на «смешные» ужимки и прыжки прокалываемых людей…

От этого рассказа профессора меня стало тошнить.

— То, что вы мне рассказали, действительно ужасно. Но скажите, профессор, неужели после всего этого ужаса нам можно говорить о парламенте и даже об Учредительном Собрании? Ведь все эти зверства много хуже, чем бывало в Турции.

И я, припомнив один рассказ знакомого земского начальника, передал его собеседнику.

Один крестьянин украл корову, отвел её в лес и снял с живой скотины шкуру. Когда земский начальник спросил его на суде, как мог он совершить подобное зверство, вор ответил, что с убитой коровы шкуру снять трудно. Тушу пришлось бы переворачивать, что одному не под силу.

Под конец я рассказал профессору все подробности казни бывшего прокурора суда Александра Александровича Гилькова. Гильков с самого начала революции впал в паническое состояние и решил бросить прокуратуру, что ему и удалось. Он получил назначение на должность члена суда в Перми.

Вскоре Пермский суд был разогнан большевиками, и Гилькову с большим трудом удалось получить место конторщика на Мотовиленском заводе. Жизнь потекла тихо и уединённо, но скромного жалованья не хватало. Приходилось постепенно ликвидировать и драгоценности жены, запас которых был невелик. Наконец дошла очередь до столового серебра, из коего осталось всего шесть чайных ложек.

Несмотря на постигшие его материальные лишения, Гильков был рад тому, что избавился от ответственности, связанной с должностью прокурора. Но в одну прекрасную ночь раздался звонок в дверь, и в квартиру ворвались «товарищи» солдаты в поисках оружия. Конечно, оружия, которого и не было, не нашли, но воры-«товарищи» захватили серебряные ложки.

Хозяйка, Александра Алексеевна, была очень огорчена отнятию ложек и хотела отправиться в совдеп с жалобой.

— Что ты, что ты! — воскликнул супруг. — И не вздумай об этом говорить, а благодари Господа Бога, что оставили в живых.

Александра Алексеевна и на другой день не переставала плакать. Видя её огорчение, Александр Александрович предложил проводить супругу в гости к одной дружественной им семье.

— Я зайду за тобой в восемь часов вечера и тогда на минутку загляну к ним. Но к девяти часам мы должны быть дома, ибо с

этого часа запрещено выходить на улицу.

Проводив жену и возвращаясь домой, он, проходя сквер, уселся на скамейку, дабы отдохнуть и выкурить папироску.

В это время сквер оцепили солдаты и всех, кто там находился, повели в какое-то казённое здание, кажется, гимназию.

Там их ввели в примитивно устроенное ретирадное место, с большими дырами в общей доске, приказали раздеться и броситься в выгребную яму.

Поднялся невообразимый вопль. Люди, стоя на коленях, умоляли расстрелять их тут же, лишь бы избегнуть этой мучительной смерти, но палачи были неумолимы.

Подкалывая штыками, они заставили их броситься в переполненную отбросами яму.

— Скажите, профессор, можно ли было людям, приветствовавшим революцию, даже подумать о таких невероятных зверствах? За что казнены эти тридцать человек? Казнены так зверски, что прокол животов, о котором вы говорили, совершенно бледнеет перед этим.

Профессор Грум-Гржимайло молчал.

Он провёл у меня целый день, и мы расстались навсегда.

Уже будучи беженцем, я узнал из газет, что профессор принял высокое назначение у большевиков и служил им не за страх, а за совесть.

К чести профессора, приблизительно в 1930 году в газетах появилось сообщение, что на запрос коммунистической власти, сделанный Грум-Гржимайло, указать действительные способы к удешевлению производства металлов, профессор будто бы официально ответил, что удешевление достижимо только тогда, когда коммунисты откажутся от власти.

Ему было предложено взять это заявление обратно. Он не согласился. Тогда его потребовали в Г.П.У., где продержали всего один день. На другое же утро, по возвращении на квартиру, он был найден мёртвым.

Напугался ли профессор угроз Г.П.У. или к нему подослали убийцу? Или, быть может, он покончил жизнь самоубийством?..

ВЕСТИ О ЛЖЕ-АНАСТАСИИ

Настала масленица. В это время или немного раньше в Екатеринбург прибыл знаменитый чешский генерал Гайда и принял командование над нашей армией.

В первые дни мне повидаться с ним не удалось. Про него много говорили, и, надо сказать, больше хорошего, чем дурного.

В то время все комнаты были на учёте. Одну из них я сдал дежурному полковнику при Гайде Николаю Алексеевичу Тюнегову, а в другую пустил судебного следователя по царскому делу Николая Алексеевича Соколова.

Не могу сказать, чтобы следователь произвёл на меня приятное впечатление, но его присутствие вносило много интересного в нашу жизнь. Приходя из суда обычно к вечернему чаю, он рассказывал нам о результатах следствия. Не буду приводить эти рассказы, которые можно найти в изданной им книге и книге генерала Дитерихса.

Соколов частенько жаловался на недостаточно внимательное отношение к делу со стороны министра юстиции Омского правительства и на частый недостаток средств для ведения дела. Также Соколов жаловался на вмешательство в следствие некоторых иностранных генералов, имевшее место, как ему казалось, из желания исказить истину с целью обелить большевиков.

Впрочем, я боюсь настаивать на этой мысли. Соколов не любил говорить точно, изъясняясь намёками, отчего я плохо его понимал. Он был в хороших отношениях и с Верховным Правителем, а особенно с генералом Дитерихсом, о котором отзывался лестно, говоря, что тот много раз оказывал ему незаменимые услуги.

Однако далеко не все относились к Соколову так, как Колчак и Дитерихс. Этому отношению мешала боязнь прослыть монархистом.

Во всяком случае, следователь был уверен в убийстве всей Царской семьи без исключения. Следователь разыскивал всевозможные доказательства убийства, говоря, что этим он борется с возможностью появления самозванцев.

Как-то раз он сказал мне:

— Владимир Петрович, вы помните наш разговор о возможном появлении самозванцев в будущем?

— Как не помнить, конечно, помню.

— Ну так вот, я получил известие из Перми, что туда привезена в больницу какая-то барышня, назвавшая себя великой

княжной Анастасией Николаевной.

— Вы поедете туда, конечно?

— Нет, у меня совершенно нет времени, да при этом я убеждён, что Царская семья вся погибла.

В начале 1930-х все газеты были переполнены известиями о появлении Анастасии Николаевны. Будто бы кто-то из великих князей её признал. Большинство же князей и придворных чинов отрицало сходство самозванки с Анастасией Николаевной.

При чтении этих известий я всегда вспоминал мой разговор с Соколовым, и, думаю, он был прав, говоря, что вся Царская семья была перебита. Но ставлю ему в упрёк, что он тогда легкомысленно отнёсся к тому известию и не поехал в Пермь, чтобы лично допросить самозванку.

Находясь уже в Америке, я встретился с приехавшим из Сиэтла полковником А. А. Куренковым, знакомым мне ещё по Екатеринбургу. Я мало его знал, но помню, что он женился на племяннице нотариуса Ардашева. После свадьбы он был с визитом у нас с женой. Затем я встречал его в Чите, и, наконец, теперь он несколько раз заходил ко мне в магазин. Вспоминая прошлое, мы разговорились с ним об убийстве великих князей, брошенных в шахту. А затем разговор перешёл и на самозванку.

— Ведь вы знаете, Владимир Петрович, что при взятии Алапаевска я командовал полком и хорошо знаком с историей убийства великих князей. Могу прибавить и кое-какие данные о спасении великой княжны Анастасии Николаевны. Дело было так. Однажды ко мне пришёл посланец с одной железнодорожной станции, от которой было вёрст пятнадцать до места стоянки моего полка, и передал желание умирающего доктора повидаться со мной, дабы поведать какую-то государственную тайну. К сожалению, в тот день я не мог покинуть полк, но мой адъютант просил разрешения проехать на станцию и снять показания. Это я ему разрешил.

По возвращении адъютант рассказал мне следующее. Он застал врача почти умирающим от сыпняка. Доктор успел сообщить, что в больницу однажды ворвался солдат и, угрожая револьвером, потребовал, чтобы тот оказал помощь больной женщине, находящейся в санях. Доктор вышел и, подойдя к больной, стал расстёгивать её тулуп. На щеке и на груди больной он заметил раны и сказал, что для оказания помощи должен внести её в операционную и раздеть.

Солдат согласился, но потребовал, чтобы доктор сделал это как можно скорее, дав полчаса сроку.

Когда больную, находившуюся в бессознательном состоянии, раздевали, то на ней заметили тонкое дорогое бельё, что

говорило о принадлежности к богатой семье.

Не обращая внимания на угрозы солдата, доктор, промыв и перевязав раны, уложил больную на кровать и сказал, что ранее утра отпустить её из больницы не может. Солдату пришлось согласиться. Больная бредила на нескольких языках, что указывало на принадлежность её к интеллигенции. Под утро солдат потребовал выдачи девушки и уехал с ней. Прошло не более получаса, как он вернулся и, держа в руке револьвер, сказал, что как ни жалко, но он должен застрелить доктора как свидетеля этого происшествия. Однако тот убедил его в том, что доктора не имеют права выдавать тайну своих пациентов. Это успокоило солдата, и он уехал, сказав на прощание: «Смотрите же, доктор, ни слова не говорите об этом посещении. За мной гнались и если откроют след этой девушки, то её прикончат».

Я с большим сомнением отнёсся к этой истории, но Куренков в доказательство правдивости рассказанного обещал прислать мне подлинник протокола, сделанного его адъютантом. Однако до сих пор я его не получил, а адреса полковника у меня не осталось.

Сообщение это до известной степени совпадает с сообщениями следователя о появлении самозванки в пермской больнице. Между сообщениями есть и некоторая разница.

Следователь говорил, очевидно, о городской больнице. Обстановка из рассказа Куренкова указывала, скорее, на сельскую. Время обоих происшествий совпадает — зима. Но тогда становится неясным, где же находилась эта больная с июля. Думаю, рассказ Куренкова и есть тот первоисточник, откуда пошли слухи о спасении от расстрела княжны Анастасии Николаевны.

Во всяком случае, невнимательное отношение к этому вопросу Соколова оказалось чревато последствиями, и самозванка появилась за границей, наделав много шума.

Мне кажется странным, что Соколов, живя у меня и расспрашивая обо всех подробностях пребывания великого князя в Екатеринбурге, ни разу не допросил меня официально и совершенно не упомянул мою фамилию в своей книге. Ведь в моей квартире были найдены вещи, принадлежавшие Царской семье. Жили у меня и великий князь Сергей Михайлович, и Чемодуров.

Про себя Соколов говорил, что пешком пробрался из Пензы, где служил следователем по особо важным делам, в Самару и на этом опасном пути чуть было не попался в руки к красным. Переодевшись крестьянином, он проходил какое-то село, в котором оказались красные войска. Узнав об этом, Соколов

решил войти в первую попавшуюся избу. Изба, в которую его пустили, принадлежала зажиточному крестьянину, и он рассчитывал, что её хозяин не большевик. Расчёты оправдались: хозяин недружелюбно отзывался о Красной армии. Соколов попросил дать ему самовар. Разговорившись с крестьянином дальше, этот мужик ему казался всё знакомее. Когда же бабы вышли из избы, хозяин, оставшись с Соколовым наедине, обратился к нему со следующими словами, от которых гостя бросило в пот:

— А ты что же, ваше высокоблагородие, меня-то не узнаёшь, что ли? Ведь я такой-то (он назвал свою фамилию). Ты же меня тогда допрашивал; по твоей милости я и в арестантские роты попал. Что, небось теперь узнал? Не бойся, ваше высокоблагородие, я тебя всё же не выдам, потому что, по правде сказать, ты тогда правильно поступил. А вторую тебе правду должен сказать, почему не выдам, — что уж больно сволочь эта красная рвань, что теперь в начальство лезет… А ты вот что, собирайся в путь. Да дай-ка я тебя научу, как в лапти обуваться следует, а то ты так онучи повязал, что сам себя с головой выдашь.

И он обул ему ноги.

Спасибо ему. После этой встречи с арестантом следователь так шёл, что, кажется, и на лошадях его не догнали бы.

— А какое интересное, по воспоминаниям, было это путешествие! продолжал Соколов. — Дня через два в лесу я встретил девку и монашку и разговорился с ними. Вдруг вижу, что монашка мне отлично знакома. Ею оказалась некая Патрикеева, жена племянника богатого фабриканта Шатрова.

Я перебил рассказ следователя:

— Хорошенькая полненькая шатеночка, не правда ли? — И назвал её имя.

— Да что вы! Вы её тоже знаете?

— Конечно, знаю — я же в Симбирске полжизни прожил.

— Удивительно, как, в сущности, мал свет, — воскликнул следователь. Ну так вот, стало веселее идти, проводил я её до самого монастыря, в котором она думала укрыться от большевиков. Муж её находился в Петрограде и не мог до неё добраться.

А загадка лже-Анастасии так и осталась невыясненной.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА

Незадолго до Пасхи я вновь поехал в Омск. На этот раз я явился к И. А. Михайлову как к своему непосредственному начальнику. Моё утверждение в должности члена совета министра финансов уже произошло. Правда, сам совет Михайловым ещё не был сформирован, но И. А. Михайлов тем не менее просил меня заняться денежной реформой.

— Я с большим удовольствием займусь этим делом, но просил бы сказать, одобрили ли вы поданный мной проект.

— В общем я с вами согласен, но в настоящее время по политическим требованиям необходимо уничтожить только керенки. К тому же встречается так много подделок, что принимать их становится невозможным. А главное, на эти деньги большевиками ведётся пропаганда в нашем тылу. Это надо искоренить.

— Так-то оно так, но не находите ли вы, Иван Андрианович, что вся реформа будет кособокой?

— Что же делать? Унификацию всех прежних денежных знаков мы сейчас провести не можем. Против этого высказываются интервенты, а мы — накануне общего признания. Поэтому раздражать их нельзя.

— У меня даже имеется записка представителей иностранных держав, где они предлагают уничтожить все денежные знаки, за исключением «зелёных».

— Глупее ничего придумать нельзя, но с ними надо считаться. Поэтому я предлагаю вам заняться только керенками.

От Михайлова я пошёл знакомиться со вновь назначенным товарищем министра финансов Николаем Николаевичем Кармазинским, бывшим председателем Казённой палаты Иркутска.

Надо сказать, что я редко встречал в жизни столь симпатичного человека. Мы близко сошлись с ним во взглядах и дружно работали над предложенной задачей.

А задача была не из лёгких, так как вокруг предлагаемой реформы разгорелись сильные страсти. В сущности, вопрос был ясен и прост. Подделка билетов была чрезвычайно легка, и, как говорили в Министерстве, керенки печатались не только большевиками, но и в Японии и Китае. Спор разгорался потому, что сибирские обязательства на Востоке почти не принимались, а если и принимались, то с дизажио.

Михайлов настаивал на коротком сроке обмена керенок рубль на рубль, а затем они должны были приниматься к обмену

по курсу, периодически назначаемому министром финансов.

Михайлов хотел ограничить срок обмена двумя неделями, но, по моей просьбе, остановился на месячном сроке. Но и этот срок, принимая во внимание просторы Сибири, был недостаточен.

Я высказал министру два опасения.

Во-первых, хватит ли денежных знаков для проведения реформы? На этот вопрос я получил ответ, что со дня на день ждут прибытия станков большой мощности и тогда мы будем в состоянии покрыть банкнотами всю Сибирь.

Во-вторых, если станки придут так скоро, то не находит ли Михайлов возможным выпустить денежные знаки нового образца? Ведь пятипроцентные обязательства, которые обращаются вместо рублей, народу и иностранцам непонятны, и подделываются они так же легко, как и керенки. Я понимал необходимость выпуска пятипроцентных обязательств. Мы рассчитывали продавать их на наличные и на эти средства вести народное хозяйство.

На печатание кредитных денег всех образцов потребуется долгое время. Ещё Временное Всероссийское правительство заказало в Соединённых Штатах большое количество купюр двадцатипяти- и сторублёвого достоинства. Нам обещали выслать их сразу же после получения Омским правительством международного признания. Тогда мы будем иметь великолепные деньги, поэтому печатать свои пока не стоит.

Что же касается подделки наших обязательств, то Ермолаев, управляющий Экспедицией государственных бумаг, меня заверил, что подделка банкнот трудна благодаря особым знакам.

Решено было обратиться к представителям прессы и просить их поддержать реформу.

Собрание по этому поводу состоялось в кабинете управляющего делами министерства, и мне пришлось председательствовать и делать все разъяснения. Были представлены газеты разных политических направлений. Прения затянулись. Социалисты настаивали на том, чтобы применить шкалу, в силу которой при обмене больших сумм керенок выдавали бы меньшую сумму сибирок.

На это я ответил, что связывать дензнаки с личностью предъявителя мы не намерены. Да это и бесполезно, ибо поведёт к тому, что владельцы больших сумм станут их дробить и предъявлять по частям.

В конце концов общее согласие было достигнуто.

Настал и мой боевой день. В большом зале Министерства финансов было назначено собрание для слушания законопроекта о предполагаемой денежной реформе. За длинным столом разместились шестьдесят представителей всевозможных

общественный организаций. Председательство принял на себя министр финансов И. А. Михайлов. Открыв заседание, он тотчас покинул собрание, передав председательствование Кармазинскому и указав на меня как на докладчика.

После чтения законопроекта первым возражал Жардецкий, лидер кадетов и издатель официоза.

Его речь совершенно не касалась деловых вопросов, и в то же время она была чересчур страстной. Казалось, что мы имеем дело с душевнобольным человеком. Он не говорил, а кричал. Но чем больше я прислушивался к его выкрикам, сопровождаемым бурной жестикуляцией, тем очевиднее становилось, что он совершенно не понимает вопроса и, по-видимому, восстановлен не столько против моего законопроекта, сколько против личности министра финансов.

К сожалению, мне так и не пришлось ему возразить, ибо он демонстративно покинул зал заседаний.

На все остальные вопросы я отвечал кратко и деловито. Особенно много возражений сыпалось от эсеров, заселивших кооперативы. Они настаивали на том же, что и представители прессы, т. е. ввести шкалу обложения и стричь богатых. Я разбил их примером большевицкого обмена процентных бумаг, при котором шкала была введена, цели не достигшая.

В конце концов почти единогласно законопроект был принят, а я вознаграждён аплодисментами.

После этого заседания пришлось по поручению министра защищать этот законопроект и на заседании Совета министров.

Законопроект был заслушан в присутствии И. А. Михайлова.

Омское правительство принимало все меры, чтобы внешность обстановки импонировала присутствующим. Большой, хорошо отделанный и обставленный зал с длинными столами, поставленными буквой «П» и накрытыми суконными красными скатертями, производил хорошее впечатление. Я не помню точно, кто из министров был тогда на заседании. Присутствовало только семь человек. Заседание отличалось деловитостью. Прения продолжались довольно долго, и проект был одобрен всеми присутствующими.

После этого первого и единственного выступления в Совете министров я с удовольствием проехал поужинать в ресторан «Россия». Это был лучший ресторан того времени, всегда битком набитый публикой; особенно много было народу в часы обеда, и приходилось дожидаться очереди, чтобы достать место за столиком.

Зал был красив, публика нарядная, в большинстве военная, так что иногда, слушая музыку и глядя на посетителей, в голову

приходило сравнение с ресторанами Москвы и Петрограда. А сколько знакомых встречалось здесь! Вот Шалашников — бугульминский предводитель дворянства, теперь сенатор Омского правительства. А вот князь Голицын, красивый, породистый мужчина, бывший губернатор Самары, а ранее предводитель дворянства Саратовской губернии. Здесь же я встретил Афанасьева с Беляковым.

В этот же приезд я стал хлопотать у полковника Герц-Виноградского, произведшего на меня хорошее впечатление, о приёме моего сына в артиллерийское училище имени Колчака. Я немного опасался отказа. Наше Уральское правительство не признавало аттестатов зрелости, полученных при большевиках, а мой сын именно в ту весну, когда Екатеринбургом владели большевики, и держал экзамен. Но тут выяснилось, что Омское правительство аттестаты признавало, и мой сын был принят.

«Вот, — думалось мне, — сам осуждаешь героев тыла, а сына хотя бы на время, а стараешься снять с фронта». Но моё родительское сердце находило массу оправданий этому поступку.

Перед самым отъездом из Омска Ветров вернулся из Харбина и заявил нам, что всё благополучно, товары налицо, в самом непродолжительном времени он их продаст и заплатит деньги.

На его желание вступить в исполнение обязанностей я был вынужден отказать до предъявления полного и ясного отчёта о поездке, подкреплённого соответствующими денежными суммами. Наступала Пасха, меня тянуло к семье. Мы дали Ветрову срок в две недели, через которые я должен был вернуться в Омск.

Надо сказать, что в этот тяжёлый период я ужасно уставал и, как никогда, был рад отдохнуть во время Пасхи целых пять дней.

Больше всего волновала история с Ветровым. Противно было с ним говорить. Хорошо, что его поступок был почти единственным. Правда, кое-какие недочёты выявились и в других эвакуированных отделениях, но всё это были мелочи и в большинстве своём сводились к несколько преувеличенным расходам на эвакуацию.

На Пасху Толюшу в отпуск отпустили, и вся семья была в сборе.

Много хлопот было у меня по обелению Чернявского и Александра Бернгардовича Струве, посаженного в тюрьму.

За Чернявского, устранённого от должности, я хлопотал перед Рожковским, и тот назначил его в какую-ту дыру управляющим ещё не существовавшим отделением Госбанка. Но почему-то Чернявский был мною недоволен и к нам не показывался, а при встречах был очень холоден.

На Пасху появились неважные вести с фронта. Войска наши дрогнули и отступали от Вятки.

В связи с этими известиями наш министр финансов проехал из Омска в Пермь. На обратном пути он собирался остановиться в Екатеринбурге и побывать у меня вместе с министром земледелия Петровым.

Во время их пребывания в Екатеринбурге я устроил обед в честь министров. К обеду я пригласил генерала Домантовича и, кажется, двух братьев Злоказовых.

Обед был недурной, но оба министра высказали своё неуменье бывать в обществе. Не целовали у дам руки, ели рыбу ножом и нельзя сказать, чтобы не подчёркивали своё служебное положение.

Это особенно сказывалось при сравнении с воспитанным и деликатным генералом Домантовичем, бывшим лейб-уланом. Он был до того похож на великого князя Константина Константиновича, что все считали его незаконнорождённым Романовым.

После обеда мы вместе с гостями отправились в театр, где Михайлов был настолько нетактичен, что занял переднее место перед барьером и высовывался, как гимназист, из ложи: «Нате, смотрите на меня, я ваш министр финансов». Петров принадлежал к эсерам, был юн (не старше тридцати) и совершенно прост. Вероятно, ранее он был сельским учителем или занимал какую-нибудь маленькую должность в земстве. Это указывало на очевидное безлюдье Омска во время переворота Колчака и выбора правительства.

Михайлов настаивал не только на моём скорейшем приезде, но и просил совсем перебраться на жительство, обещая устроить квартиру в две-три комнаты.

После Пасхи я опять поехал в Омск. Эта поездка осталась памятна тем, что к тому времени от Перми до Омска, а вскоре и до Владивостока стали ходить регулярные поезда-экспрессы. Ходили они без всякого опоздания, минута в минуту.

Как удалось наладить работу транспорта, никто не знал, но я догадывался, что ларчик открывался просто. К тому времени были убраны со своих должностей военные коменданты станций, дела не знающие, и транспортом стали заведовать инженеры-путейцы. В Екатеринбург был назначен Нагаткин, служивший в Алапаевском округе.

На этот раз я уже ехал в купе первого класса вместе с Павлом Васильевичем Ивановым, вызванным в Омск на должность министра торговли и промышленности, и Сергеем Фёдоровичем Злоказовым, приглашённым на должность управляющего

Комитетом по ввозу и вывозу.

Перед самым отходом нашего поезда подошёл состав из Омска, и среди пассажиров я заметил Леонида Ивановича Афанасьева. Он в то время занимал министерский пост по снабжению армии. Леонид Иванович увидал меня в окне и тотчас забежал в наш вагон.

— Жаль, что я уезжаю! — воскликнул я, радостно пожимая руку. — Надеюсь, что вы остановитесь у меня.

— На это, признаться, я и рассчитывал. Ну, конечно, жена будет очень рада приютить вас у себя.

— Зачем приехали?

— А вот видите, я приехал ликвидировать местного агента нашего ведомства Кречинского, посаженного в тюрьму. Скажите, что это за человек? Мне очень важно знать ваше мнение, ибо Верховный дал мне карт-бланш вплоть до расстрела этого господина.

— Ну, в таком случае и я очень рад, что встретился с вами. Уверен, что наша встреча спасёт инженера Кречинского от расстрела. Это наш алапаевский инженер, очень способный человек. Когда он принял должность, то снял у меня две комнаты под свою канцелярию. Мы часто с ним виделись. Не думаю, чтобы он был грабителем. Его арестовали военные власти, плохо разбирающиеся в делах. Надо вам сказать, что и меня хотели арестовать за спекуляцию золотом. Узнав об этом, я сам отправился к главноуполномоченному по делам Урала. Военное командование совершенно не знало, что золото имеет свободное хождение, а наш банк скупает и продает его, производя аффинаж, совершенно законно, тогда как закон о монополии был введён большевиками. В этом деле много странности. Вам надо быть очень осторожным. Да, разрешите вас познакомить с моими спутниками; они подтвердят моё мнение.

Тут же, в купе, и состоялось маленькое заседание по этому вопросу. Иванов, оказывается, знал пункт обвинения Кречинского о каких-то папахах, доставленных в армию, — совершенно добротных и дешёвых, но не вполне соответствующих форме. По-моему, сказал Иванов, здесь идёт борьба с интендантами, ныне отстранёнными от дела и всячески мешающими работе Министерства снабжения.

В это время раздался третий звонок, и мы расстались.

— Как я рад, — говорил я моим спутникам, — этой встрече! Мне очень жаль и Кречинского, и его жену с сестрой. До чего они обе убиты арестом и угрозой расстрела!

В Омск мы прибыли без всякого опоздания. Как ни искали комнату, хотя бы одну на троих, но найти не могли. И мои

спутники улеглись на ночь вместе со мной прямо на полу операционного зала, подложив под себя пальто и укрывшись пледами. А ведь это были лица, назначенные на министерские посты! Только на четвёртый день Павел Васильевич нашёл себе комнату и вместе со Злоказовым переехал, а я перебрался спать в Министерство финансов, в кабинет управляющего делами. Однако ночевать здесь было ужасно: бегали крысы, и мне пришлось спать при огне.

Едва я вошёл в кабинет Михайлова, как он воскликнул:

— А, ну вот и отлично, что приехали! Я заготовил указ о вашем назначении директором Кредитной канцелярии с правами товарища министра.

Как ни лестно было это предложение, но я вновь подтвердил невозможность принятия поста по тем же причинам, что и раньше.

В сущности, в своём упрямстве я был прав не вполне. Отказываясь от высоких назначений, я не избежал тех наветов, которых опасался: мои коллеги по Омскому банковскому комитету не раз указывали на засилье Волжско-Камского банка в Министерстве финансов.

К этому времени мне было поручено выработать шкалу стоимости керенок, руководствуясь которой министр мог бы назначать их курс.

В сущности, задача была исполнимой, но над ней пришлось много поработать. К этому времени выяснилось, что знаменитые станки для печатания денег не только не прибыли в Омск, но ещё даже не высланы из Америки. Денежных знаков для проведения объявленной реформы не хватало, и со всех сторон сыпались телеграммы с просьбой её отложить.

Эта поездка в Омск была мне особенно неприятна потому, что Ветрова пришлось-таки отставить от должности. Он не только не представил обещанного доклада, но и не являлся на наши вызовы и ничего не платил. Тогда мы послали ему письмо через нотариуса с предложением дать отчёт. Несмотря на это, Ветров опять не явился. Тогда мы послали второе письмо с заявлением, что отстраняем его от должности, а сами обратились к членам Омского товарищества с просьбой оплатить долг. Те были очень удивлены, что таковой имеется. Но поскольку Ветров как директор ранее подтвердил эту задолженность, то члены товарищества заплатили миллион после долгих и нудных переговоров, причём половину процентов пришлось сбросить.

Ветров же был настолько нахален, что поместил в газетах открытое письмо, обвиняя нас в узурпаторстве власти и говоря, что настанет момент, когда по его жалобе нас отдадут под суд.

К большому нашему удивлению, Бояновский, управляющий Русско-Азиатским банком, вопреки всякой этике принял Ветрова на должность товарища управляющего. Этот поступок объяснялся тем, что Ветров давал Бояновскому кредит в довольно крупном размере под векселя. Но ведь это составляло коммерческую тайну, не подлежащую оглашению, а потому мы решили оставить такой выпад без ответа.

* * *

К этому времени в Омске состоялся съезд управляющих нашими отделениями. Предстояло решить вопрос о выборе городов, где можно было бы открыть комиссионерства для утилизации наших служащих-беженцев. Все они получали содержание, ничего не делая, и только занимались кляузами и сплетнями. А выгнать весь этот ненужный люд не приходило в голову — так крепка была вера в то, что военное счастье переменится и все отданные красным города займёт Белая армия.

Решено было открыть комиссионерства в Харбине, во Владивостоке, в Благовещенске, Верхнеудинске, Хабаровске и Чите. Всех свободных управляющих мы распределили с соответствующим служебным персоналом. Но места для комиссионерств во Владивостоке и Харбине оказались незанятыми, так как не нашлись подходящие лица. Собрание упрашивало меня поехать в Харбин, но я отказался, будучи связан с министерством в Омске.

А в сущности, каким блестящим выходом для меня с семьёй было бы это назначение! Прими я его, не потерял бы своего состояния и вывез бы всю обстановку, смог бы получить под вещи две теплушки — на восток поезда шли пустые.

Политическое положение осложнялось. Сибирские крестьяне и рабочие, недовольные своим положением, начинали симпатизировать большевикам. Поэтому то тут то там вспыхивали восстания, направленные против Омского правительства, территория которого состояла из узкой полосы земли, по которой проходила Сибирская железная дорога, охраняемая чешскими войсками. Подчинялись Омскому правительству и города, расположенные по железной дороге, да и то не все. Например, Чита, Хабаровск и Семипалатинск находились во власти атаманов Семёнова, Калмыкова и Анненкова, которые подчинялись Верховному Правителю постольку, поскольку это было им выгодно.

Особенно много вреда приносил атаман Семёнов,

останавливая в свою пользу военные грузы, направляемые из Владивостока в Омск.

Размышляя о политическом положении, прежде всего надо отдавать себе отчёт в том, существует ли на свете страна, которая была бы довольна своим положением, находясь беспрерывно около пяти лет в состоянии войны, а тем более гражданской.

Правота таких размышлений блестяще подтвердилась в докладе, сделанном ещё зимой прошлого года в Екатеринбурге доктором, пробравшимся через фронт из Уфы и побывавшим незадолго до своего бегства в Москве. Кажется, фамилия его была Брюханов.

Доктор рассказал о голоде, царящем по ту сторону фронта, у большевиков. Там не только не хватало продуктов, но не было медикаментов и мануфактуры. Всё население недовольно большевиками и ждёт не дождётся прихода Колчака.

Едва же Брюханов очутился по эту сторону фронта, как его поразило обилие продуктов. В то же время он заметил недовольство властью Омского правительства и страстное ожидание прихода большевиков.

В самом деле, чем же недовольны были наши крестьяне? Хлеба у них вдоволь, налогов они не платили. Их кубышки набиты деньгами, правда, кредитными. Но ведь и спекулянты наживали деньги не в золоте, а в кредитках и за ними охотились. Крестьян же, поднимающих цены на продукты, никто к спекулянтам не причислял.

За рабочими ухаживали, перед ними раскланивались и платили хорошие деньги. Если чем они и могли быть недовольны, так это наборами людей на военную службу.

Возможно, что народ жаждал прихода большевиков как средства прекращения братоубийственной войны. Но ведь её можно было остановить, только разбив большевиков. Однако была здесь и разница. Большевики обещали землю помещиков раздать даром. Колчак же откладывал решение этого вопроса до созыва Учредительного Собрания.

Уверен, что, разреши он этот вопрос в пользу крестьян, большевики были бы побеждены.

Погода стояла прекрасная, и перед отъездом я с двумя сослуживцами-экономистами, привезёнными мной из Екатеринбурга, отправился искупаться в Иртыше. Иртыш — река необыкновенной мощности, с сильным течением, так что плавал я с опаской, да и то недолго.

Искупавшись, вернулся в министерство, дабы проститься с Иваном Андриановичем, который тут же пригласил меня позавтракать в кабинете.

Мне думалось, уж не хочет ли он опять настаивать на моём назначении директором Кредитной канцелярии, но, слава Богу, обошлось без этого. Зато среди разговоров за завтраком я позволил себе высказать опасения за наше продвижение к Москве: не попятились бы мы назад.

— Что вы, что вы! — воскликнул Михайлов. — Я ни на минуту не сомневаюсь в нашей окончательной и полной победе! — И тут же, вскочив со стула, начал указывать на карте, в каком направлении последует в ближайшем времени решительный удар.

ПЕРЕЕЗДЫ И ВСТРЕЧИ

Возвращались мы в вагоне Государственного банка бесплатно, и я очень сожалел, что не поехал экспрессом, ибо путешествие продолжалось более двух суток. Оказалось, что работа транспорта налажена ещё не вполне. В этом же вагоне ехала дама с выздоравливающим после ранения в руку сыном. Это оказалась баронесса Таубе, знакомая мне по Симбирску. Но тогда она была совсем молодой худенькой женщиной, обладавшей сильным голосом и чудными чёрными очами. Очи и голос остались теми же, но из худенькой она превратилась в пожилую полную даму. Жила она концертами и с этой целью отправлялась в Тюмень.

Ехали мы не спеша и на одной станции, где застрял наш поезд, решили устроить пикничок.

Железнодорожный сторож поставил нам самовар, сторожиха приготовила яичницу, и мы весело и с аппетитом позавтракали.

На этот раз героиней дня была моя дочурка Наташа. Она перешла на второй курс Горного института и только что вернулась из Перми, куда ездила с матерью, дабы сдавать экзамены на второй курс юридического факультета.

Пантелеев, управляющий нашим банком, ни за что не согласился отпустить мою дочь и жену в гостиницу и приютил у себя.

— Откуда у тебя такие способности, моя дочурка, вот уж не в папеньку пошла.

— Зачем же, папа, ты на себя клевещешь? Ведь ты сам же мне говорил, что окончил реальное первым учеником.

— Так-то оно так, Наташенька, но ведь реальное никак нельзя сравнивать с двумя факультетами, на которых ты состоишь единовременно.

Зато Толюше наука не давалась. Не то чтобы он был ленив или неспособен, но просто не везло из-за переживаемых событий. Вот и теперь он был призван и должен бросить Горный институт. Слава Богу, что удалось его определить в артиллерийское училище, куда на днях он должен ехать.

За время отсутствия в моей квартире по просьбе жившего у меня полковника Тюнегова состоялось заседание военного совета под председательством генерала Дитерихса. Это заседание было обставлено большой таинственностью.

На этом совещании, очевидно, решался вопрос, принимать Дитерихсу командование над армией или нет. Вопрос этот был решён положительно, и вскоре он командование принял.

Несмотря на вроде бы благоприятное для дела решение, указывающее на надежду победить, Тюнегов после заседания подошёл к моей жене и сказал:

— Знаете, я всё же посоветовал бы вам продать всю обстановку и уехать в Омск.

Жена передала мне эту фразу. Но как решиться всё продать и бросить службу в банке только на основании совета юного полковника?!

Во время моего последнего пребывания в Омске под Екатеринбургом был расположен на отдых Литовский уланский полк, квартировавший ранее в Симбирске, где мы часто устраивали для офицеров вечеринки и обеды, а для симпатичного командира, князя Туманова, и картишки.

Конечно, все уцелевшие офицеры, знавшие нас, приехали с визитами, и наш дом вновь наполнился весёлым звоном шпор. Из прежних офицеров полка частенько бывали фон Братке, Фёдоров, Ключарёв. Познакомились мы и с их молодыми жёнами и новым командиром полка, красавцем Ашаниным. Последний обратился к моей жене с просьбой принять на хранение два полковых штандарта. Жена дала согласие, и мы поместили в кладовой нашего банка два огромных ящика.

Советы Тюнегова остались в памяти, почему я предложил жене проехать со мной в Омск и осмотреть как город, так и те две комнаты, что я приказал отделать для себя в помещении банка.

— Если, — говорил я, — ты найдёшь возможным поселиться там, то я исполню просьбу Михайлова и переселюсь в Омск, отказавшись от Екатеринбурга, и, получив теплушку, перевезу большую часть нашей обстановки.

Жена согласилась, и в конце мая мы поехали в Омск с дочуркой. Эта поездка особенно улыбалась жене. Толя уже находился в юнкерском училище, и предстояло свидание с ним.

Поэтому, не откладывая, мы воспользовались даровым проездом в вагоне Государственного банка и двинулись в путь.

В Омске нас встретил Мика, призванный на службу прапорщиком запаса артиллерии. Ему тогда было уже пятьдесят пять лет.

Моим спутницам Омск понравился. Особенно приятна была для них уличная сутолока…

Квартира оказалась тоже приемлемой.

Жена была рада повидаться с симбирцами: с семьёй доктора Крузе, с доктором Грязновым, который после нашего отъезда из Симбирска развёлся с женой Елизаветой Александровной, был где-то на западе врачебным инспектором и, наконец, перевёлся в Омск, где успел жениться на очень миловидной докторше.

У него как у хорошего акушера практика была большая. Он, разыскав нас, настоятельно просил в этот же вечер побывать у него, пообещав собрать симбирских знакомых.

В Омск он попал ещё до гражданской войны. Квартира у него была приличная. Обстановка тоже была хороша, и я радовался за приятеля. После тяжёлой семейной жизни с первой женой он был теперь счастлив.

В этот приезд я вторично посетил «дворянский монастырь» Белякова, где ютились многие симбирские дворяне. Ему каким-то чудом удалось угнать из своего имения целый табун, чуть ли не сто голов чистокровных лошадей, и с большим успехом пускать их здесь на бегах.

Я был счастлив, что мне удалось ему помочь финансово, учтя векселя на девяносто тысяч рублей.

«Дворянским монастырем» прозывалась его небольшая квартира, в которой ютились: Леонид Иванович Афанасьев, Дубровин, князь Александр Николаевич Ухтомский и Саша Мещеринов. Приятно было их повидать и вспомнить старое привольное житьё.

Частенько забегал к нам милейший Владимир Александрович Варламов. Встретился я и с Михаилом Михайловичем Головкиным. Он пировал со своими сослуживцами на пароходе и поздравил меня с проведённой реформой уничтожения керенок.

— Мог ли я думать, когда мы жили в Симбирске, что вы окажетесь таким финансовым деятелем? Когда я вас слушал на съезде, то просто руками разводил — так много вы сообщили нам интересного и нового.

В этот же приезд я встретил на улице Фёдора Александровича Головинского, занимавшего во время революции должность симбирского губернатора, за что большинство беженцев относились к нему не вполне дружелюбно. Он сильно постарел и пополнел. Встретил я в сквере и знаменитого Васеньку Теплова, сильно обрюзгшего, но мало изменившегося. Он всех ругал, по-прежнему пил и скандалил.

Побывал на завтраке и у Николая Александровича Мотовилова. Он жил с семьёй в отдельном домике. В Омск Мотовилов перебрался в начале революции, сбежав со своего вице-губернаторского поста и заняв здесь должность страхового инспектора. Его жена ещё сильнее располнела, а дочурка превратилась в юную красавицу с целым хвостом поклонников.

Он намеревался заняться колбасным делом и просил кредит на оборудование колбасной фабрики.

— Что же, Николай Александрович, дело, конечно, хорошее, но немного не вовремя начинаете.

— Почему не вовремя?

— Потому, что надо было об этом думать год тому назад. Теперь вы были бы миллионером. Начинать же сейчас нельзя, ибо слишком неопределённо и неустойчиво политическое положение.

— Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать, что моя вера в конечный успех Омского правительства начинает колебаться.

— Полноте пораженчествовать, — вмешался в разговор Гельдшерт, товарищ прокурора Симбирского суда, сын старика Гельдшерта, которого солдаты разорвали на станции Инза, — я и мысли не допускаю о победе большевиков.

В этот же приезд удалось повидаться и с Эбулдиновым. Дмитрий Михайлович устроился в Министерстве юстиции и продолжал заниматься адвокатурой. Он почти не изменился, но зато сильно постарела его жена Анна Ивановна.

Пришлось с Эбулдиновым встретиться и на собрании пайщиков Волжского товарищества, куда он был приглашён юрисконсультом. Я же на собрании председательствовал.

Отчёт Эбулдинова казался блестящим. Из двух миллионов рублей капитала Кузмичёв с Мельниковым сумели за полгода сделать пятнадцать миллионов. Товарищество занималось почти исключительно поставками в армию. Все члены ликовали, но моя поправка к отчёту указывала, что радоваться, в сущности, было нечему. Поправка состояла в сравнении курса денег. Когда начинали дело, стоимость рубля была равна десяти копейкам, а теперь рубль упал до двух копеек. Выходило, что вначале мы имели золотом двести тысяч рублей, а теперь — не более трёхсот. Конечно, хорошо, но не так блестяще, как указывает отчёт.

Всё же, несмотря на эту поправку, настроение пайщиков было хорошее, и заседание закончилось весёлым ужином в «России».

На другой день я побывал с визитом у Михаила Петровича Мельникова. У него за завтраком я встретил бывшего юрисконсульта нашего Симбирского отделения Михаила Алексеевича Малиновского. Ныне он занимал должность товарища министра юстиции. Жил он в Омске вместе с сыном-гимназистом и дочерью, бывшей подругой моей Наташи по гимназии Якубовича.

Через несколько дней, в одно из воскресений, я пошёл бродить по Омску и забрёл на кладбище, где вновь, встретился с Малиновским.

Присели на лавочку, и здесь он рассказал мне все подробности его ареста в Симбирске.

Он проживал в собственном доме на Сенной площади, где во втором этаже квартировал председатель Симбирского суда

Поляков.

— Как-то ночью послышался стук в дверь. Пришлось открыть, и наверх повалила толпа матросни и солдат для обыска у Полякова. Обыск закончился его арестом, а затем зашли ко мне и арестовали меня за то, что я состоял председателем кадетской партии.

Нас повели по Нижне-Солдатской улице к Петропавловскому спуску. Когда я увидел направление нашего движения, то понял, что дело скверное, ибо никакого арестного дома в этом направлении не было. Значит, подумал я, ведут в безлюдное место для расстрела.

Спустившись немного вниз по спуску, нам приказали остановиться на косогоре, а «товарищи», стоя на мостовой, навели на нас винтовки. Момент был невыразимо тяжёлый. Хотелось бежать, но ноги не повиновались. Раздался залп. Мы оба упали, и я потерял сознание. Когда я очнулся от сильной боли в нижней части живота, уже рассвело. Около меня ничком лежал убитый наповал Поляков. Какой-то мужчина, узнав меня, позвал извозчика и доставил в больницу, где врачи тотчас приступили к операции.

Вот тут-то и начались мои мучения, не столько физические, сколько нравственные. Скоро «товарищи», узнав, что я в больнице, поставили к моей кровати караул. При этом комиссар, нисколько не стесняясь, сказал: «Ладно, пускай помирает, а не помрёт, так мы снова его расстреляем».

Но, слава Богу, Симбирск был взят белыми, и я очутился на свободе.

Не знали мы оба тогда, что Михаилу Алексеевичу вновь придётся очутиться под расстрелом.

Почему-то он не бежал из Омска, вероятно, не считая возможным покинуть свой пост, будучи человеком чести и долга.

Позже я узнал, что он был посажен в тюрьму и после больших издевательств его расстреляли вместе с сыном-гимназистом.

Мир праху твоему, дорогой Михаил Алексеевич. О тебе могу сказать только хорошее, ибо дурного не знаю.

ЭВАКУАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

Подходил юбилей нашей свадьбы. Шестого июня по старому стилю мы состояли в браке двадцать пять лет. Предстояло отпраздновать серебряную свадьбу.

Мы решили устроить торжество в Омске из-за Толюши. С этой целью я снял польский ресторан, за что заплатил полторы или две тысячи рублей с ужином на тридцать-сорок человек. Приглашены были только близкие знакомые по Симбирску, Екатеринбургу и Омску. Ужин подали вполне приличный. Было много вина, но без шампанского. Взамен устроили крюшон. Ресторан был закрыт для посторонних посетителей. Большое веселье своей удивительной игрой на рояле внёс приглашённый мною военнопленный, профессор Пражской консерватории. Взял он с меня сто рублей и весь вечер услаждал наш слух виртуозным исполнением музыкальных шедевров. Толя своим сильным и красивым баритоном спел нам «Чарочку».

Через день мы уже сидели в вагоне Государственного банка и направлялись в Екатеринбург, чтобы уложить наши вещи и переселиться в Омск. На этом настаивал Михайлов. Он дал разрешение на провоз домашних вещей в отдельной теплушке.

Спустя недели две до нас дошли тревожные слухи о падении Перми. Это означало, что Екатеринбург вновь не только становится прифронтовой полосой, но и находится под ударом Красной армии.

Становилось совершенно ясным, что Екатеринбургу не устоять. Нечего было и думать о переезде в Омск. Надо было считаться со скорой возможностью эвакуации города и нашего отделения.

На вокзале я встретил одного чиновника Государственного банка, только что прибывшего с поездом, и расспросил его о падении Перми.

— Что я могу вам сказать? Мы так же, как и вы, считали, что время ещё есть, что войска у Вятки, а они оказались у Перми. Наши войска не желают драться, а едут длинной лентой на подводах, а за ними следуют красные. Наши остановятся кормить лошадей, и красные тоже. Увидят, что наши двинулись, и красные двигаются за ними. И те и другие не стреляют, не дерутся.

Эвакуация из Перми — это сплошное безобразие. Никто ничего не смог вывезти. Не только поезда, но и приготовленных лошадей с телегами солдаты отбивали от мирных граждан.

Об эвакуации нашего отделения он ничего не знал.

Тотчас по возращении в банк я написал письмо товарищу

министра финансов Кармазинскому, в котором, не сгущая красок, изобразил всё, что видел и слышал. Раз идёт брожение в солдатских массах, отказывающихся драться, нужно считать дело проигранным. Если падёт Урал и все заводы перейдут в руки красных, то снабжение нашей армии боевыми припасами прекратится и Омск падёт тоже. Я просил Кармазинского прочесть это письмо Михайлову и сказать ему, что моё мнение сводится к тому, что необходимо немедля отправить золотые запасы под сильной охраной на восток, где в Забайкалье возможно будет закрепиться войскам Колчака, и переждать некоторое время. Если этого не сделают, то без золота Омское правительство погибнет.

С этого момента потянулись дни, полные сомнений, бесплодных упований и тяжёлых разочарований. Один слух сменял другой. Говорилось об измене Гайды, чем и объясняли смену главнокомандующих. Теперь вся власть над армиями перешла к русскому генералу Дитерихсу. Уверяли, что он выработал гениальный план и никакая опасность Екатеринбургу не угрожает. Одновременно в город проникали самые противоположные слухи о том, что Екатеринбург окружён красными и выехать нельзя.

Но хуже всего раздражали приказы нового главнокомандующего, генерала Дитерихса. В пятницу восьмого июля был отдан приказ о том, чтобы банки оставались на местах и спокойно исполняли свою работу, а перед этим объявлялась полная мобилизация всех мужчин, способных носить оружие.

Банковский комитет собирался каждый день, но мы не решались поднимать вопроса об эвакуации банков. Однако прибывшие на лошадях служащие пермских отделений подтвердили слышанное мной. Решено было произвести частичную эвакуацию, т. е. оставить при отделениях минимальный состав служащих, принимая в счёт тех из них, которые не желали покидать Екатеринбург. Всех остальных, особенно барышень, эвакуировать в Омск. С ними же отправить те книги, без которых можно обойтись. Но как можно было обслуживать банк без старших доверенных? Поэтому мне поручили переговорить с командующим войсками и испросить разрешения оставить на каждый банк, за исключением управляющих, по три лица — бухгалтера, кассира и артельщика, а также выделить на каждый банк хотя бы по одной теплушке.

Я отправился к командующему армией и был удивлён, что вопреки слухам им оказался генерал Гайда. Я видел его в первый раз. Молодой генерал принял меня любезно и на мой доклад и просьбу ответил согласием. Однако прибавил, что просьбу об

освобождении трёх служащих надо направить в штаб главнокомандующего, что расположен в здании мужской гимназии. На моё прошение он наложил резолюцию о согласии и предложил проехать вместе с ним.

Я отправился в гимназию, где помещался штаб Дитерихса, но она оказалась пустой. Пробродив по залам порядочное время, я наконец узнал от гимназического сторожа, что весь штаб ночью выехал в Тюмень.

С этим известием на меня надвинулись тяжёлые мысли. «Как же так? думал я. — Нам предлагают оставаться на местах, а штаб удирает в Тюмень, бросая шесть банков с их денежными ресурсами врагу. Тут какое-то недоразумение…» И я, приехав домой, тотчас собрал комитет.

Все были взволнованы и решили принять меры к обеспечению себя теплушками, но это оказалось не так легко. Комендант в просьбе отказал. Тогда Щепин, вынув из кармана несколько слитков золота, общим весом около двух фунтов, положил их на стол перед комендантом.

— Это что?

— Самое чистое аффинированное золото. Думаю, пригодится. Мы надеемся получить не только шесть вагонов, но и ваше содействие в их погрузке.

— Вагоны будут поданы.

Полученная мной для вещей теплушка была почти погружена, оставалось внести рояль. Но в это время приехал Владимир Михайлович Имшенецкий с просьбой уступить место его больной жене, которую нельзя везти на лошадях.

Делать нечего, рояль решили не брать, место уступили.

Весь следующий день прошёл в хлопотах по прицепке к составу теплушки. Но, несмотря на распоряжение коменданта, теплушка стояла на месте. Тогда я решился искать протекции у стрелочников. В домике оказалось четыре стрелочника, покуривавших трубки.

Я обратился к ним с просьбой прицепить принадлежащую мне теплушку к составу отходящего поезда. Никакого ответа.

— Вот что, ребята, если моя просьба будет исполнена, то получите от меня пятьсот рублей.

— Вы что же, гражданин, подкупить нас хотите? А мы пойдём да на вас донесём, что вы нам взятку предлагаете.

— Тут никакой взятки нет. Взяткой считают подкуп на незаконное дело. В моей же просьбе ничего незаконного нет. Разрешение на эту теплушку есть, она и без денег должна быть прицеплена, но за полным отсутствием порядка я решил вознаградить вас. Так вот спрашиваю ещё раз: хотите получить

пятьсот рублей — прицепляйте сейчас же, не хотите — пойду говорить с главным комендантом.

— Ну ладно, прицепим.

И теплушка отправилась в Омск с отходящим поездом.

На другой день к вечеру должны были подать теплушки для служащих банка. Я не мог их проводить, так как стёр себе ногу, и попросил исполнить эту обязанность Щепина. Целый день приходили служащие-барышни и умоляли разрешить им взять с собой своих родителей, братьев и сестёр.

— Да ведь мест же нет. Куда вы их посадите?

— Как-нибудь посадим, только разрешите.

Отказать, конечно, было нельзя… Вечером на вокзале собрались служащие шести банков с семьями.

Едва были поданы теплушки, как в них хлынула толпа, и ни один из наших в них не попал. Тогда вторично подали теплушки — уже далеко за вокзалом. Но их было всего пять, из коих одну за ветхостью пришлось отцепить. Служащие едва в них втиснулись. Но, слава Богу, теплушки удалось прицепить к поезду, и девушки со своими семьями были отправлены.

В каждом отделении банка осталось на работе по четыре человека, если не считать тех из них, кто не желал покидать Екатеринбург.

Надо сказать, что и клиентура почти отсутствовала. Правда, нашлось несколько чудаков, которые, несмотря на мои предупреждения, что банк приготовлен к эвакуации, отвечали:

— Вот поэтому-то мы и вносим вам наши денежки. Придут большевики отнимут у нас всё, а у вас сохраннее будет. Вернётесь и всё нам отдадите, за вами не пропадёт.

На следующий день наш артельщик, относивший деньги в Госбанк, вернулся с известием, что банк, ночью спешно эвакуировавшийся из Екатеринбурга, оказался закрытым.

Я тотчас собрал комитет на его последнее заседание.

— Господа, раз Государственный банк эвакуирован, нам надо завтра же покинуть Екатеринбург. Нас просто забыли. Этот богомолец Дитерихс, отдавая приказ оставаться на местах и работать, дать приказ об эвакуации не позаботился.

— Зачем же откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня? Надо выбираться сегодня вечером, — ответили коллеги.

— Совершенно правильно, — ответил я, — но имеете ли вы надежду получить место в вагонах? То, что делалось при отправке служащих, говорит против этого. Вокзал окружён многотысячной толпой, и нам вряд ли удастся добраться до поездов. Попасть же в вагон — дело почти невозможное, а ведь не забудьте, что с нами ценности.

— Как же быть? — спрашивали коллеги.

— Не знаю, господа. Полагаю, что по примеру нашего Пермского отделения придётся двинуться на лошадях.

Положение было почти безвыходное. Страх прокрадывался в душу, надо было действовать немедленно.

На помощь неожиданно пришла дочурка. Имея поклонников, она добилась через одного из них — Шевари, очень симпатичного хорвата, — трёх мест в последнем чешском эшелоне, готовящемся отойти завтра в шесть часов утра.

Жена целый день укладывала необходимейшие вещи.

Я отобрал все ценности в одну банковскую железную шкатулку. В неё поместилось и золото, около двух с половиной пудов, а кассовую наличность в кредитных я оставил под ответственность кассира и артельщика. На дворе уже стояли лошади. Служащие должны были погрузиться и завтра в восемь утра проехать на Екатеринбург-Второй, захватив там меня с семьёй, если мы окажемся без обещанных мест в чешском эшелоне.

Вещей набиралось при укладке гораздо больше, чем можно было взять, и все они казались жене необходимыми. Приходилось их выбрасывать из чемоданов. Наши жильцы, следователь Соколов и Тюнегов, давно уже отсутствовали, но последний приехал часов в восемь вечера и, увидев нас, всплеснул руками.

— Что вы делаете? Войска все уведены. Екатеринбург беззащитен, и, думаю, выбраться из него завтра не удастся. Я назначен комендантом города и ночь проведу не у вас, а в комендантском помещении. Дать вам место в вагонах не могу, так как весь состав уже отправлен в Омск.

Это свидание оставило самое тягостное впечатление. Неужели же мы обречены попасть в руки красных? Ведь мне, несомненно, угрожает расстрел. Оставалась надежда только на чехов, поддерживаемая Шевари, проведшим с нами под кровлей банковской квартиры последнюю ночь.

Все дни у меня гостил управляющий Алапаевским округом Борис Николаевич Карпов. Он ночевал в моём кабинете рядом с нашей спальней.

После вечернего чая мне пришла мысль спрятать не вмещавшиеся в чемодан вещи на печке. Печи были высоки, и над ними ещё возвышались кафли, так что на каждой из них оказался довольно глубокий ящик. Возможно, их не найдут, и мы спасём вещи от красных.

Надо будет дождаться ночи, спустить шторы и, заперев двери, ведущие из коридора в комнаты прислуги, начать их укладывать. Все одобрили мою мысль, и мы, сделав вид, что ложимся спать,

услали прислугу на покой.

Когда прислуга, убрав посуду, вышла, мы принялись за укладку. Началось лазанье по складной лестнице и укладка вещей на печках. И странное дело: те вещи, на которые, казалось, я смотрел так равнодушно, теперь не только особенно нравились мне, но как бы из неодушевлённых предметов превратились в одушевлённые и не только ожили, но стали говорить: «Спрячь, спрячь меня или возьми с собой. Я так хорошо служила тебе… За что же ты бросаешь меня?»

Вот в руках шапокляк, купленный лет пять назад, в Париже. Я надевал его всего раза два, не более, и совершенно забыл о его существовании…

Держа шапокляк и стирая с него пыль, я припоминал со всеми подробностями и магазин в Париже, где я его покупал, и приказчика-француза… А за этой картиной потянулись воспоминания и обо всей заграничной поездке.

— Ты что это замечтался? — спросила жена. — Слезай скорее, пора и спать.

Я сунул шапокляк между вещами на печку в прихожей и спустился вниз.

— Ну кажется, всё, что смогли, убрали, — говорила хлопотунья жена.

— Нет, погоди. Я не хочу, чтобы на моём бильярде играли красные. — И с этими словами я содрал с него сукно. — Возьми с собой — пригодится столы накрывать.

И жена сунула его к пледам.

Наконец в час ночи мы улеглись, но заснуть не могли. Сон бежал от нас, и одна картина печальнее другой представлялась в нашем воображении.

Ведь ещё так недавно, глядя на жизнь омских беженцев, я благодарил судьбу, что чаша сия меня миновала. И вот теперь сам превращаюсь в лишённого крова беженца. Слава Богу, если удастся бежать из Екатеринбурга… Воображение рисовало мне, что я уже на станции, чешский эшелон ушёл и я в отчаянии бегаю и ищу знакомого инженера Нагаткина, заведующего движением. Как же я забыл про него, он бы меня устроил. Во мне блеснула надежда на то, что ещё не всё пропало.

— Знаешь, не могу заснуть, — сказала жена.

И мы оба, накинув одежду, вышли в столовую, а оттуда на балкон. Ночь стояла тёплая и совершенно безветренная, но как-то было особенно темно и зловеще тихо. Совсем не слышно звуков, как будто всё кругом вымерло. Я напрягал слух, чтобы услышать отдалённые выстрелы неприятельских войск. Но стояла полнейшая тишина, даже собаки не лаяли.

К нам на балкон вышел и Карпов.

— Что, тоже не можете заснуть? — спросил я его.

— Да, не получается… А знаете что? Мне пришла хорошая мысль на тот случай, если вам не удастся уехать с чехами. Завтра в одиннадцать дня уходит поезд на Тагил. Я должен с ним ехать. Поедемте вместе? А там, приехав в Алапаевск, я погружу поезда железом, чугуном и частями машин, без которых красные работать не смогут, и мы благополучно прибудем окружным путём в ту же Тюмень.

— А ведь это действительно блестящая мысль! Вероятно, путь на север свободен и от красных, и от беженцев. Спасибо, большое вам спасибо! — И я потряс его руку.

— Пойдёмте-ка спать, господа, уже полчаса третьего.

Успокоенные надеждами и на Нагаткина, и на выезд в Тагил, мы с женой улеглись в кровати и крепко заснули.

В пять часов затрещал будильник. Мы оба вскочили, открыли двери к прислуге, и в столовой появился самовар. Наскоро закусив и раздав кое-какие вещи, а корову подарив обрадованной кухарке, мы погрузили вещи на подводу, нанятую ещё с вечера, и, сев в пролётку, двинулись на Екатеринбург-Второй.

Несмотря на ранний час, на улицах было большое движение, повсюду шли подводы, нагруженные домашним скарбом. Всё это были люди, потерявшие надежду найти место на поездах и решившие ехать в Тюмень на лошадях.

Многие шли пешком с котомками за плечами.

У магазина Топорищева нам повстречался Поклевский-Козелл. Он ехал в обратную сторону и высоко приподнял свой котелок, салютуя нам на прощание.

Но вот и вокзал. Эшелон чехов стоял на запасном пути, и мы все свободно вздохнули.

Нам отвели три длинные лавки в вагоне третьего класса, и мы не без труда разместили там свои вещи. Особенно было тяжело, делая вид, что в моих руках лёгкий груз, тащить шкатулку с золотыми слитками. Но я благополучно внёс её в вагон и задвинул под скамейку. На душе было спокойно и даже радостно.

Но радость оказалась преждевременной. Наш поезд, должный отойти в шесть часов, всё ещё стоял на месте. Часовая стрелка показывала десять.

Что делать? От Шевари я узнал, что машинисты саботируют, утверждая, что нет здоровых локомотивов.

— Как же быть? Знаете что? Я проеду и разыщу инженера Нагаткина, сказал я.

— Нет, уверяю вас, что часа через два мы двинемся в путь.

Прошли и эти два часа, а мы всё стояли.

В это время жена обнаружила, что забыла осеннее пальто. Я вызвал по телефону кухарку, сказал ей об этом и попросил привезти что-нибудь поесть.

Она исполнила и то и другое. Приехавший с ней Одинцов сказал, что служащие отложили отъезд до завтра, так как недовольны одной лошадью, которую необходимо переменить, да и перековать.

— Смотрите, сегодня к вечеру в город могут войти красные, — добавил Одинцов.

— Нет, все говорят, что они далеко.

— Ну, смотрите же, заезжайте завтра за нами, а то я не уверен, что подадут паровоз.

— Конечно, конечно, заедем, — заверили мы Одинцова.

Пропустив все сроки отхода поездов на Тагил, мы стояли на том же месте. Опять пошли невесёлые мысли, ещё более тревожные, чем вчера.

Однако чехи успокаивали нас, говоря, что если сегодня не дадут паровоза, то они сами пойдут в депо и силой его возьмут.

Настал и вечер. Не более чем в полуверсте от нас остановились поезда с каким-то нашим кавалерийским полком. Загорелись костры, возле которых мелькали фигуры солдат. Слышалась солдатская песня, прерываемая крепким русским словом. Видимо, кавалеристы были на взводе.

Кто-то из кавалеристов подошёл к эшелону и, узнав, что это чехи, спросил, давно ли они прибыли.

Чехам стало стыдно говорить, что они уходят, и они ответили, что прибыли на защиту Екатеринбурга сегодня утром.

Кавалерист побежал к своим и через несколько минут раздалось громкое «ура!» в честь чехов…

Ох, как было стыдно, как обидно… Мне хотелось бросить всё и побежать на эти огоньки, слиться с солдатами и пойти с ними в бой.

Поезд не двигался, пришлось ложиться спать. Я долго не засыпал. Ясно, что Екатеринбург окружён и дорожная бригада эшелона с чехами предана красным. Положим, завтра я буду иметь возможность сесть на лошадей, но удастся ли выехать? Да и старая Полканка слишком ненадежна, чтобы можно было удрать от погони.

Проснулся я довольно поздно и с ужасом увидел, что поезд стоит на том же месте. Жена начала готовиться к пересадке на лошадей. Пришлось бросить почти все вещи и взять только самое необходимое.

Но вот и восемь часов, а лошадей всё нет. Пробило девять

часов, девять с половиной, а лошадей всё нет. В мозг закрадывалась мысль, что служащие или не пожелали исполнить приказа и бросили меня на произвол судьбы, или решили воспользоваться кредитными билетами, что у них остались в кассе, и отказались от эвакуации.

Наконец среди чехов волнение и негодование достигли таких размеров, что они, вооружившись винтовками и бомбами, ушли штурмовать станцию.

Узнав, что поезд сейчас двинется, я понял: мера устрашения подействовала. Долгожданный паровоз, ударившись об эшелон, занял своё место. Мы все перекрестились.

Как я потом узнал, паровоз был получен благодаря не устрашению, а подкупу машиниста, который помимо денег получил хорошую порцию съестных припасов и ведро водки.

Мы тронулись. Но недолог был наш путь. На первом же полустанке мы остановились, и поезд простоял около двух часов. Путь оказался занятым. Нас опять охватила тревога.

Как ни опасно было далеко отходить от поезда, я всё же рискнул пройти вперёд, до места скрещения рельсового пути с шоссе, в надежде увидеть там обоз нашего банка.

По шоссе непрерывной лентой двигался народ. Ехали тройки, пары, одиночки, телеги и экипажи с горками поклажи, а вокруг шли непрерывной лентой женщины, дети и старики… Всё это были люди, не нашедшие места в поездах.

Военные власти не понимали, что идёт гражданская война, и, уводя войска, они бросали население с накопленными богатствами на произвол судьбы. Из этих же сданных красным людей сформируются полки, которые поспособствуют падению Белой армии…

Почему же не дать заблаговременный приказ о постепенной эвакуации всего населения? Мне скажут, что это могло плохо повлиять на армию. Но ведь армия не дралась, а уходила на обозах, и трёхдневная беспорядочная эвакуация ещё сильнее действовала на психику.

А кто бежал? Из кого состояли эти десятки тысяч беженцев, идущих пешком по шоссе? «Буржуи»? Нет! Их был небольшой процент. Бежал народ, не сочувствовавший красным.

На перекрёстке я случайно разговорился с одной бедно одетой, уже немолодой крестьянской девкой.

Она стояла неподалеку и, робко подойдя ко мне, спросила:

— Далёко ли можно идти по шоссе?

— Куда?

— Да вот от красных. Говорят, что недалёк уже конец света и дальше идти нельзя.

— Да ты сама-то откуда? — спрашиваю я.

— Мы-то с Польши.

— Как же ты попала на Урал?

— А как немцы подходили к нашей деревне, матка с батькой благословили меня и приказали уходить, я и пришла к вам на Урал.

— Как, пешком?!

— А то как же!.. Тут больше года работала на Верх-Исетском заводе, да вот они опять сюда идут.

— Кто, немцы?

— Не, красные… Говорят, они похуже немцев будут. Вот я завод-то бросила, да не знаю, куда идти. Люди говорят, что скоро уж конец земли…

Я успокоил её, сказав, что земли в три-четыре раза больше, чем то расстояние, что она прошла. А там уже море будет. А коли на юг свернёшь, попадёшь в Китай. Там тоже земли много.

Она, видимо, обрадовалась моим указаниям. Я сунул ей несколько сибирок, а сам побежал к поезду, дававшему свистки.

Поезд двинулся, но шёл медленно, делая большие остановки на станциях. Все с волнением ждали станций Богдановичи и Божаново, опасаясь, что путь там перехвачен красными. Слава Богу, чаша сия нас миновала, и мы все вздохнули свободно.

Настала ночь, и мы, успокоенные тем, что опасность окружения миновала, с наслаждением вытянулись на наших лавках и быстро погрузились в сон.

Вдруг ночью раздался сильный удар, и я слетел с верхней лавки на пол. В вагоне потух свет, снаружи слышались отчаянные крики и стоны. Я начал было шарить по карманам, ища спички. Но из аптечки докторши выпала бутылка с бензином и, разбившись, окатила весь пол вагона. И я сообразил, что огня зажигать нельзя.

Выйдя ощупью наружу, я узнал, что поезд стоит без сигнальных огней около станции. Почему-то весь служебный персонал её покинул, что подсказывало вероятность увода служащих отрядом красных, притаившимся в лесу.

В конце поезда копошились люди, слышались стоны. Я побежал туда. Перед моими глазами предстало пять разбитых теплушек.

Оказалось, что машинист, заметив станцию без огней, убавил ход, и на наш поезд налетел шедший сзади. Наш вагон был седьмым. А в шестом везли медные слитки кыштымского завода. Вагон этот благодаря грузу уцелел сам и спас нас от крушения.

Было страшно. Я с минуты на минуту ждал нападения, которое не последовало только потому, что наш поезд

сопровождался хорошо вооружённым воинским эшелоном. Возможно, отряд красных был слаб и побоялся вступить в бой.

Стало светать. После двухчасовой уборки разбитых вагонов и перенесения раненых в другие теплушки мы снова двинулись в путь.

ВНОВЬ В ОМСКЕ

На девятый день наш эшелон подошёл к Омску.

Оказалось, что дано распоряжение беженцев из вагонов не выпускать, а направлять в дальнейшие города Сибири.

Я бросился к телефону, соединился с Кармазинским и при его содействии получил разрешение на остановку в Омске.

Следуя на извозчиках к банку, мы встретили Мику, уже в военном мундире прапорщика, который сообщил нам грустную новость: заболел мой сын Толюша.

Мы тотчас же поехали в кадетский корпус, где помещалось артиллерийское училище, и разыскали в лазарете сына. Его лицо было забинтовано и искажено до неузнаваемости.

Причина заболевания, вероятнее всего, объяснялась нервным потрясением, осложнённым простудой.

Оказалось, что несколько дней назад в училище проник какой-то пьяный офицер. Дело было поздним вечером. Юнкера находились в дортуарах.

Пьяница стал скандалить и довёл дело до того, что дежурный офицер отдал приказ юнкерам, в том числе и сыну, арестовать его силой. Офицер этот вытащил револьвер и произвёл несколько выстрелов в юнкеров, но промахнулся. Его арестовали и отвели на гауптвахту.

Сыну в числе нескольких юнкеров пришлось конвоировать его по улицам. Пьяница упирался и дрался.

Вернувшись в училище сильно вспотевшим (окна ночью были открыты). Толя проснулся со скошенным лицом.

Мы сильно перепугались за сына, и я вызвал доктора Крузе.

Результат осмотра был благоприятен. Доктор сказал, что болезнь длительного порядка, но излечима массажем и электричеством.

В Омске остановились, конечно, в банке, в незатейливой комнате, которую раньше занимала прислуга и где ставили самовары.

Вагон с вещами прибыл несколько раньше, что дало нам возможность кое-как её обставить. В этой комнате поместился я с женой и Наташей. Тут же поставили и кровать на случай ночёвки сына.

Мою мать же, приехавшую в Омск дней за десять до нас, устроили в конце непроходного широкого коридора. Старушка жаловалась на это помещение, несмотря на то что её скромный тёмный уголок был предметом зависти многих служащих. Большинство из них не имели собственного угла, спали в

операционном зале на полу, а днём находились или на лестнице, или во дворе.

Утром, в семь часов, вся эта компания поднималась и становилась в длинную очередь перед единственной уборной.

Я и моя семья не хотели пользоваться директорской привилегией и стояли в хвосте очереди с полотенцем и мылом в руках.

Конечно, при такой перегруженности и нашей русской неряшливости уборная содержалась грязно, что делало пребывание в ней большим страданием.

Кухня была одна, с небольшой плитой. Пользоваться последней тоже надо было поочередно, что рождало немало ссор между хозяйками.

Я предложил образовать коммунальную столовую, что могло удовлетворить нас всех и дать возможность иметь дешёвый и сытный обед. Первой взялась кухарить Филицата Германовна Прейсфренд. Она давала нам превосходный стол, но несколько жирный. Однако этот опыт пришлось отменить, ибо наша импровизированная кухарка стала обижаться на нас за то, что мы слишком мало едим. Для многих обед казался дорогим, хотя он обходился немного дешевле, чем в кухмистерских, где кормили отвратительно. Наконец, у всех оказались разные вкусы. Дело дошло до обид, и пришлось ликвидировать этот простейший способ коммунизации хозяйства.

— Вот, господа, блестящий пример коммунальной жизни, — торжествовал я, — посмотрим, как «товарищи» справятся с ней в России.

Пришлось опять посещать рестораны и кухмистерские, где обед обходился в шесть — десять рублей, что было и дороже, и скверно, да и кормили несытно.

Дочурка наша со свойственной ей энергией тотчас отправилась к Афанасьеву в Министерство снабжения и продовольствия и, получив там место, рьяно принялась исполнять служебные обязанности, стараясь прилежанием опередить подруг.

Я радовался за дочурку, что тяжёлые дни беженских лишений она сумела скрасить служебными интересами.

В Омске нашлось много беженских семей, близко знакомых нам ещё по Симбирску. Несмотря на убогость комнаты, нас часто навещали, что вносило известный интерес в нашу жизнь. Частенько ходили мы и в синематографы, всегда переполненные народом.

С увеличением населения в Омске появилась масса крыс огромного размера, дерзавших появляться в комнатах даже днём. Стоило в комнате министерства, где работала Комиссия по

вопросам денежных реформ, тихо посидеть несколько минут, как из щелей появлялось несколько крыс, быстро исчезавших при первом шуме.

Состояние Толюши быстро шло к выздоровлению.

Приход по воскресным дням юнкеров и нескольких их преподавателей, среди которых оказался Арцыбашев, сын бывшего симбирского вице-губернатора, вносил большое оживление не только в жизнь молодёжи, но и в нашу.

Шевари мне удалось устроить в Министерство финансов, и он занял место секретаря Кармазинского. Я был очень рад, что удалось отблагодарить Шевари за помощь, оказанную при нашем бегстве из Екатеринбурга.

Я довольно близко сошёлся с Николаем Оттовичем Лемке, и мы частенько по вечерам делали порядочные прогулки пешком в окрестности Омска, обычно придерживаясь полотна железной дороги, и изредка ходили купаться в многоводном Иртыше.

Нередко заходили в ресторанчики, где за кружкой пива коротали вечера.

Когда по приезде в Омск я явился к Михайлову, он уже в третий раз стал настаивать на моём вступлении в должность директора Кредитной канцелярии, поскольку теперь я переселился в Омск на постоянное жительство. Но по тем же причинам я опять отказался. Да к тому же носились слухи о скором прибытии из Парижа некоего Новицкого, приглашённого на эту должность с усиленным окладом.

Мне были известны некоторые его доклады по денежному обращению, из коих сквозило плохое знакомство с этими вопросами.

Министр был недоволен моим отказом, но попросил поработать в Комиссии по экономии, занимавшейся сокращением штатов служащих и урезкой их содержания, и в Комиссии по финансированию Южно-Сибирской магистрали, которую строил тогда Остроумов.

Обе комиссии были совершенно противоположны по заданиям, но я решил твердо стоять на своём мнении, что вводить сейчас экономию на кредитные обесцененные рубли совершенно невозможно по политическим соображениям. Правда, штаты министерств — не только нашего, но и всех остальных чрезвычайно разрослись. Но ведь в них пристроились беженцы, которых надо было кормить.

— Серьёзное сокращение штатов, — сказал я, — поведёт к большому недовольству правительством. По-моему, единственное радикальное средство это прекращение новых приёмов служащих, даже на те места, которые освобождаются при призывах в армию.

Уменьшать же оклады при наличии падения стоимости кредитных денег невозможно. Наоборот, следовало бы их увеличить…

— Ваш взгляд совершенно расходится с заданиями комиссии, — ответил Михайлов. — Вы слишком широко смотрите на дело. Из-за ваших настояний погибло восемьдесят миллионов рублей, выданных нами разным заводам Урала.

— На это я могу сказать одно: зачем правительство без сопротивления отдало Урал? Ведь эти восемьдесят миллионов, в сущности, оцениваются теперь в четыре миллиона. А сколько железа получило правительство с Урала?..

Все сокращения свелись к увольнению нескольких мелких служащих.

Моё выступление в защиту просимой Остроумовым у казны ссуды в несколько десятков миллионов рублей на постройку следующего участка Южно-Сибирской магистрали было поддержано комиссией. Но Михайлов наложил своё вето, порекомендовав просить о займе у частных банков, которые без помощи Государственного банка ничего не могли сделать. Это было равносильно отказу.

В этом отношении министр оказался прав. Он перестал верить в благоприятный исход Белого движения. А давать деньги на постройку, когда железная дорога должна была подпасть под власть большевиков, было неразумно.

Однако Русско-Азиатский банк ухватился за эту идею, вероятно, под влиянием Гойера. Последнему адмирал Колчак вскоре предложил пост министра финансов, назначив Михайлова председателем Экономического совещания. Конечно, Русско-Азиатский банк дать заём Остроумову не смог, а надежды Гойера на поддержку займа во Франции не осуществились.

Я не знал о готовящейся смене министров и думал, что смена была бы неудачна. И в этом я не ошибся. Предложенная впоследствии Гойером реформа денежного обращения была до того наивна, что чуть было не подвела её автора под расстрел.

Реформа предлагала не принимать сибирские рубли в казённые платежи, а базироваться исключительно на царских кредитных билетах, которые и должны были приниматься Китайско-Восточной железной дорогой по десять копеек за рубль. Вот уж подлинно: унтер-офицерская вдова сама себя высекла… Курс сибирок после этого стремительно упал. Мне говорили, что кассы Русско-Азиатского банка, ставленником которого был Гойер, наполнены сибирками.

Отлично помню приём новым министром представителей банков.

Он сказал нам:

— Я был и есть банкир по профессии и, несмотря на министерский пост, остаюсь прежде всего банкиром.

И это было сказано в годы кровавой гражданской войны против коммунистов, которые не жалели слов на лозунги и кричали, что «вся власть рабочему народу»! А наш народ не очень-то любил банкиров.

Стало ясно, что Гойер не только останется банкиром, но и будет принимать к сердцу прежде всего интересы Русско-Азиатского банка. На съезде в Самаре я выступил против пожелания представителя этого банка открыть в Сибири отделение Французского банка. Служил я без жалованья, за что выговорил себе право отлучки во всякое время по моему усмотрению. На этот раз я согласился проехать в Харбин и Владивосток, для того чтобы прозондировать почву для открытия там комиссионерства нашего банка.

Ранее Михайлов предложил дирекциям банков перебраться в Иркутск, оставив в Омске для обслуживания местных отделений небольшой служебный персонал.

Этот вопрос разбирался в Банковском комитете, и даже удалось получить по одной теплушке на дирекцию. Этого было бы достаточно, если бы не требовалось вывозить безработный персонал.

В это время эвакуировалось артиллерийское училище, где мой сын состоял юнкером. Он прибежал к нам и сообщил, что начальник училища разрешил занимать свободные места родителям юнкеров. Это как нельзя лучше устраивало и мою семью, и персонал банка, ибо освобождалось четыре места. К тому же, покидая Омск в октябре, я избегал общей эвакуации города, которая, по моим расчётам, должна была наступить месяца через три, т. е. зимой. А ехать в теплушках зимой — верный способ или простудиться, или просто замерзнуть. Рассчитывать на то, чтобы получить топливо, которого могло не хватить и для паровозов, не приходилось.

Как раз в это время омские казаки заявили о своём желании поддержать Колчака и выступить против красных. Поддержка казаков многим казалась серьёзной, но я-то видел в ней лишь отсрочку событий на два-три месяца. Постановление казачьего круга гласило, что казаки решили защищать свои земли от наступления красных, не принимая участия в наступлении.

И дирекции банков отложили свой отъезд.

Я не был военным человеком, но мне думалось, что защитить Омск нельзя. С падением Урала правительство Колчака должно было либо совсем прекратить своё существование, либо,

приступив к планомерной эвакуации, перенести свою деятельность в Забайкалье, а все правительственные учреждения — к Семёнову в Читу и в Верхнеудинск и, находясь за Байкалом, начать переговоры с японцами об организации буфера. К этому принуждало и то обстоятельство, что чехи покидали Сибирь, уходя во Владивосток, и оставляли охрану железнодорожной линии. Для её охраны у адмирала Колчака не хватало войск. Конечно, надо было, как я и писал Кармазинскому, вывезти золотой фонд — основу финансовой мощи Омского правительства.

Тогда почему под охраной юнкеров этого не сделал Колчак?..

НА ПУТИ В ИРКУТСК

Рано утром первого сентября, погрузив часть имущества на подводу, мы прибыли на место стоянки артиллерийских эшелонов и получили теплушку, заваленную соломой и конским помётом.

Нам удалось нанять нескольких баб, которые не только вычистили теплушку, но и вымыли её кипятком с сулемой, что до известной степени гарантировало от заражения сыпняком.

В число наших спутников по вагону вошли: старуха Сергиевская с дочерью, две девицы, Ядя и Катя (обе они до беженства принадлежали к помещичьим семьям Бугульминского уезда), жена офицера училища, серба Митровича, жена поручика Арцыбашева и наша семья, состоящая из моей матери Софии Андреевны, жены, дочурки Наташи и меня. Я был единственным мужчиной среди десяти женщин, но с общего их разрешения занял место на верхних нарах, отгородив их плотной занавеской. За этой же занавеской поместились жена и Наташа. Мы постелили матрасы и устроились как могли. Видя, что в теплушке много места, я с согласия присутствующих дам распорядился привезти часть моей гостиной обстановки: красивый золочёный диванчик, два кресла, две мягкие табуретки и два стола, из коих один — ломберный. Теплушка приняла совсем нарядный вид и давала возможность дамам поочередно сидеть на мягкой мебели. В вагоне стояла печка-буржуйка, да ещё у нас был примус, дававший возможность готовить кофе и чай.

Если бы я знал, что мы покидаем Омск навсегда, то, конечно, захватил бы и кабинетный турецкий диван, и кресла, и письменный стол, да и часть сундуков можно было бы разместить в этом эшелоне. Вёз я и шкатулку с ценностями, принадлежащими Екатеринбургскому отделению. Со мной пришли проститься Лемке, Рожковский и многие служащие.

Нельзя сказать, чтобы мне было легко прощаться с ними. В мозгу шевелилась мысль о том, что предстоит испытать им всем при зимней эвакуации Омска. Тревожило сознание, что мой отъезд может быть истолкован ими, как трусость. И мне хотелось, отправив семью с этим эшелоном, остаться в Омске. Но здравый рассудок говорил, что мое присутствие здесь нисколько не повлияет на события. Всё равно падение Омска в ближайшем будущем неминуемо. Я больше пользы окажу банку, если сумею обосноваться в Харбине, открыв там комиссионерство…

Наконец часа в три дня наш поезд двинулся в путь.

Стоит ли описывать это долгое путешествие, длившееся более

пяти недель?

Из опасения нападения и порчи пути наши эшелоны ночью не шли, а часов с восьми или девяти вечера останавливались близ станции и отодвигались на запасной путь. Мы имели два локомотива и два тендера, один из коих был превращён в форт, на котором были установлены пулемёты и, кажется, пушка. Там всегда дежурили юнкера, ибо путь был небезопасен и всегда можно было ожидать нападения красных партизанских отрядов. Когда выходили из теплушек, я в сопровождении одной из дежурных по нашей теплушке девиц или дам обычно отправлялся с посудой в руках к кухне, где и становился в очередь для получения ужина. Кормили недурно, но очень однообразно, почему всегда приходилось покупать провизию на станции у сибирячек. Чего здесь только не было: и молоко, и жареные куры, и утки, и гуси… Иногда удавалось купить и кусок парного мяса.

Эту провизию разогревали на буржуйке, которую ставили на лужайке. На буржуйке жарили и мясо или огромную яичницу. К ужину прибегал и Толюша с товарищами. Часто заходили и офицеры училища, отчего ужин продолжался довольно долго и часто кончался дружным пением. Запевалой была голосистая Ядя. Особенно она любила исполнять романс «Мой шарабан», бывший тогда в моде.

Часов в двенадцать мы ложились спать и спали мирным сном до шести утра.

Стояла дивная осенняя пора. Ещё ярко светило солнце. Целительный воздух, плывущий на нас из бесконечных лесов Урала, бодрил путников.

С утра все разбредались: кто на станцию, кто, как я, в ближайший лесок. Бывали дни, когда я набирал порядочное количество ягод и грибов. Вернувшись в теплушку, я заставал всю компанию за утренним кофейком.

Часов в восемь поезд двигался далее. Частенько мы засаживались за преферанс или раскладывание пасьянсов. Бывали и бесконечные разговоры о прошлой жизни, о годах беженства.

Офицеры и юнкера приходили поухаживать за барышнями, в коих в нашей теплушке недостатка не было. Целый день слышались смех, шутки, анекдоты и пение.

Часа в два поезд останавливался, и мы все отправлялись за обедом.

После обеда шло фронтовое обучение юнкеров, и мы любовались их стройной маршировкой.

Казённый обед со временам приедался. Наконец начальство назначило шеф-поваром юнкера Мызникова. Этот способный юноша ухитрялся из той же провизии изготовлять нам приличный

по вкусу обед, разнообразя и супы, и жаркое.

И за довольствие это мы платили такие гроши, что я даже не запомнил его стоимость. Кажется, за четверых с меня получили во Владивостоке около пятисот рублей, что в то время вряд ли превышало восемь — десять золотых рублей.

На одной из станций, славившейся сибирским маслом, я взял целый бочонок пуда в три-четыре, кажется, по семь рублей за фунт. Так и привёз его во Владивосток, где масло оказалось очень дорого, и мы питались им почти год.

В Красноярске нас догнал офицер Зиновьев, один из ухажёров Наташи, и привёл к нам знакомую по Симбирску, очень уважаемую даму Марию Алексеевну Языкову вместе с Надеждой Николаевной Беляковой.

Приехал повидаться со мной и бывший управляющий Симбирским отделением нашего банка милый старичок Домаскин, которому из-за отсутствия помещения всё не удавалось открыть комиссионерство банка.

Как раз в это время зашёл в нашу теплушку и Владимир Михайлович Имшенецкий.

Из разговора выяснилось, что стоимость золота здесь поднялась и за золотник охотно платили двести рублей сибирскими. А при отъезде из Екатеринбурга его цена была девяносто рублей.

Оказалось, что Имшенецкий везёт с собой слиток в двадцать фунтов.

Услышав о цене, он начал просить Домаскина продать кому-нибудь его золото, а вырученные деньги перевести в Иркутск.

— Могу ли я, Владимир Петрович, доверить этот слиток вашему управляющему?

— О, без сомнения, слиток не пропадёт. И деньги вам будут переведены.

Весь разговор происходил у нас в вагоне в присутствии двенадцати пятнадцати человек.

Имшенецкий принёс свой слиток и передал его Домаскину под расписку, и мы втроём пошли провожать старика, неся тяжёлый слиток.

Когда же мы зашли за стоящий около нас поезд, я сказал Имшенецкому:

— Берите ваш слиток обратно, а через десять дней мы будем в Иркутске, и вы продадите его много дороже. Теперь же вернитесь в свою теплушку, пронесите слиток незаметно и спрячьте его от посторонних глаз.

Так мы и сделали. В Иркутске за золото уже платили по четыреста рублей за золотник. Так я спас моему бывшему

компаньону половину его состояния.

Не доезжая до Иркутска, на одной из долгих остановок пропала наша собака Трамсик, которую мы везли с собой. Пропажа обнаружилась к вечеру перед самым отходом поезда. Я обежал все стоящие составы. Звал собачонку, опрашивал пассажиров, но никто её не видел. Жалко мне было Трамсика до чрезвычайности, и я решил остаться в том станционном городке.

Зиновьев решил меня сопровождать. Едва ушёл наш поезд, как разразилась сильная гроза и хлынул проливной дождь.

Мы заняли на станции столик, заказали скромный ужин, несколько бутылок пива и решили коротать ночь.

Нельзя сказать, чтобы было весело. К тому же мерещилась опасность, отстав от своих, попасть в руки красных. Партизанские отряды шалили около полотна железной дороги.

Усталость взяла вверх, и мы, поминутно просыпаясь, дремали, облокотясь на стол. Когда же стало светать, решили начать поиски Трамсика. Дождь, шедший всю ночь, перестал, но улицы без тротуаров превратились в стоячее болото. Так я впервые понял значение смазных сапог. Взятые по настоянию жены калоши увязали в грязи и спадали с ног. Я их снял, положил около крылечка первого попавшегося дома, засучил штаны и, погрузившись по щиколотку в грязь, путешествовал по городу, прислушиваясь к лаю собак. Мы обошли весь городок, но Трамсика не нашли. Пришлось вернуться на вокзал, смыть грязь с сапог и калош и с мокрыми ногами приняться за яичницу, предварительно — как предохранительное средство от простуды — выпив несколько рюмок водки. Так и пропал мой верный друг Трамсик.

Тоскливо тянулось время до трёх часов дня, когда подошёл пассажирский поезд, на котором мы к вечеру нагнали наш эшелон.

Кое-кто из пассажиров нашего вагона, ехавшего из Омска, подтверждал слухи об удачном выступлении омских казаков под командованием атамана Иванова-Ринова, но никто не верил в их конечный успех.

На одной из станций полковник Спалатбок снял бани, и мы получили возможность основательно помыться. Мы были в пути уже почти три недели.

Подходил день именин Наташи, и мы решили его отпраздновать честь честью. Юнкера и знакомые офицеры отправились в лес, нарубили молодых берёзок и украсили ими теплушку как внутри, так и снаружи. Барышни набрали полевых цветов, наплели гирлянды и из них устроили вензель, который и прикрепили над дверями теплушки. Вышло красиво.

В день именин моей дочери поезд подошёл к большой станции, и я в сопровождении Наташи отправился за покупками. Городок был приличных размеров. Обойдя его почти весь, мы посидели на деревянном мосту, переброшенном через бурливую речонку, и, встретив ещё нескольких пассажиров, начали делать покупки.

В аптеке нашли чернику и гвоздику, что давало возможность приготовить глинтвейн. В лавках нашлись колбасы и консервированные закуски, жена же на станции скупила у баб кур, и всё женское население теплушки принялось за стряпню.

Вечером теплушка оказалась переполненной гостями. Два наших столика представляли из себя как бы большие блюда, наполненные закусками и кушаньями. Но места для тарелок не было, не хватало посуды для питья и еды. Приходилось посуду тут же мыть и пользоваться ею по очереди.

Началось пение. Ядин голос покрывал весь, за дорогу уже спевшийся, хор. Подносили чарочку и хозяевам, и гостям. Веселье продолжилось далеко за полночь.

Дня через два после именин Наташа захворала. Поднялась температура, превысившая к вечеру сорок градусов. Мы с женой смертельно перепугались: не сыпняк ли? Доктора при эшелоне не было. Что делать?

Я начал обходить составы поездов, стоявших на станциях, и наконец поздним вечером в чешском эшелоне нашёлся врач. Этот доктор оказался профессором и, как мне поведали, был очень хорошим врачом.

Я стал просить его навестить больную дочь. Он тотчас согласился и пришёл в нашу теплушку. Внимательно осмотрев больную, он успокоил нас, совершенно откинув версию о сыпняке, и, дав какую-то микстуру собственного изготовления, заявил нам, что к утру температура спадёт, а дня через два больная сможет встать.

Едва уговорил я этого милого доктора взять гонорар.

На другой день температура понизилась почти до нормальной, а к вечеру больная прохаживалась по платформе вокзала.

В составе нашего поезда шла теплушка, предназначенная под офицерское собрание. Там офицерство обедало, а по вечерам процветала игра в «шмя де фер».

Меня раза два приглашали поиграть, что делал я неохотно. Слишком неравные силы в смысле капитала участвовали в игре. Здесь я мог только проиграть, но не выиграть.

Однако вопреки всем теориям и здравому смыслу мне везло, несмотря на мою готовность проиграть любезным хозяевам две-

три тысчонки дешёвых сибирских рублей.

Так было и в последний раз, когда я посетил ту теплушку. Я делал всё, чтобы проиграть. Покупал банк после пяти, шести ударов, ставил несуразные ставки, но, чем выше они были, тем больше я выигрывал, а когда уменьшал ставки, то проигрывал. Наконец настал такой момент, когда все деньги оказались в моих руках, и игра прекратилась.

— Господа, возьмите у меня всё, что я выиграл, и будем продолжать игру.

Молодёжь согласилась, и я стал проигрывать. Очень скоро весь долг мне был погашен, и я даже приплатил, кажется, две тысячи, когда прекратил игру.

Стали закусывать, появилась водочка, и после ряда выслушанных анекдотов я завёл разговор на более серьёзную тему.

— Господа, вот я еду с вами и любуюсь на муштру юнкеров. Они отлично обучены строю, имеют молодцеватый вид, и я уверен, что, как только пройдут курс практической стрельбы, будут превосходно стрелять. Одного я не знаю, как, вероятно, и вы. Каковы их мысли, каковы политические взгляды? Согласитесь, что именно политика разрушила фронт. А между тем как раз в ваши отношения к юнкерам революция и опыт пережитого не внесли никаких изменений. Вы так же далеки от юнкеров, не знаете их, как не знали на войне солдат. Но ведь юнкер не солдат. Через два-три месяца они нацепят на себя офицерские погоны и будут вашими товарищами. Почему же свободное время вы не проводите с ними, а держите себя совершенно обособленно? Ведь именно здесь, в офицерском собрании, за рюмочкой водки и можно узнать, как и о чём думает юнкер.

— Ну, знаете, — возражали собеседники, — это только расшатает нашу дисциплину. Нельзя в военном деле терпеть панибратства.

— Я не говорю о панибратстве на фронте или при исполнении служебных обязанностей. Я говорю о дружбе офицера с солдатом, дающей возможность ближе сойтись, ближе узнать друг друга.

— Вы рассуждаете как штатский человек. Если бы вы были офицером, то поняли бы, что это ни к чему хорошему не приведёт. Те из нижних чинов, коим надо скрывать свои убеждения, конечно, их скроют, а вот от вас, может быть, выведают то, что от солдата подчас надо скрыть. Если же случайно и разоткровенничаешься с солдатом под видом дружбы, а солдат офицера выдаст, то начнут офицера считать предателем, шпионом.

ИРКУТСК

В сущности, это конечный пункт нашего путешествия. Отсюда придётся, устроив семью, через несколько дней двинуться в Харбин и Владивосток.

Как ни приятно было ехать в теплушке, но усталость за почти месячное пребывание в пути чувствовалась.

Все пассажиры, да и моя Наташа, несмотря на минувшую болезнь, чувствовали себя превосходно, пополнели от усиленного питания и малого моциона. А главное, почти месяц дышали прелестным лесным воздухом. Думается, такое путешествие можно было бы рекомендовать туберкулёзным больным.

Наш эшелон, не дойдя до вокзала версты две, остановился на запасном пути, где юнкера должны были пребывать до подыскания соответствующего помещения.

Я же с женой и Наташей отправился разыскивать наш банк.

Сам Иркутск стоял по другую сторону Ангары. Эту реку по её многоводности и не слишком длинному руслу я мог сравнить только с Невой. Но Ангара была красивее, течение — много сильнее, а её дно, несмотря на огромную глубину, видно как на ладони.

Сидя на носу парохода, мне иногда чудилось, что он уткнётся носом в мель, — так близко казалось дно, тогда как глубина реки была в несколько сажен. Сильное течение сносило пароходы и было причиной долгого незамерзания реки, несмотря на сильные иркутские морозы.

Сам город произвёл на меня лучшее впечатление, чем я ожидал. Большинство домов центральных улиц было каменными, не лишёнными архитектуры, в основном двухэтажными. Достаточно широкие улицы замощены, плитчатые тротуары просторны. Окраин же города мне повидать не удалось.

Наш банк не имел собственного дома, и занимаемое им помещение было и мало, и темновато.

В то время управляющим отделением состоял Василий Иванович Ермаков, года три назад занимавший при мне в Екатеринбурге должность товарища управляющего.

Мы радостно встретились, и он просил меня пообедать у него вместе с Поклевским-Козеллом, который около двух недель назад перебрался из Омска в Иркутск.

Я разыскал его относительно скромную квартиру и уже вместе с ним отправился на обед к Ермакову.

Во время обеда наш разговор вертелся около омских событий. Под влиянием сильно раздутых, но всё же удачных выступлений

омского казачества Викентий Альфонсович был настроен очень оптимично. Он верил в полную победу Колчака.

— Движение красных на Омск не только приостановлено, но и отброшено назад. Урал будет отбит. Нам с вами следует возвращаться в Омск, ибо дирекция решила остаться там.

Не хотелось разочаровывать старика, но я высказал ему совершенно противоположное мнение.

Викентий Альфонсович даже рассердился на меня:

— Чего вы каркаете…

— Милый Викентий Альфонсович, если бы вы знали, как мне хочется верить в ваши слова! Но я говорю вам то, что тщательно продумал. С уходом чехов мы не можем одолеть красных с нашими лозунгами, в основу которых положена идея Учредительного Собрания. Вы, вероятно, помните, что я один из немногих радовался разгону этого Собрания большевиками. По составу своему оно мало отличалось от последних. По-моему, Ленин сделал глупость, разогнав его. С законодательной работой Собрания должен был бы считаться весь русский народ. Теперь же разгон Учредительного Собрания развязал нам, правым, да и беспартийным, руки. Мы можем не признавать узурпированную большевиками власть и вести с большевиками войну. И если бы Колчак объявил, что часть помещичьих и все удельные земли переходят бесплатно к крестьянам, то наши армии были бы давным-давно в Москве. По всем вероятиям, Колчак был бы провозглашён Императором. Или один из великих князей, скажем Дмитрий Павлович, если б, конечно, его провёл на престол Колчак, поддерживаемый Деникиным. Наше крестьянство было бы заинтересовано в том, чтобы на земельных актах стояла царская печать. Этой власти оно привыкло и подчиняться, и верить. Раз этого не сделано, всё движение белых будет подавлено. Что же касается вашей Талицы, то вы её долго не увидите, а может быть, и никогда.

Старик совсем рассердился на меня, и мы простились очень сухо.

На другой день я под охраной двух служащих вывез сундучок с ценностями, принадлежащими Екатеринбургскому отделению, и сдал их на хранение Иркутскому отделению.

Не знал я тогда, что этим актом лишаю себя своего скромного состояния, заключавшегося в слитках золота весом в двадцать пять фунтов и по паритету стоившего около тринадцати тысяч иен. А по курсу на те же иены его можно было, как оказалось впоследствии, продать за семнадцать-восемнадцать тысяч иен.

Мои предсказания подтвердились. Стоимость золотника в Иркутске равнялась четырёмстам сибирским рублям.

Сколько раз потом упрекал я себя за излишнюю трусость! Ведь наш воинский эшелон не обыскивали ни Семёнов, ни барон Унгерн.

К сожалению, помимо золота, оставил я в Иркутске и мои родовые бумаги.

А между тем за три дня выяснилось, что помещения для артиллерийского училища в Иркутске не нашлось, и полковник Спалатбок получил приказ двигать эшелоны во Владивосток. Это меня устраивало: семья не расставалась с сыном.

Разыскал нас и Шевари, находившийся как секретарь при Кармазинском, и сообщил, что ему удалось реквизировать для моей семьи две комнаты.

Повидался я с Кармазинским, и он обещал мне своё содействие в пересылке золота во Владивосток, как только оно мне потребуется.

ПОСЛЕ ИРКУТСКА

Из Иркутска мы тронулись поздно вечером. Я очень сожалел, что мне не удастся повидать чудные места при истоке Ангары из Байкала, так как это место наш поезд должен был миновать около часа ночи.

От Иркутска началась Китайско-Восточная железная дорога, что сразу сказалось в бешеном ходе поезда. Нашу теплушку так сильно бросало и качало, что эту первую ночь спалось всем очень плохо, а в голову закрадывалась мысль о возможном крушении.

На следующий день поезд нёсся уже мимо Байкала. Вынырнешь из туннеля, а перед глазами — водная поверхность озера, на противоположном берегу которого высятся горы с вершинами, покрытыми блестящим на солнце белым снегом.

А кругом такая тишина, что страшно становится. Это, в сущности, водная пустыня. Помимо очень редких станций, вокруг не было видно ни человека, ни человеческого жилья.

Глядишь — и не наглядишься, и становится странно, как такая красота ещё не пленена человеком. Вслед за этим представлялось далёкое будущее, когда берега этого могучего озера опояшутся городами, селениями и дивными дачами.

Приблизительно часа через четыре езды по берегу Байкала наш поезд встал около какого-то большого села на продолжительную стоянку. И я в сопровождении наших девиц побежал на видневшуюся из воды большую отмель, расположенную при загибе крутых берегов озера. С большим наслаждением я походил по отмели, напился водички и отправился обедать на станцию.

Кто-то из пассажиров посоветовал мне спросить на закуску копчёного хариуса — кажется, именно так называлась эта небольшая рыбка, по виду напоминавшая гатчинскую форель.

Она была подана ещё теплой от копчения и оказалась так вкусна и жирна, что равной по вкусу рыбы я никогда не ел. Плавники хариуса обладают такой мощной силой, что взрослые особи свободно взбирается по падающим водам горных водопадов на высокие горы, где их и ловят сетями.

Цена хариуса по тому времени была настолько высока, что я воздержался от второй порции. Но и того, что съел, было достаточно, чтобы вкусовое ощущение надолго улеглось в памяти.

На другой день рано утром мы уже были на пограничной станции Маньчжурия, где впервые удалось повидать китайцев и китаянок не на картинках, раскрашенных яркими цветами, а в

натуре, в совершенно однородных чёрных сатиновых или атласных костюмах, в большинстве стёганных ватой. Почти ни у кого из китайцев кос не было. Все они были подстрижены бобриком. На голове многие ещё носили тулейки, но виднелись и пушкинского фасона фетровые шляпы. Фасон костюма был совершенно одинаков. Сверху коротенькая кофточка со стоячим низким воротником. На чёрные, сужающиеся книзу брюки, завязанные у щиколоток вокруг ног, надевались два фартука, тоже чёрного цвета, почему китаец оказывался как бы не в штанах, а в женской длинной юбке с разрезами по бокам. На ногах вместо сапог — мягкие туфли, кажется, на кожаной подошве. Поэтому мужчины, особенно те из них, что сохранили косы напоминали, скорее, женщин, так как лица у всех были бритыми.

Женщины, так же как и мужчины, имели совершенно черный цвет волос и носили маленькие косы, сложенные на темени кольцом. На лоб спускалась чёлка. Кофта была того же фасона, что и у мужчин, с большим раструбом рукавов, а на ноги были надеты брюки, несколько не доходящие до щиколоток. Фартуков не было, и, таким образом, костюм китаянки больше походил на мужской, а мужской — на женский.

Городок был довольно бедный, но, куда ни взглянешь, всюду — лавки. Поневоле напрашивался вопрос: кто же является покупателем? Казалось, что торгуют решительно все.

Обойдя ряды лавок и магазинов, на обратном пути на станцию близ самого полотна железной дороги мы зашли в довольно большой винно-гастрономический магазин и накупили консервов и вина.

Особенно соблазнительным нам показался ямайский ром с прекрасной этикеткой с изображением негра.

Вернувшись в теплушку и поставив самовар, тотчас откупорили одну из бутылок с негром, и там оказалась какая-то жидкость, похожая на чай, без всяких признаков спирта.

Нет ничего обиднее вкусового разочарования. Простая вода, налитая в рюмки вместо водки, может показаться невероятно противной и привести в ярость любого обманутого джентльмена.

Поэтому не только молодёжь, юнкера и офицеры, но и я двинулись к купезе, чтобы хорошенько его наказать и потребовать обратной выдачи денег.

Но купеза, как только увидел людей, шествующих с бутылками в руках к его лавке, быстро сообразил, в чём дело, и закрыл крепкие двери своего магазина.

Молодёжь стала ломиться в двери, но купеза не только не открывал, он стал грозить нам револьвером, крича, что будет

стрелять, если мы начнём ломать двери.

Я стал уговаривать молодёжь прекратить скандал. Мои успокоительные слова подействовали, и мы вернулись восвояси.

На другой день мы прибыли в Читу. Здесь уже повсюду сказывалось японское влияние. На станциях на видных местах висели японские объявления, напечатанные на русском языке, и всевозможные правила за подписью генерала Оя.

Чита оказалась славным городком, выстроенным среди леса на глубоком песке.

Самый город содержался чисто, и на всех перекрёстках стояли городовые, чего в дни революции в российских городах не замечалось.

Здесь царствовал атаман Семёнов, один из тех, кто оспаривал власть Колчака и мешал Белому движению.

Мы расположились пообедать в какой-то большой угловой кофейной при синематографе и встретили там Куренковых и Злоказовых.

Николай Фёдорович был настолько мил, что приехал посетить нас на вокзал.

По его словам, атаман Семёнов — очень симпатичный и умный человек. Он сумел ввести в войсках самую строгую дисциплину, что сильно подтянуто и население города.

Вечером вернулся к эшелону полковник Спалатбок и сообщил мне, что его опасения насчёт того, что Семёнов потребует оставить училище при нём, оказались напрасными и эшелон сегодня же вечером двинется в путь.

Около двух часов следующего дня мы прибыли в Харбин.

Раньше я не бывал в этом богатом и красивом городе. Знай я о Харбине раньше, я бы с первых же дней революции перебрался сюда. О коммунизме здесь не имели никакого представления. В Харбине оказалось огромное еврейское население, приехавшее сюда спасать себя и своих детей от призыва в армию. Если бы я перебрался сюда, то дети смогли бы получить высшее образование, а я, имея при себе тысяч тридцать-сорок иен, конечно, сумел бы устроиться.

Я посетил Русско-Азиатский и Сибирский банки. От служащих этих банков узнал, что город переполнен беженцами и свободных помещений нет, так что найти что-либо под комиссионерство оказалось почти невозможным.

Сама мысль об открытии комиссионерств стала мне казаться абсурдной уже потому, что курс сибирского рубля падал с такой непомерной быстротой, что нельзя было бы работать. Да и дирекция не смогла бы выделить мне сколько-нибудь приличный капитал, ведь на это потребовалось бы миллионов двадцать

кредитных рублей. Курс в начале октября 1919 года, когда я был в Харбине, равнялся сорока рублям за иену, а десятого октября во Владивостоке за иену давали уже семьдесят рублей.

Вечером на другой день пребывания в Харбине Спалатбок предложил моей семье принять участие в подписке на ужин в одном из ресторанов.

Я с большим удовольствием дал своё согласие, и ужин этот состоялся в железнодорожной гостинице. Обилие яств и вина наглядно указывало на огромное расстояние, отделяющее нас от революции и России.

Вот уголок, думалось мне, где можно уйти от всех ужасов жизни и тихо дожить остаток дней, будучи вне России и в то же время находясь среди русских людей.

Однако как бы в ответ на мои мысли я краем уха поймал разговор нашего офицера с офицером пограничной стражи.

— Нет, китаец настолько обнаглел, что жить здесь русскому человеку очень тяжело. Сами китайцы говорят: раньше я был ходя, а ты капитана, а теперь ты ходя, а я капитана.

И мне вспомнился инцидент на станции Маньчжурия с поддельным ромом…

На другой день после ужина наш эшелон двинулся в путь в Приморье. Не знаю почему, но меня страшно потянуло к морю, и, сидя в теплушке, я только и мечтал о том, как бы искупаться в солёных морских водах.

Часть четвёртая
ВЛАДИВОСТОК

ПРИБЫТИЕ

Седьмого октября 1919 года после тридцатисемидневного утомительного путешествия в теплушках наш эшелон остановился на дачной станции Океанская. Станционная платформа была густо покрыта нарядной, как мне тогда показалось, публикой. В глаза бросались белые платья барышень и дам.

Почти посередине платформы в белом кителе стоял, выделяясь ростом, Скурлатов. С ним я познакомился в Омске, в Министерстве финансов, во время обсуждения вопроса о его назначении представителем Министерства при генерале Розанове. Тогда Скурлатов был очень недоволен моим мнением о том, что я не находил пользы в такой должности. До войны и революции мы отлично обходились без подобного представителя. Все исполнения приказов министра финансов обычно проводились через подведомственные ему учреждения: Государственный банк, Казначейство и Податную инспекцию. Но Скурлатов настаивал на своём предложении, несмотря на то что во Владивостоке находилась и Особая канцелярия по кредитной части, которой управлял Никольский.

Скурлатова поддерживали остальные члены комиссии, а моё мнение не нашло сторонников, что указывало на связи докладчика с чинами Министерства. В результате он был назначен на проектируемую им должность.

Поэтому рассчитывать на любезный с его стороны приём я не мог. Поздоровавшись, я сообщил, что приехал сюда не по делам Министерства, а по делам нашего банка — для открытия комиссионерства.

— Ну, знаете, — сказал мне Иван Сергеевич, — Владивосток так переполнен, что вы вряд ли отыщете не только помещение под банк, но и квартиру для вашей семьи. Вам, вероятно, придётся поселиться так же, как и мне, на даче.

Само собой разумеется, что этот вопрос живо меня интересовал. И я очень охотно согласился на предложение Ивана Сергеевича пройти и посмотреть дачи на двадцать шестой версте.

Узнав, что поезд дальше не пойдёт, я в сопровождении дочурки двинулся по берегу моря вслед за любезным сослуживцем.

Мы шли по песчаному берегу великолепного залива, в прозрачных водах которого, почти у самого берега, виднелись тела огромных медуз.

Было часов пять вечера. Солнце стояло уже высоко, воздух,

пропитанный йодом, живил и бодрил утомлённых долгим сидением в теплушке путников.

Пройдя не более версты, мы взобрались по крутой тропинке на преграждающую путь скалу и очутились в дачной местности, сразу мне очень понравившейся. Это плато, расположенное на скалах, было правильно разбито на участки, прорезанные широкими улицами. Постройки находились друг от друга на приличном расстоянии, что давало возможность дачникам разбить и сады и огороды и вполне соответствовало названию «Сад-город». Приятно было узнать, что дачи снабжены электричеством.

Вместе со Скурлатовым мы осмотрели две неказистые и примитивные по постройке дачи, в которых в случае нужды можно было разместиться нашей семье. Но я сомневался в их пригодности для зимнего жилья. Зато цена была подходящая. За одну из них сроком по май будущего года просили всего полторы тысячи рублей, что равнялось не более чем тридцати иенам. Это обстоятельство успокоило меня. Распрощавшись со Скурлатовым, мы уже в сумерках вернулись в нашу теплушку.

Здесь от офицеров я узнал, что, вероятно, юнкерам придётся прожить в теплушках недели две. Во Владивостоке давно уже находился начальник училища Герц-Виноградский, но вопрос о помещении всё ещё висел в воздухе. Несмотря на желание Розанова поместить училище в казармах на Океанской, занимавшая их часть морских стрелков не соглашалась на перевод в Раздольное, где имелись свободные постройки.

Уже одно сопротивление приказам Розанова не предвещало ничего хорошего.

На другой же день я с женой и дочуркой проехали во Владивосток осмотреть город. К тому же я считал нужным представиться начальнику края генералу Розанову.

Владивосток произвёл на нас самое хорошее впечатление. Его главные улицы Светланка и Алеутская были прекрасно мощены квадратными булыжными камнями. По Светланке ходил трамвай, магазины с зеркальными окнами поражали обилием товаров, а универсальные магазины Кунста, Алберста и Чурина не уступали московскому «Мюр и Мерилизу». Были два хороших ресторана — «Золотой Рог» и «Версаль».

Но главная красота Владивостока заключалась в великолепной и большой бухте Золотой Рог, окаймлённой со стороны города садами. Они были несколько ниже Светланки и отделялись каменной стеной с красивой решёткой, вдоль которой шёл тротуар. По всей Светланке, которую так и хотелось назвать Крещатиком, дома тянулись в один ряд. Большинство домов были

многоэтажные и красивой архитектуры. Тянувшийся вдоль них широкий тротуар был переполнен нарядной гуляющей публикой.

Но особенно поразил нас своими размерами и изобилием продуктов владивостокский базар. Базары в Екатеринбурге и Омске в то время были значительно беднее. Бросались в глаза огромные крабы, рыба и фазаны. Было много зелени и мандаринов.

Расставшись с дочуркой и женой, я направился в главный дом, занимаемый правительством Розанова. Здесь после некоторого ожидания в общем зале я представился генералу. В кабинет он меня не пригласил, ссылаясь на отсутствие времени, но после передачи поклонов от некоторых общих знакомых симбиряков просил меня зайти к нему через день.

— Однако, — сказал он, — об одном буду вас просить: не обращаться ко мне с просьбами о квартире — таковых совершенно нет. Всё переполнено до отказа.

Я сказал, что этот острый вопрос я надеюсь разрешить самостоятельно, сняв какую-нибудь дачу.

— А вот это, — обрадовался генерал, — совершенно правильное решение.

Встретившись в условленном месте с женой и дочуркой, я был приятно изумлён сияющим видом последней.

— Ты знаешь, папочка, я принята в женскую гимназию на должность преподавательницы истории.

— Господи, когда это ты успела? Поражаюсь твоей энергии.

— Я буду давать уроки два раза в неделю и получать за это целых пятьсот рублей в месяц.

— Мой дружок, но ведь этого огромного жалованья тебе даже на извозчиков не хватит… Придётся доплачивать из своего кармана.

В тот же день мы встретили на Светланке знакомую по Екатеринбургу, Салию Султановну Агафурову. Она сообщила, что свободные комнаты всё же можно найти, и даже пообещала дать адрес, где сдают жильё с пансионом по пять тысяч рублей в месяц с человека.

— Нас четверо, — воскликнул я, — это значит, что я должен буду платить двадцать тысяч в месяц, а моё когда-то хорошее жалованье в четырнадцать тысяч в год осталось таковым и теперь. Значит, годового оклада хватит не более как на двадцать дней. Как же так?

Однако, переведя на иены, о курсе которой я недавно узнал в Кредитной канцелярии (семьдесят рублей за иену) сообразил, что цена не так уж высока. Ведь это двести — двести пятьдесят иен в месяц.

Но нужной суммы я не имел, а потому бесповоротно решил устроиться на дачах.

На другой день, гуляя по пляжу, я встретился с Овсянниковым. Он носил звание профессора Екатеринбургского горного института и здесь получил место попечителя Зелёной женской гимназии.

— Мы живём на даче на девятнадцатой версте и дня через два перебираемся на казённую квартиру в город. Быть может, наша дача вам подойдёт…

Приближалась середина октября. По утрам в теплушках становилось очень холодно. Поэтому его предложению я обрадовался. Пройдя вместе с ним на дачу, я пришёл в восторг от маленького, уютного штукатуренного домика в три комнаты.

Однако встретилось и препятствие. Овсянников не знал городского адреса Липарского, и я не имел возможности переговорить с хозяином дачи.

Что было делать? Я решил занять дачу самочинным порядком, условившись с Овсянниковым, что перед отъездом он передаст мне ключ.

Кажется, на другой же день Овсянников уехал, а я, приняв на себя оплату счёта за электричество, тотчас стал искать подводу для перевозки вещей из нашей теплушки. Китайцы за подводу запросили пятьсот рублей, я давал триста. К моему счастью, офицер, заведовавший хозяйством училища, узнав об этой ужасной цене, предложил мне казённую подводу.

— Дайте солдатикам рублей пятьдесят, и они вас отлично устроят.

Так мы и сделали. Нами были привезены три складные кровати с сетками. Солдатики расставили вдоль стены сундуки, должные изображать диваны. Я дал солдатикам не пятьдесят, а сто рублей, что их очень обрадовало.

Самовар и кое-какие кухонные принадлежности мы имели. Я набрал в саду сухостоя, и мы затопили не только печку, но и плиту, на которой моя милая мать приготовила яичницу. Словом, к вечеру был готов и стол и дом.

Долго я возился без инструментов с откупориванием бочонка с маслом, что купил за тысячу двести рублей на одной из сибирских станций. Масло оказалось превосходным и тотчас пошло в пищу. Особенно мы остались довольны превосходной голландской печкой, быстро согревшей всю дачу.

С каким удовольствием мы расположились на наших сундуках на первый ночлег после полуторамесячного пребывания в теплушке и как хорошо спалось нам, робинзонам, в эту первую холодную ночь!

На другой день мы распределили между собой обязанности по ведению нашего несложного хозяйства: бабушка была зачислена в судомойки, жена — в кухарки, дочурка — в горничные, а на меня пала работа по снабжению водой и топливом и выносу помоев.

Воду разрешили брать соседи из их колодца. Это была тяжёлая обязанность. Только после семидесяти нагибов рычага появлялась первая струя воды. Накачать три-четыре ведра воды занимало почти полчаса тяжёлой физической работы.

Но с топливом оказалось ещё хуже. Для того чтобы получить сажень дров, надо было достать ярлык в особой конторе Владивостока, где всегда была длинная очередь. Получив ярлык, нужно было приторговать подводу, за что, вероятно, взяли бы не менее тысячи рублей, ибо делянки с дровами были далеко. Всё это было так сложно, что я решил попытаться протапливать дачу сухостойным хворостом и валежником, и с этой целью я обходил все соседние пустующие дачи. После двух-трёх часов работы мне удавалось обеспечить топливом и плиту и печь, но наши кухарки жаловались на сырость дров. Я догадался собирать каменный уголь, в изобилии лежащий вдоль полотна дороги, который при провозе ссыпался с вагонов. Это сильно облегчило работу, и я в какой-нибудь час набирал две наволочки.

Прохожие дачники с удивлением поглядывали на меня, но я, не обращая на них внимания, собирал уголь, испытывая почти то же чувство, что и на грибной охоте. Иногда попадались куски весом более пуда, и я торжественно тащил их на дачу.

Радовало и сознание, что я хоть чем-нибудь облегчаю расходы на содержание семьи. А финансовое положение сильно меня беспокоило. Мной было привезено несколько слитков золота общей стоимостью семь тысяч иен. Золота в монете было иен семьсот да царских денег тридцать шесть тысяч. Вот и всё богатство.

Правда, в то время я ещё числился на службе в банке, но сознавал, что очень скоро этот источник доходов закроется навсегда. Выслуженная мной пенсия в тысячу двести шестьдесят рублей в год, конечно, тоже выдаваться не будет.

Помимо перечисленного богатства, имелся ещё слиток золота в двадцать фунтов, стоивший двенадцать тысяч иен, оставленный мной в Иркутске. Но что-то говорило мне, что Кармазинский это золото мне во Владивосток не перешлёт.

Ну что же, думал я, пока поживу здесь до производства сына в офицеры. А уже потом, провожая его на фронт, проеду вместе с ним за золотом.

Если мне удастся это золото провезти и продать, то общее

состояние со всеми жениными безделушками будет равняться двадцати пяти тысячам иен. Это всё, что осталось у меня после двадцатишестилетней службы в банке. Надо было хорошенько подумать, какое дело можно начать с этим небольшим капиталом.

Покончив с работой по сбору угля, я частенько выходил на берег моря и разыскивал рыбаков-корейцев. Они ловили устриц, и две старухи тут же с невероятным искусством чистили их, наполняя ими стеклянные банки. Не очень-то аппетитно выглядели эти устрицы, но, поборов брезгливость, я купил банку, заплатив один кредитный рубль. Устриц было штук тридцать, и в прежние времена в петербургских ресторанах я должен был бы заплатить за них целых девять золотых рублей, а сейчас была отдана всего одна золотая копейка. Как же не полакомиться? И я частенько баловал себя устрицами.

Надо было исполнить обещание, данное дочурке, и я поехал в город посмотреть пишущую машинку. Таковая нашлась в магазине Синькевича, но её продавали только на иены, прося триста шестьдесят иен.

Тогда я отправился в Сибирский банк и заложил слиток золота весом в один фунт за тридцать пять тысяч рублей.

Управляющий Кредитной канцелярией обменял мне их на иены по казённому курсу. И машинка обошлась мне в двадцать пять тысяч двести рублей. Ну, теперь примусь за работу и изложу вертящийся в моей голове финансовый проект денежного обращения.

По вечерам на дачу прибегали юнкера и офицеры, Наташины ухажёры. Все они жаловались на холод по ночам, так как всё ещё находились в теплушках, где продолжалось учение. С каким аппетитом молодёжь набрасывалась на китайскую отвратительную водку и наскоро приготовленную яичницу! В эти вечера на нашей даче было уютно и мило, даже диваны на сундуках казались мягче мельцеровской мебели.

Но вскоре эти так радовавшие нас вечера прекратились. Артиллерийское училище было решено перевести в Раздольное: морские стрелки наотрез отказались исполнить приказание Розанова и очистить казармы. А между тем Розанов не мог не сознавать необходимости иметь училище под руками. Помимо юнкерского училища, во Владивостоке находились ещё гардемарины и какая-то инструкторская школа. В этом и заключалась вся опора его власти. Почему он тогда же не воспользовался этой силой и не очистил казармы?

Наконец разыскал я и хозяина дачи Липарского.

— Пришёл к вам с повинной головой — не велите казнить, а дайте слово молвить.

— В чём дело?

— А вот я самовольно занял вашу дачу и прошу сдать её мне, ибо в городе не могу найти помещения.

Липарский расспросил меня, откуда я и кто. Узнав, что я бывший управляющий банком, отнёсся ко мне чрезвычайно мило. Он не только не попросил о выезде, но благодарил за занятие его дачи. Но сдать её за деньги наотрез отказался.

— Живите, пока живётся. Никакой платы с вас я не возьму, но ставлю единственное условие: освободить дачу к первому мая будущего года. Я, признаться, очень рад, что вы её заняли. Вы будете бесплатным сторожем…

Он оказался лесопромышленником и очень охотно продал мне около сажени дров, что были на даче.

Совершенно очарованный этим исключительно милым отношением к нам, беженцам, я возвращался домой. Но остальные домовладельцы не были столь любезны и частенько поговаривали: «Незачем было бежать, сидели бы себе в Екатеринбурге».

Это скверное к нам отношение указывало и на образ мыслей большинства владивостокских жителей. Если зажиточный класс так относился к нам, чего же можно было ожидать от трудящихся элементов! А о грузчиках, коих здесь насчитывалось около семи тысяч, и говорить нечего. Конечно, всё это были коммунисты.

Помимо этого крайне неприятного для беженцев настроения, ясно указывавшего на возможность переворота, были и другие опасения, сильно тревожившие обитателей дачных посёлков: ночные нападения хунхузов. За этот месяц, что мы жили на даче, было уведено в сопки два или три дачника. Однажды ночью явственно слышались крики о помощи и револьверные выстрелы, но подать помощь я не мог. Крики шли издалека, квартала за три, и не на кого было оставить наш дом.

Опасался я и за Наташу, возвращавшуюся с уроков с шестичасовым поездом, когда уже было совершенно темно.

Поэтому приблизительно через пять недель пребывания на этой чудной даче, получив предложение от Десево, бывшего управляющего Самарским отделением Русско-Азиатского банка, занять у него полторы комнаты, я отправился на их осмотр.

Снятый им дом находился на Первой Речке. В квартире было четыре комнаты и кухня. Дом был только что выстроен, но не оштукатурен и не оклеен обоями. Десево уступил нам одну комнату с прилегающей тёмной прихожей и угол в столовой, где за буфетом мы устроили уголок для моей матери. Я поместился в прихожей, а жена и дочь — в снятой нами комнате. Плату за квартиру мы разделили с Десево пополам.

МЯТЕЖ ГАЙДЫ

Первая Речка была предместьем Владивостока и соединялась с городом трамваем, который, к сожалению, прекратил свои рейсы. Поэтому в город приходилось ходить пешком или ездить по железной дороге. Расстояние было версты четыре, а может, и более. Путь шёл по горам, и извозчики брали триста рублей в один конец, а затем и все пятьсот.

Несмотря на эти неудобства в сообщении, мы всё же решили покинуть дачу и перебраться в город.

К сожалению, в квартире кухня была общая, что приводило к столкновениям между хозяйками. Дабы устранить это неудобство, было решено, что хозяйки, поочередно меняясь каждую неделю, будут готовить на обе семьи.

Наступала зима. Наташа получила ещё один урок в семье у богатого корейца и получала шесть тысяч в месяц, что возвращало ей расходы по проезду в гимназию.

При наступлении морозов наше жилище оказалось настолько холодным, что почти всё время приходилось лежать втроём на кровати, согреваясь моей дохой. Весь угол комнаты заиндевел.

Это время, проводимое на Первой Речке, было самым тяжёлым и неприятным в моих беженских воспоминаниях.

Эти неприятности заключались не только в холоде, но и в мелочных ссорах с семьей Десево.

Каждое воскресенье мы рассчитывались за произведённые расходы и приходилось выслушивать упрёки в дороговизне стола. Когда же хозяйничали Десево, было голодно. И порции были малы, и за завтраком подавались одни макароны, и нам приходилось прикупать закуски.

После одного неприятного инцидента с семьёй Десево мне пришлось снова искать жильё. В поисках квартиры я обратился к полковнику Степанову, герою Казани, как он любил себя величать (под его командованием была взята Казань, где оказался золотой запас).

Его теплушка была прицеплена к эшелону артиллерийского училища, и мы познакомились с ним ещё в пути. Он имел связи и обещал посодействовать в поиске квартиры, но тут же предложил купить у него только что убитого на охоте оленя за пять тысяч рублей.

Я взял эту дичину, смотря на покупку как на некоторую компенсацию труда по подысканию квартиры. Но мои надежды оказались напрасными. Степанов покинул Владивосток. Против него подняли дело о браконьерстве. Он, забравшись в олений

питомник, принадлежавший земству и находившийся на одном из островов, перестрелял чуть ли не с десяток этих животных.

Мы целый месяц питались этим превосходным мясом. Впрочем, наши дамы почему-то брезговали олениной, и эту тушу я уничтожил с приезжавшими юнкерами.

Юнкера обычно приезжали в субботу и оставались до воскресного вечера. Вваливаясь в нашу квартиру, они тотчас забирали простыни и мыло и отправлялись в баню — вымывать вшей, покрывавших их тела сплошными гнёздами. Вымывшись, они с огромным аппетитом приступали к ужину.

С приездом молодёжи в нашем доме поднималось настроение, становилось уютно и радостно.

По их словам, у них не только бани, но и достаточно белья не было. В казармах — холод, ибо в окна до сих пор не были вставлены разбитые стёкла.

Деньги таяли каждый день. Цены на продукты были невероятные, но, переводя на иены, жизнь обходилась недорого, — не более полутора иен в день.

Вопрос о заработке волновал меня всё более. Наконец я решился обратиться в редакцию одной из газет с предложением своих услуг по финансово-экономическим вопросам. Обещали подумать, но я чувствовал, что ничего из этого не выйдет. Сделал визиты Исаковичу и Степанову, управляющим местными банками, но никаких надежд на получение места не было.

Толкнулся к маслоделам, но и здесь, кроме обещания подумать, ничего не нашлось.

Приблизительно в первых числах ноября газеты сообщили об эвакуации Омска. Правительство Колчака перебралось в Иркутск. С падением Омска во Владивостоке заметно поднялось враждебное настроение низов. Оно ярко выражалось в грубом отношении рабочего люда к беженцам.

Приезжая в город с девятнадцатой версты, я обратил внимание на стоящий на запасном пути поезд. Мне сказали, что это штаб-квартира чешского генерала Гайды, с которым я раза два виделся по делам в Екатеринбурге. Подумал было зайти к нему. Но сухой приём, оказанный мне когда-то в Екатеринбурге английским консулом, охотно посещавшим наш дом, а здесь даже не ответившим на визит, подсказывал бесполезность свидания и с Гайдой. Адъютантом его оказался знакомый моих детей, прапорщик Трутнев, сын екатеринбургского мукомола Николая Ивановича Трутнева, однажды побывавший у нас.

Неприятное сожительство с Десево частенько заставляло меня ходить в город в поисках новой квартиры. Прогулку эту я обычно совершал пешком. Иногда, когда в город собиралась за

покупками жена, мы делали ходки в один конец пешком, а обратно, уже с покупками, на извозчике.

В одну из суббот стояла очень скверная погода, моросил дождик со снегом. Возвращаясь домой на извозчике, мы делились впечатлениями. Нас встревожили слухи о предстоящем выступлении Гайды, который совместно с Якушевым и Моравским, о коих я почти ничего не знал, будет поддержан американцами с крейсера «Бруклин», стоявшего в заливе.

Светланка, обычно переполненная публикой, на этот раз казалась зловеще пустой…

Было это 17 или 18 ноября 1919 года.

Вечером приехал Толюша с Шаравьевым, и почти одновременно с их приездом послышались винтовочные выстрелы, а затем и пулемётная дробь. Стреляли где-то за вокзалом. Раздавались и пушечные выстрелы. Тёмное небо рассеклось прожекторами с кораблей. Несмотря на большое расстояние, тихонько дребезжали стекла. На душе было пасмурно, и даже присутствие юнкеров не радовало, а вносило в душу тревогу.

Я не спал почти всю ночь, и только под утро, когда стрельба прекратилась, мне удалось заснуть.

Как потом оказалось, что в противовес слабой поддержке американцами генерала Гайды японцы оказали мощную помощь гардемаринам — единственным защитникам Розанова. Прожекторами военных судов они осветили вокзал, около которого собирались повстанцы. Гарды же находились в полной тьме и, будучи неуязвимыми, стреляли… Весьма возможно, что и японские войска, пользуясь тьмой, тоже принимали участие в перестрелке.

Под утро Гайда поднял белый флаг и сдался на милость Розанова. Рассказывали, что он, будучи привезён в штаб, плакал и молил о пощаде. За него заступились чешские войска. Это было причиной того, почему этого авантюриста, вместо того чтобы повесить, Розанов выпустил на свободу, взяв с него письменное клятвенное обещание, что с первым же пароходом тот навсегда покинет Россию.

Все мы были в восторге от победы Розанова. Нарыв прорвался, думалось мне, теперь настанет успокоение.

Вечером юнкера выехали в Раздольное, а дня через три поздней ночью мы были разбужены стуком в окно. Это был Толюша, приехавший со станции Океанская. Он рассказал нам следующую интересную историю.

Их поезд с отпускными юнкерами был остановлен на станции Океанская, и в вагон вошёл офицер, прося у юнкеров защиты от

взбунтовавшихся частей морской пехоты. По словам офицера, весь командный состав с семьями был заперт в офицерском флигеле и солдаты угрожали им поджогом.

Из присутствующих юнкеров на зов откликнулись только семнадцать человек. Остальные решили проехать до Раздольного и, вызвав охотников, вернуться на подмогу товарищам. Из милиции дали старые винтовки, и горсточка храбрецов двинулась ночью на выручку офицерских семей. К ним по пути примкнула вся «дикая дивизия». Смешно сказать, под этим громким названием оказалось всего-навсего пять воинов. Это не описка, а действительная цифра. С присоединением этой «дивизии» отряд увеличился до двадцати трёх человек.

Тихо двигались юнкера в ночной тьме по направлению к казармам. Взойдя на возвышенность, с которой они, освещённые пламенем горящего корпуса, были прекрасно видны, отряд залёг в цепь и наблюдал за солдатами, бегавшими по двору и старавшимися при помощи ручных гранат взорвать мост.

Юнкера дали залп. На них не обратили внимания. Когда залп повторился, то солдатня заметалась. Послышались крики: «Товарищи, спасайтесь! Пришли юнкера!» Все вояки бросились бежать по дороге к Владивостоку. Юнкера взяли казармы и освободили перепуганные офицерские семьи.

Вскоре морские стрелки стали поодиночке и небольшими группами возвращаться обратно, что помогло юнкерам их разоружить, и бунт был усмирён.

За участие в этом походе Толюшу произвели в унтер-офицеры и, кажется, дали денежную награду.

Местные дачники заманили юнкеров в свои дома, кормили и поили их, умоляя не уходить, и продержали у себя два дня. Именно после этого Толюша и приехал на ночь к нам, чтобы рассказать об этом происшествии.

БУДНИ

Чем ближе подходило время к зиме, тем холоднее становилось в двух занимаемых нами комнатах и тёмной прихожей, служившей мне спальней. Иней в углах комнат прирастал, а в те недолгие часы, когда печка достаточно накалялась, снег таял, и на полу появлялись лужи. Я заклеил все щели бумагой, но она отмокала.

В самом начале декабря нас посетила Елизавета Александровна Руднева и сказала, что один из членов правления Союза Земств и Городов уезжает из Владивостока. Посему над их квартирой освобождаются две комнаты и кухня, которые мы можем занять за пятьсот рублей в месяц при единовременной уплате за три месяца вперёд. Цена была не так уж высока, и я, поддавшись просьбам дочурки, отправился смотреть квартиру в доме Сызранского по Китайской улице.

Дом, выходящий фасадом на улицу, был в два этажа. В нижнем, полуподвальном этаже жили Рудневы. В верхнем две комнаты, ближайшие к парадному входу, были заняты под контору Союза Земств и Городов. Две задние комнаты и кухню предлагали нам. Дом был старый, очень запущенный и грязный, но в сравнении с нашим помещением показался нам дворцом. Я тотчас отправился к Сызранскому и заключил контракт, в коем по совету Руднева упомянул о праве пользоваться водой из его колодца, ибо с питьевой водой во Владивостоке было плохо.

На другой же день приехали наши юнкера и помогли нам с перевозом вещей. Но так как подвода была одна, то один из юношей остался при вещах. Когда же я вернулся обратно, то застал его в нашей комнате в костюме Адама, занятым истреблением на своём теле и белье вшей.

— Ах вы несчастные юнкеришки… Неужели у вас всё ещё нет бани и дезинфекционной камеры? Ведь при желании всё это легко можно было бы устроить.

Но начальство об этом не заботилось.

Перевезя остальную мебель и вещи, юноши отправились в баню, а я на базар за покупкой обстановки. Решили раскошелиться и купить шесть простых деревянных стульев и стол. Помню, что за каждый стул я заплатил по пятьсот рублей, за столовый стол — две тысячи, а за два небольших кухонных стола полторы тысячи. Всего я израсходовал шесть с половиной тысяч рублей. Какую дивную обстановку за эти деньги можно было бы купить в Москве до войны!

К стенам поставили сундуки, задрапировав их портьерами,

случайно захваченными из Екатеринбурга. Ими же задрапировали и окна. В первой комнате, в углу, около печки, расставили гостиный гарнитур, сильно потрёпанный в теплушке, и наша комната показалась нам даже нарядной.

В конце коридора была небольшая полутёмная комната, в которую мы поместили мою пожилую мать. В первой комнате спал я, а во второй — дочурка с женой.

Комнаты осветили керосиновыми лампами, ибо в то время электричество подавалось плохо и свет постоянно гас.

Предсказания Наташи о том, что, живя в городе, мы найдём достаточный заработок, сбылись. Она начала давать уроки по стенографии, которую знала превосходно. Учеников нашлось немало, и наша вторая комната превратилась в классную. Наташин заработок превышал десять тысяч в месяц. На такую сумму можно было прожить.

Но, к моей огромной радости, нашёлся заработок и для меня. Я разыскал в штабе чехословацких войск знакомого мне по Екатеринбургу офицера и спросил у него, покупает ли командование золото в слитках. Он указал адрес войскового банка, где мне удалось продать все мои слитки по шесть с половиной иен за золотник, что было на полторы иены дороже, чем я мог рассчитывать. Я натолкнулся на мысль скупать у беженцев золото. Специальных познаний в этой области у меня было достаточно, и я стал обходить знакомых, которые с радостью продавали мне золото по шесть иен за золотник. Таким образом за два месяца я сумел заработать восемьсот семьдесят иен. Это было очень хорошо, ибо оправдало все расходы по содержанию семьи во Владивостоке и приподняло моё настроение.

По вечерам к нам часто приходили Рудневы, и мы охотно бывали у них, коротая время в разговорах и угощаясь поочередно скромным ужином из картофеля и чудных копчёных селёдок. Иногда лакомились и крабами. Стоимость их была довольно высока. Помнится, за первых крабов мы платили по сто рублей. Но величина их была поразительна. Один из купленных крабов, размером превосходя петуха, удрал из ведра с водой и, топая своими острыми лапами по полу, был прямо страшен.

Жили первое время без прислуги. Жена кухарила, мать ей помогала, дочурка успевала прибирать комнаты, а я колол дрова и снабжал квартиру водой из колодца, что был расположен в глубине двора. Только после пятидесяти трёх оборотов колеса появлялась первая струя. Да и носить воду со двора приходилось на третий этаж.

Зато качание воды представляло и некоторый интерес. У

колодца собирались жильцы, передавая из уст в уста всевозможные новости и полезные указания, где и что можно купить подешевле.

Итак, мы прилично устроились в новой квартире, нашлись знакомые как по Екатеринбургу, так и по Симбирску. Жить стало веселее.

Я продолжал писать мемуары и, несмотря на неудачную попытку перейти на писание рассказов, все же ещё раз решил попробовать свои силы. Я написал рассказ, выхваченный из моей жизни в Симбирске, под заглавием «Свидетельские показания».

Когда я прочёл его дочурке, моему строгому критику, рассказ ей понравился. Этот успех подтолкнул меня на дальнейшую работу в том же направлении, и я написал ещё два, помоему, удачных рассказа — «Кругом вода» и «Медаль за спасение погибающих».

Иногда устраивались литературные вечера, на которых я читал отрывки из мемуаров и рассказы. Слушателями были Руднев, Циммерман и знакомый по Симбирску доктор-бактериолог Левашов, проживавший недалеко от нас, в своей земской лаборатории. Этот милый доктор, всецело ушедший в науку, изредка популярно знакомил нас с новыми открытиями в микроскопии.

БАЛ

Наступили Рождественские праздники. Это был первый праздник в нашем изгнании. Мы, по обычаю, устроили маленькую ёлку, полюбоваться которой пришли Рудневы и Петя Зотов, юноша-матрос, знакомый детей ещё по Симбирску.

Наташа отправилась ко Всенощной. Дождавшись её прихода, мы зажгли ёлку.

Сын отсутствовал. Нельзя сказать, чтобы было радостно. Ярко вспоминалось прошлое. И чем ярче были эти воспоминания, тем, казалось, тусклее горели огни на нашей ёлочке.

Время приближалось к Новому году, когда в юнкерском училище в Раздольном решено было устроить бал.

Толюша усиленно настаивал на нашем приезде. Мы с женой очень хотели посмотреть, как живут юнкера, и решили поехать на вечер, благо, проезд по железной дороге был недорог.

Выехали дневным поездом с Наташей и барышней Циммерман. Ехали в вагоне третьего класса, в котором оказалось человек двадцать гардемаринов. Среди них нашёлся и Ардашев.

Из разговоров гардов между собой я услышал, что фамилия одного из них Горизонтов. По облику, сходному с калмыцким, я догадался, что это сын воспитателя Симбирского корпуса, игравшего с моими детьми на даче в Поливне. Я вспомнил, что мальчика звали тогда Микадо, и именно так обратился к нему.

Юноша подскочил от изумления:

— Как вы сказали? Микадо? Так в детстве меня называли родители и сестрёнка.

— Да, милый Микадо, и я когда-то звал вас так. Я Аничков… Вспомните-ка нашу дачку, моих лошадок.

— Помню, помню! Полканка и Дорожка.

— А вот, смотрите, сидит моя Наташа. Вы её знали девочкой лет девяти.

Благодаря этой случайной встрече наши девицы перезнакомились со всеми гардами, и успех танцевального вечера был обеспечен.

Среди гардов выделялся ростом и красотой гардемарин Крат, впоследствии вместе с Ардашевым часто приходивший к нам в гости.

В Раздольное приехали часам к пяти вечера. До училища, приблизительно с версту, прошли пешком.

Училище помещалось в большом каменном корпусе. Юнкера как могли привели его в порядок. Вставили стёкла в окна, украсили залы флагами и ёлками, понаделали из досок турецкие

диваны, покрыв их попонами. На стенках висели картинки юмористического содержания, изображавшие командиров училища.

Было уютно, но смертельно скучно и ещё того хуже — голодно. Все гости не ели с утра, а начальство не распорядилось подать ни завтрак, ни обед, ни ужин. Конечно, это объяснялось скудностью средств училища.

Хорошо, что жена предусмотрительно захватила с собой несколько бутербродов.

Многие разошлись по квартирам воспитателей, но среди них у нас не было близких знакомых, за исключением генеральши Томашевской, известной нам ещё по Екатеринбургу. Но генеральша разыгрывала роль патронессы, высокомерно взирая на всех нас, и приглашения мы не удостоились.

Вечером я улёгся на постель сынишки и вскоре крепко заснул. И здесь мне приснился вещий сон.

Во сне я увидел, что кто-то во время бала прибегает в казармы и с ужасом говорит, что мы окружены большевиками, которые спускаются с гор. Я бегаю по казармам и не могу найти ни жены, ни дочери. В полной уверенности, что они бежали, мы с сыном садимся на какую-то тройку и едем по снежной равнине. Куда мы ни приезжаем, нам говорят, что навстречу идут красные войска. Наконец мы сворачиваем на какую-то дорогу и благополучно достигаем Владивостока. Явственно видна Светланка, но и здесь большевики. Мы с сыном прячемся под сводами какого-то каменного моста, а с обеих сторон начинает сплошной стеной, как в водопадах, литься вода. И мы становимся невидимыми для большевиков.

Я проснулся весь в поту. В зале играла музыка и шли танцы. Что означала эта стена воды? Впоследствии, переплыв Тихий океан и спасаясь от большевиков, я понял значение воды в этом сне.

Но ещё страннее то обстоятельство, что в самый разгар вечера прибежали караульные и сообщили начальству, что с гор спускаются партизаны. Это обстоятельство от гостей скрыли, но многие юнкера вечером исчезли.

Оказалось, что японцы, генералитет которых был почётным гостем на этом вечере, взяли на себя труд по охране училища и отпустили юнкеров на бал. Партизаны же, увидав японское заграждение, ушли без боя в сопки.

На другой день рано утром, усталые, не выспавшиеся и голодные, мы уселись на казённую подводу и были доставлены на станцию.

Это небольшое расстояние в три версты мы проехали, коченея

от холода. Начинался настоящий тайфун.

На станции долго ожидали прихода одного из последних чешских эшелонов, оказавшего нам гостеприимство. И только к вечеру мы наконец добрались до Владивостока. Тайфун разыгрался вовсю. Мы с величайшим трудом добрались до нашей квартиры и оставили у себя ночевать барышню Циммерман.

От напора ветра наш дом дрожал…

ОТЪЕЗД ЮНКЕРОВ

В конце января гардемарины заявили нам, что училище покидает Владивосток. Их начальник, капитан первого ранга Китицин, приказал начать погрузку кораблей. Одновременно с этим грустным известием они сказали, что если Толя и его товарищи захотят уехать из Владивостока, то им будет предоставлено место.

В субботу рано утром приехали юнкера, и мы передали им содержание разговора.

Толюша решил ехать. Мы не стали его отговаривать: кто знает, что грозит юнкерам в случае нового переворота? Но расставаться с сыном было до чрезвычайности тяжело. Особенно пугала неизвестность. Куда едут гарды?

Выходило как-то странно. С одной стороны, не прошло и двух с половиной месяцев, с тех пор как подавлено восстание Гайды. В городе всё было спокойно, торговля шла вовсю. Светланка представляла собой пестрый муравейник нарядной публики. И вдруг ни с того ни с сего весть об отъезде как раз той единственной части, на которую мог положиться генерал Розанов.

Коля Ардашев принёс мне несколько десятков тысяч сибирских рублей и просил принять их на хранение.

— Коля, — говорил я, — по существующему курсу это богатство можно определить приблизительно в пятьдесят иен. Вы едете в неизвестные страны. Перемените их сейчас же на иены и возьмите с собой — в дороге пригодятся.

Но Коля не пожелал обмена и настаивал на их хранении, веря, что курс поднимется. Я согласился исполнить просьбу юноши, и мы спрятали деньги в шкатулку. Прощаться было грустно…

Пришли Рудневы. Я расспрашивал всегда хорошо осведомлённого Сергея Петровича об отъезде гардов, но он так же, как и я, терялся в догадках.

Жена сидела в своей комнате и укладывала маленький походный чемоданчик сына, заливаясь слезами.

Мы уже отнесли вещички в прихожую, когда Толюша подошёл к матери и сказал, что у него нет сил расстаться с нами и он решил не ехать и разделить нашу участь.

Бурная радость охватила нас, но мы не знали, что лучше. Сердце говорило одно, а холодный разум подсказывал необходимость воспользоваться случаем и покинуть Владивосток.

Я отправился смотреть на погрузку крейсеров, стоявших в бухте, и наблюдал, как гарды возили на подводах свой скарб.

Подводы не имели лошадей, и гарды тянули их сами.

Я постоял с полчаса на пристани в надежде повидать знакомых юношей. Но они были на корабле, и мне не удалось им сказать последнее «прости».

Возвращаясь обратно, я наткнулся на какого-то пожилого субъекта, по облику схожего с мелким лавочником или зажиточным рабочим. Он потрясал в воздухе кулаками в направлении кораблей и неистово ругался.

— Сволочи, — кричал он, — уезжаете! Туда вам и дорога, хоть на дно морское, к самому морскому царю, коли без царя жить не можете. А мы и без вас проживём. Скоро сам товарищ Ленин к нам сюда пожалует. Хоть бы одним глазочком мне на него живого поглядеть, на нашего народного избавителя от всей этой сволочи.

Что за злоба дышала в этом человеке? Неужели он в самом деле верил, что коммунизм даст ему земной рай? Возможность воцарения коммунизма надолго казалась мне сомнительной. Ничего, кроме горя, он народу не принесёт. Пройдёт лихолетье, успокоится бунт народный, и вновь придётся перестраивать Россию на капиталистический лад. А с другой стороны, что-то шептало мне: «Силён и страшен капитал, но если к силе его прибавить ещё и силу штыка, то борьба с ним станет немыслима, и сбить его голыми руками народу будет невозможно». Зато, утешал я себя, штыки солдат могут обернуться против угнетателей… Но для этого нужно долгое время, а пока что надо крепко подумать, как спасти себя и семью от этой злобы народной. Ведь в России нет теперь и клочка земли, где можно приклонить свою голову. Настанет время, когда уйдут интервенты и Владивосток займут красные войска. Что тогда делать, куда деваться? Бежать за границу? На какие же средства мы будем жить? С другой стороны, плохо верится, чтобы японцы покинули Приморье. Их острова переполнены до чрезвычайности, им нужна новая территория, и они не только не уйдут, но захватят большую часть российской земли. Говорят, работать с ними невозможно…

Вероятнее всего, думал я, придётся купить здесь землицу и, опростившись, начать жить от трудов рук своих. И с этими мыслями я вернулся домой.

СОН НАТАШИ

На другой день, в воскресенье, я встал, по обыкновению, рано, поставил самовар, сварил кофе и прошёл в комнату жены и Наташи, откуда слышались голоса.

— В чём дело? — спросил я плачущую дочурку.

— Ох, папочка, какой ужасный сон я видела. Что-то должно случиться…

— Да полно, девочка: нельзя же, в самом деле, верить в сны.

— Нет, папа, я так ясно видела этот ужасный сон. Чувствую, что он сбудется.

— Ну, расскажи мне сон, — сказал я, присаживаясь на кровать.

— Папочка, я видела явственно, как с гор спускается страшная толпа народа с красными бантами и знаменами. Толпа несла большой гроб, и когда гроб поравнялся с нашим домом, то в покойнике я узнала Колчака. Вдруг он сел в гробу и указал мне рукой назад, к Первой Речке, и я проснулась.

— Наташенька, — говорил я, — есть примета, что праздничный сон до обеда недействителен.

Но дочь не унималась и плакала.

Я вышел из комнаты и в раздумье направился к двери, ведущей на балкон.

На улице происходило что-то странное. Китайские кули, шедшие и ехавшие по направлению к Первой Речке, вдруг стали останавливать подводы, а затем, повернув лошадей в обратную сторону, вскачь помчались под горку к Светланке. Пешеходы тоже побежали назад. Улица опустела. Мелкие китайские лавочники стали закрывать двери и окна ставнями. Я недоумевал. Однако вскоре из-под горы от Первой Речки показалась толпа с красными флагами и бантами. Толпа росла, и послышалось пение «Интернационала». Среди толпы шли и вооружённые винтовками люди в обтрёпанных шинелях и тоже с красными бантами. Как я потом я узнал, это были партизаны Шевченко.

Я бросился к спящим в коридоре юнкерам. Юноши с ужасом глядели на многотысячную толпу. В русло этой толпы вливалась и другая. Шествие было внушительное. Сердце заныло от дурных предчувствий.

— Наташенька, сон в руку! — крикнул я в комнату дам.

Зачем, думалось мне, Толюша остался с нами, зачем он не уехал с гардами?

ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА

Когда собралась вся семья, началось совещание, что же нам делать.

Бежать некуда. Защиты из-за отъезда гардов никакой.

— Одно необходимо сделать, — сказал я юнкерам, — сейчас же спрятать оружие и переодеться в штатское платье.

— Но где его взять?

— У Толюши платье есть, вам же я дам своё.

Но моё платье было им непомерно велико.

— В таком случае сейчас же срежьте погоны.

Но молодёжь заупрямилась.

— Погоны мы не снимем, — заявили они, — а оружие спрячем на чердаке, дабы его можно было достать в критическую минуту.

— Нет уж, прячьте его так, чтобы не смогли разыскать. О сопротивлении не может быть и речи. Нельзя втроём сопротивляться тысячам.

С этим гарды согласились, но погоны не сняли.

Весь день моя семья сидела дома и никуда не выходила, за исключением меня, отправившегося на рекогносцировку. Я дошёл до переполненной народом Светланки. Куда девались нарядные платья дам? Все как-то в один день обнищали и обносились, но зато всюду бросались в глаза красные банты. Людей без банта я не насчитал и одного десятка. Даже на двух маленьких кадетиках в шинелях без погон виднелось по красненькому бантику.

Вероятно, рука заботливой мамаши, думал я, срезала погончики и украсила грудь мальчиков красными ленточками.

По Светланке носились грузовики, переполненные солдатнёй и бабами. Слышался писк и визг. Это катание на грузовиках было характерным явлением, как только власть переходила к коммунистам.

Я прошёлся немного по Светланке, но отсутствие красного банта на шубе так выделяло меня, что я решил возвратиться домой. Вечером к нам пришли Рудневы, и Сергей Петрович сообщил о бегстве генерала Розанова. Елизавета Александровна волновалась за судьбу своего сына Шуры, не приехавшего из Раздольного в отпуск. Что-то с ним случилось. Юнкера без боя в руки красным не дадутся.

Мы долго советовались с Сергеем Петровичем, что предпринять. В конце концов решили завтра же отправиться к сербскому послу и просить его доставить наши семьи в Сербию, а если он в этом откажет, то обратиться к японскому

командованию.

С момента переворота большую роль в нашей жизни стал играть матрос Петя Зотов, наш симбирский знакомый. Он не уехал с гардами и часто приходил на побывку к Рудневым. Он приносил с собой политические новости, всегда запугивая нас и рассказывая самые страшные вещи.

Мне всегда казалось, что Зотов стоит во главе матросского комитета и все постановления принимаются не без его участия.

Однажды он сообщил нам, что через три-четыре дня назначена варфоломеевская ночь, во время которой решено перерезать всех «буржуев» и беженцев. Эти известия ещё больше подтолкнули меня с Рудневым к решению покинуть Владивосток.

Когда же настала ночь и юнкера уснули, я под влиянием зотовских сообщений собрал их мундирчики и шинели, а жена, плача, срезала с них ножницами погоны.

На другой день молодёжь выразила неудовольствие самочинному поступку жены. Но каждый в отдельности был рад, что без погон ему не придётся защищать «честь мундира».

Сделав утром рекогносцировку, я вернулся домой с успокоительным известием, передав содержание только что расклеенных на улице афиш. В них сообщалось, что после бегства генерала Розанова, похитившего часть казённых денег, вся верховная власть перешла к местному земству, во главе которого стоял Медведев, эсер по убеждениям. В этих же объявлениях содержалось обращение к офицерству и юнкерам. Им предлагалось снять погоны и гарантировалась жизнь.

Заявления новой власти до известной степени успокоили нас.

Возможно, само земство было коммунистического направления. Японское командование в лице генерала Оя неоднократно заявляло, что не потерпит в Приморье насаждения коммунизма.

Молодёжь побежала читать афиши, а мы с Рудневым, верные вчерашнему соглашению, отправились к сербскому послу. Посол жил на одной из горных улиц, в скромном деревянном домике, и принял нас любезно. Это был красивый, рослый молодой человек, лет тридцати пяти. После признания Сербией правительства Колчака посол направился в Омск. Но неопределённость в положении Омского правительства заставила посла принять выжидательную позицию.

Мы представились и попросили дать возможность пробраться в Сербию.

— В Екатеринбурге, — сказал я, — моя семья оказывала посильную помощь сестре вашего короля, Елене Петровне. Прошу ныне оказать гостеприимство нам.

Посол внимательно выслушал рассказ о пребывании у меня великих князей и об аресте Елены Петровны. После этого посол сказал, что великая княгиня теперь находится в Сербии и вряд ли он может рассчитывать на её помощь. Сербы очень демократичны, и положение родственников короля не имеет того значения, каковое было у родственников русского Царя — великих князей. Елена Петровна в Сербии только сербская гражданка.

— Я не отказываю вам в гостеприимстве нашей страны и не только выдам вам визы, но и поспособствую если не даровому, то удешевлённому проезду на чехословацких кораблях. Но я наотрез отказываюсь содействовать побегу ваших сыновей — офицеров армии. Это не моя задача. Мы предприняли все меры к доставлению последних в Россию.

Такое заявление посла привело меня к решению поблагодарить его за внимание, но от предложения отказаться.

От сербского посла мы отправились в японский штаб.

Нас приняли, но менее любезно. Ожидая в прихожей, мы заметили русских офицеров, находившихся под охраной японского командования.

Долго ждать не пришлось, и нас ввели в кабинет начальника по фамилии Ватангбе. Был он в чине майора и хорошо владел русским языком.

Мы изложили просьбу о вывозе наших семей в Японию.

Рассматривая наши визитные карточки, он обратился к Рудневу с вопросом: «Не бывший ли вы московский городской голова?»

Руднев ответил отрицательно, сказав, что последний раз в Москве он был в качестве делегата от Симбирской губернии на выборах Патриарха Тихона. Японец очень заинтересовался этим и начал расспрашивать Руднева о построении церковной власти в России.

Наконец Ватангбе обратился ко мне:

— Скажите, а вы кто?

— Я бывший управляющий Волжско-Камским коммерческим банком в Екатеринбурге, ныне член дирекции того же банка, член совета министра финансов Омского правительства и бывший член правления Алапаевского горного округа.

— Так-с, — засюсюкал японец, — очень, очень приятно познакомиться. Я хотел бы знать: почему, не принимая участия в борьбе против большевиков, вы всё же желаете покинуть вашу Родину?

— Во-первых, потому, что я уже находился под властью коммунистов в Екатеринбурге и не желаю опять подпасть под эту власть. Во-вторых, я имел честь принимать у себя великого князя

Сергея Михайловича, за что заочно приговорён к расстрелу. В-третьих, когда чехи взяли Екатеринбург, я был избран председателем праздника, устраивавшегося в честь чешских войск. Поэтому я и думаю, что мне не миновать ни тюрьмы, ни расстрела.

Японец задумался.

— Хорошо, — сказал он, — если вас захотят арестовать, то дайте нам знать. Мы обещаем подать вам помощь, а чтобы быть более уверенным в этом, я дам визитные карточки с этой надписью. Она гласит, что во всякое время, когда вы или ваша семья сюда явитесь, вы будете здесь приняты.

Мы поблагодарили японского офицера и, идя домой, пришли к заключению, что вряд ли это обещание будет сдержано. Когда придут арестовывать, то бежать в японский штаб будет уже поздно. Но кое-какая надежда всё же теплилась, а, как известно, утопающий и за соломинку хватается.

Наши юнкера тем временем осмелели, и держать их под домашним арестом было трудно.

Вскоре явился из Раздольного Шура Грязнов. Он поведал нам историю, пережитую училищем и подтверждённую показаниями других юнкеров. Последнее обстоятельство особенно важно ввиду привычки Грязнова к преувеличениям и искажению истины.

Когда весть о бегстве Розанова и о переходе власти к коммунистам достигла училища, всё начальство во главе с Герц-Виноградским заперлось в офицерском флигеле.

Вскоре Девятый полк, стоявший в Раздольном, решил обезоружить юнкеров. Дежурным офицером по училищу оказался храбрый серб Дмитрович. Он, увидя приближающиеся цепи пехоты, вызвал юнкеров к стоящей у крыльца батарее и скомандовал зарядить пушки картечью. Солдатня, увидев эти приготовления, попятилась и ушла в свои казармы.

После этого начальство решило двинуться всем училищем в конном строю во Владивосток. Оказалось, что в цейхгаузах много белья и пожертвованного американцами и японцами обмундирования, в то время как юнкера вшивели в грязном белье. Всё заграничное добро пришлось бросить. По прибытии во Владивосток начальника училища посадили в тюрьму. Пятого февраля состоялось производство в офицеры, с чем юнкеров поздравил председатель Земского правительства Медведев.

Сына зачислили на службу в артиллерийское управление, после чего мы вздохнули несколько свободнее. Авось гроза пройдёт и нас не тронут. Однако последующие события вновь внушали опасения. Первым арестованным из наших знакомых оказался Николай Иванович Сахаров. Тот самый Коля Сахаров,

который в Симбирске в день окончания гимназии с золотой медалью отправился с семью эсерами в Ундоры грабить почту. Их схватили. Сахарова как несовершеннолетнего посадили в тюрьму на пять лет, а товарищей по соучастию в преступлении повесили.

Сахаров, совершенно переменивший политические воззрения и ставший ярым поклонником капиталистического строя, поступил на службу в Министерство финансов в Омске, где мы и возобновили знакомство. Незадолго до падения власти Колчака он был послан во Владивосток на смену уехавшему к Семёнову Сергею Фёдоровичу Злоказову, состоявшему управляющим Комитетом по ввозу и вывозу.

Вскоре после его ареста, встревожившего меня, я, качая воду из колодца, узнал ещё более неприятную новость. Жильцы передавали, что сейчас идёт обыск у нашего домохозяина Александра Александровича Сызранского.

Большинство жильцов хозяина не любили. Причина — мелочность характера, выражавшаяся главным образом в запрете жильцам пользоваться колодцем, который всегда был заперт на ключ. Мне он никогда не отказывал, но приходилось самому ходить на третий этаж флигеля за ключом. Когда же я начинал качать воду, со всех сторон сбегались жильцы, коим запрещено было пользоваться водой. Я же, не признавая запретов, терпеливо ждал, пока жильцы заполняли вёдра.

Эти мелочи привели к тому, что известие об обыске жильцов обрадовало, и они высказывали пожелания, чтобы домохозяина арестовали.

— Как вам не совестно, господа, так радоваться его несчастью. Совсем не так сладко сидеть в тюрьме в ожидании возможного расстрела.

— Так ему и надо! По крайней мере не будем сидеть без воды.

Обыск продолжался чрезвычайно долго. Затем он продолжился и в тех двух комнатах, что изображали контору Союза Земств и Городов, в которой за всё наше пребывание во Владивостоке никогда не было работы.

Наши комнаты отделялись тонкой перегородкой, и был хорошо слышен сам обыск.

Сызранский был утомлён допросом и отвечал еле слышным голосом.

Я запер двери в нашу квартиру. Мы с женой хорошо запрятали ценности и всё то, что могло подвергнуться конфискации, вплоть до моих мемуаров. Загасив огонь, мы улеглись, несмотря на ранний час, в постели.

Время тянулось медленно. Часов в одиннадцать обыск стал

подходить к концу, и послышался стук в нашу дверь.

— Кто там? — спросил я.

— Именем закона прошу отпереть, — послышался ответ. — С вами говорит товарищ такой-то, член Следственной комиссии особого назначения.

Я отпер дверь. «Товарищ» прошёл в комнату дам и стал опечатывать дверь, ведущую в Союз.

Я запротестовал, говоря, что не могу быть ответственен за эту печать, ибо дверь не заперта и её легко открыть с другой стороны.

«Товарищ» заявил, что я отвечу, если печать будет сломана. Я тотчас настрочил на машинке заявление и сдал его следователю под расписку.

Когда я вошёл с этим заявлением в комнату Союза, Сызранский стоял уже в шубе и шапке. Я поздоровался и спросил сочувственным тоном, как дела.

— Да уж хуже и придумать нельзя… Видите, везут на расстрел.

— Как вы смеете говорить такие вещи? — воскликнул «товарищ». — Мы вам припомним эти слова.

Сызранский, подталкиваемый двумя стражниками, начал спускаться с лестницы.

Я же, вернувшись к себе, долго не мог заснуть, оценивая шансы возможного ареста.

«Если Сызранского, земского деятеля, арестовали, то, как только узнают, что я чиновник четвёртого класса Омского правительства, дойдёт очередь и до меня», — вновь тревожно застучало моё сердце.

Через несколько дней Толюша, гуляя по Светланке, встретил знакомого ещё по Екатеринбургу офицера, Льва Львовича Николаевского, и затащил его к нам. Мы были обрадованы увидеть старого знакомого. Оказалось, что из Екатеринбурга его отправили на французский фронт, где он принимал участие в боях против немцев. После того как наши войска взбунтовались, Николаевский перешёл на службу во французскую армию. Пройдя обучение в авиационной школе, стал авиатором в Африке. Там Николаевский успешно служил, а уже оттуда совершил кругосветное путешествие с намерением поступить в армию адмирала Колчака. В Японии он узнал не только о падении Омского правительства, но и о бегстве Розанова. Тем не менее в компании с Русьеном и Щербаковым Лев Львович отправился во Владивосток.

Командующий войсками Краковецкий причислил их к штабу войск.

Молодые люди часто приходили к нам по вечерам и

разделяли наш скромный ужин.

В их рассказах было много интересного, и время пролетало быстро. Щербаков недурно пел и иногда приносил свои стихи.

ПРОБЛЕМА ЗОЛОТА

Вскоре во Владивосток приехал Шевари, привёзший в чешском эшелоне оставленные нами в Иркутске вещи. При этом наш граммофон с большим количеством пластинок пришлось подарить чехам за провоз вещей. Самое же главное — получить золото из Иркутского отделения нашего банка Шевари не удалось. По его словам, золото было сдано в Государственный банк, где его и конфисковали. Так погибла надежда получить принадлежащее мне состояние, равное двенадцати тысячам рублей. О, как упрекал я себя в легкомыслии! Почему я испугался Унгерна и Семёнова? Ведь эшелон артиллерийского училища не осматривали.

Правда, уезжал я из Иркутска в полной уверенности, что через два-три месяца вернусь, а потому предпочёл золото с собой не везти и лишний раз не рисковать.

Однако вскоре я встретился с приехавшим из Омска Сергеем Семёновичем Постниковым, бывшим уполномоченным Омского правительства по управлению Уралом. Вид его был чрезвычайно удручённый. Я зашёл к нему в номер, и он рассказал мне удивительную историю, происшедшую с ним у барона Унгерна.

Он ехал с женой и вёз с собой пуда два золота и меха. Проводник вагона донёс офицерам Унгерна о провозимом золоте. Надо сказать, что вывоз золота был запрещён во время войны ещё Императорским правительством. Но за этим следили таможенные чиновники. Покупка и продажа как золотой монеты, так и слитков золота запрещены не были. Равным образом не было запрета на вывоз за границу кредитных денег. Поэтому таможенные чиновники в бумажники не заглядывали.

На востоке дело осложнялось тем, что Китайско-Восточная железная дорога прорезала китайские владения. Если бы кто-нибудь вёз золото по дороге, идущей через Благовещенск, то он имел право довезти таковое до Владивостока. Это право пресекалось на пограничной станции Маньчжурия.

Так вот, не доезжая до этой станции двух перегонов, на станции Даурия, царил отряд барона Унгерна. Он останавливал поезда, обыскивал, отбирая не только золото, но и кредитные билеты всех образцов, если те везлись в большом количестве.

Носились слухи, что реквизиция ценностей иногда была связана с исчезновением самих владельцев.

Коммунисты же издали закон о монопольном владении казной и принимали золото с уплатой владельцу тридцати — тридцати двух рублей за золотник. Омское правительство не

ввело никаких поправок в императорский закон, за исключением расценки на золото, сдаваемое добровольно владельцем в казну по цене пятьдесят рублей за золотник. Вольная же цена золота в дни моего приезда в Иркутск стояла по четыреста рублей за золотник, почему никто его в казну не сдавал. Всё это только усугубляло положение: Омское правительство доживало последние дни. Следом за ним воцарялся коммунизм. Владельцу золота предстояло решить вопрос: остаться ли под властью коммунистов и сдать им золото или же бежать в Китай. Бежать, оставив золото, было равносильно приговору к нищенству.

При таком положении Омскому правительству следовало бы издать особый закон о перевозке золота по почте с повышенной уплатой за провоз, но Семёнов и Унгерн в то время уже совсем не церемонились и с ценностями Омского правительства, всё отбирая в свою казну. Везти золото через Благовещенск было, пожалуй, ещё опаснее, ибо в Хабаровске грабил и бивал людей Калмыков.

Однако с разрешения министра финансов золото, после сдачи в Государственный банк, провозили. И я, имея такое разрешение, отдал при отъезде приказ нашему банку о сдаче своего золота туда на хранение. Я ожидал, что товарищ министра исполнит слово и доставит его мне во Владивосток.

Но было уже поздно… Семёнов не пропускал ценностей, и мой слиток в двадцать фунтов погиб.

Многие военные оправдывали действия атаманов, говоря, что надо же было им на что-то содержать войска. Совершенно верно, но ведь их войска получали деньги от Омского правительства, на что и существовали точно так же, как и вся армия. Но атаманы Семёнов, Калмыков и Анненков в Семипалатинске признавали власть Колчака постольку, поскольку это было им выгодно. В сущности, каждый из них наносил удар в спину командующего. Особенно Семёнов, ставленник японского командования, не ладивший с Колчаком. Он часто отбирал не только ценности, но и военные грузы, идущие из Владивостока в Омск. Так, Семёнов перехватил французские пушки и обмундирование.

Опасаясь Семёнова, министр финансов Омского правительства не решался провезти в Омск приготовленные в Америке кредитные билеты. Попади они в руки Семёнова, атаман совсем бы отделился от Колчака.

Мой знакомый, инженер Постников, бывший управляющий огромным Богословским округом, одно время был приглашён Омским правительством на должность особоуполномоченного по управлению всем Уралом. В сущности, он получил власть значительно большую, чем власть горного начальника Урала,

которая приравнивалась к генерал-губернаторской. С занятием красными войсками всего Урала эта должность автоматически упразднилась, и Постников, оставшись не у дел, решил пробираться в Харбин или во Владивосток.

Узнав о том, что переслать золото через Государственный банк уже нельзя, он решил провезти его тайным образом, надеясь, что бывшего чиновника Омского правительства Семёнов не тронет. Но чем ближе поезд подходил к станции Даурия, тем больше в душу Его Превосходительства закрадывались сомнения.

А перед самой Даурией он струсил настолько, что рискнул передать золотые слитки на хранение проводнику, пообещав ему хорошо заплатить за услугу. С Постниковым в вагоне, помимо жены, ехали Бехли и Кудрявцев с семьями. Бехли вёз с собой в чемодане один миллион сибирских рублей.

В Даурии их вагон отцепили и перевели на запасной путь. После этого в вагон вошло несколько офицеров, начавшие опрашивать, какие ценности везут с собой пассажиры. Фёдор Георгиевич Бехли сказал, что везёт один миллион кредитных рублей, принадлежащих Николо-Павдинскому горному округу, коего он состоял управляющим. Деньги взяли. Сергей Семёнович Постников начал уверять, что у него ничего запрещённого нет. Начался обыск. Проводник выдал золото, а у Постникова отобрали и меха, и драгоценные камни. Всех троих арестовали и посадили на гауптвахту, а их жёны проехали на станцию Маньчжурия. Постникова посадили в солдатскую камеру, тогда как Бехли — в офицерское отделение. Чем больше Постников умолял возвратить состояние, нажитое за долгую службу, ссылаясь на свои заслуги перед Белым движением, тем больше тюремщики над ним издевались. С Бехли обходились хорошо, но его протесты на незаконность конфискации денег не действовали.

Наконец к ним пожаловал и сам барон Унгерн. Постников подхалимничал. Это, видимо, не нравилось Унгерну, и он на все его просьбы и протесты отвечал:

— А ля гер ком а ля гер.

Вскоре узникам было сделано предложение поступить на службу к атаману Семёнову, нуждавшемуся в инженерах. Им было предложено перевести с французского правила пользования пушкой. Работа совместными силами была исполнена, после чего их выпустили на свободу. Что проделывали над Постниковым, Бехли не знал, но при разговорах со мной он склонялся к мысли, что Его Превосходительство выпороли.

По крайней мере Постников в день нашей встречи приехал ко мне со своей женой и стал умолять разрешить переночевать у нас.

— При всём желании оказать вам гостеприимство я не могу,

ибо в двух комнатах помещается пять человек, а лишних кроватей нет.

Сергей Семёнович настаивал на своей просьбе:

— Мы поспим у вас в коридоре на полу, безо всяких матрасов и подушек.

— Сергей Семёнович, да чего же вы боитесь? У вас есть прекрасный номер.

— Я опасаюсь ареста семёновскими агентами.

— Здесь царство скрытого коммунизма, и агентов Семёнова сюда не допустят.

— Семёнов — ставленник Японии, а здесь вся сила в их командовании, отвечал мне Постников.

Я объяснил ему, что недавно коммунисты арестовали Сахарова и Сызранского. Эти обыски и аресты продолжаются, но японское командование не вмешивается, и я не слышал, чтобы оно кого-либо арестовывало.

Эти заверения несколько успокоили Постникова, и он покинул наш дом. На другой же день Постников выехал в Шанхай, а оттуда в Германию.

Следом за Постниковым прибыл во Владивосток Станислав Иосифович Рожковский с женой. Он после моего отказа занять пост управляющего отделением Государственного банка это место занял, а теперь, выйдя в отставку, уезжал в Польшу. Таким образом, мы были с ним коллегами не только по Волжско-Камскому банку, но и по Министерству финансов. По его просьбе я уступил ему пять фунтов золота по себестоимости. Золото он провёз, несмотря на производимый обыск, а мой слиток провезти с собой не соблаговолил.

Это окончательно уничтожило всякую надежду на получение состояния. Приходилось утешаться лишь тем, что не один я потерял свои деньги.

Интересна и история с золотом, принадлежавшим Георгию Андриановичу Олесову, управляющему Сибирским банком. За его дочурками ухаживал какой-то английский офицер. Во время бегства из Екатеринбурга барышни отдали ему свои драгоценности, которые он и доставил в Иркутск.

Честность молодого человека соблазнила старика, и он вручил ему два пуда золота, прося доставить их во Владивосток. Но честный на мелочи офицер присвоил себе золото, и когда Олесов приехал во Владивосток, то не нашёл там никого. Год спустя Георгий Андрианович приехал в Лондон и, зная фамилию офицера, стал наводить о нём справки. Но все розыски оказались тщетными, так как в Военном министерстве ему сказали, что такой офицер у них в списках не значится. Старик Олесов умер в

большой бедности в Харбине.

Мировая война и революция расшатали нравы не только интервентов, но и наших военных. Революция глубоко проникла в самую толщу сознания нашей буржуазии, превратив её в мошенников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФАБРИКИ

Я напрягал все мысли, дабы придумать какое-либо дело, способное прокормить семью. На получение места я рассчитывать не мог. Я понял ошибку своей жизни, проведённой под стеклянным колпаком, называемым банком, где мне было твердо известно, что каждое двадцатое число я получу строго определённую сумму.

Был я до известной степени энциклопедистом в вопросах многих производств, прекрасно разбирался в балансах, но практических, детальных знаний у меня абсолютно не было, ибо я никакого ремесла не знал. И тут мне вспомнились мои разговоры со стариком евреем, богатым нефтепромышленником, с которым я познакомился в Котрексевиле. Старик вместе со старухой женой тогда горевали о предстоящей разлуке с хорошенькой дочкой, которую для изучения ремесла — кажется, тиснения по коже — они оставляли на два года в Мюнхене.

— Зачем вы себя мучаете? — говорил я. — Ведь у вас прекрасное состояние. Зачем вашей хорошенькой дочурке изучать какое-то ремесло? Выдайте её замуж за хорошего человека, дайте ей приданое, и она прекрасно проживёт всю жизнь без знания ремесла.

— Нет, — отвечал упрямый старик. — Деньги, как мыло, могут исчезнуть, а ремесло всегда человека прокормит.

Где теперь эта барышня? Кормится ли ремеслом своим?

И я сожалел об отсутствии у меня практических знаний. Можно было бы изучить портняжное дело или сапожное ремесло или хотя бы знать детально хлебопекарное дело. Я мог бы открыть сапожную мастерскую или булочную на те средства, что имел, и жил бы себе припеваючи.

Ещё в первые дни приезда во Владивосток я разыскал Ценина и Григория Андреевича Кузнецова. Мы состояли членами-пайщиками Волжского товарищества, где я имел пай в сто тысяч рублей. Из разговоров выяснилось, что значительная часть товаров, закупленных для Белой армии, находится в Харбине и Никольске-Уссурийском и заключается главным образом в листовом табаке. Но спроса на товары совершенно не было, а цена падала. Однако надежда на его продажу всё же сохранялось. Оставшись отрезанными от правления товарищества, находящегося в Омске, решено было выбрать временное правление из членов товарищества, здесь находившихся. Председателем выбрали старика Сурошникова, а Александра Сергеевича Мельникова и Александра Кузьмича Ценина — его

товарищами. Сурошников до войны обладал огромными земельными пространствами, главным образом в Самарской губернии, и вместе со своим тестем Шихобаловым слыл самым богатым человеком во всём Поволжье. Их состояние определялось в десятки миллионов рублей. Всё это давало надежду, что столь денежный человек сумеет и здесь выйти из тяжёлого положения. Но будущее показало, что и это дело — отнюдь не под влиянием политических событий — оказалось мыльным пузырём. Вскоре Г. А. Кузнецов, тоже бывший миллионер, суконный фабрикант, изобличил Сурошникова в воровстве. После этого мы выбрали Кузнецова на должность председателя. Кое-что из товаров удалось реализовать, и мне в виде дивиденда выдали шестьсот иен. Если бы посчастливилось продать весь табак, то можно было бы рассчитывать получить ещё две-три тысячи. Это уже деньги, о которых беженцам можно было только мечтать.

Теперь я, несколько отойдя от хронологии, изложу воспоминания о попытках работы и о крушении всех надежд, не столько от неблагоприятных политико-экономических условий, сколько от недобросовестности людей, когда-то ворочавших миллионами, а теперь волею судеб потерявших свои состояния. Я уже упомянул о том, что архимиллионер Сурошников был изобличён Кузнецовым в хищении товарищеских сумм. Расследование дела показало, что Саша Мельников, универсант по образованию, получил от Сурошникова пятьсот иен за молчание. Саша Мельников был сыном Сергея Григорьевича Мельникова, шатровского доверенного. Мне было не столько жаль украденных денег, сколько совестно за людей.

Вместо Сурошникова мы выбрали Григория Кузнецова. — симбирского суконного фабриканта.

Я знал, что Григорий Кузнецов — человек без особых нравственных устоев, но, отделяя этику от дела, был уверен, что в его опытных руках дела Волжского товарищества наладятся. Тут он выдвинул предложение, пользуясь наличием на таможенных складах большого количества хлопковой и шерстяной пряжи, устроить ткацкую фабрику и впоследствии превратить её в суконную. Всё говорило за успех предприятия. Но для того чтобы таковое осуществилось, необходимо было найти капитал в пять тысяч иен. У Волжского товарищества были товары, но не деньги. Мы с Кузнецовым решили собрать капитал среди как старых, так и новых вкладчиков, а когда Волжское товарищество ликвидирует свои товары, влить вырученные суммы в дело, что позволяло надеяться на возможность приобретения необходимых для суконной фабрики машин. Шерсти в Монголии было достаточно, а суконных фабрик в Забайкалье — ни одной.

План был заманчив, и я решил записаться пайщиком на две тысячи иен. Кузнецов же со свойственной ему энергией разыскал и необходимые для дела ручные ткацкие станки, что сразу ставило дело на ноги.

Мы повели переговоры с Министерством торговли и промышленности, возглавляемым в то время коммунистом Леоновым. Мне пришлось несколько раз говорить и с ним, и с его помощником, бывшим второвским приказчиком.

Они ставили столь невозможные условия работы, что однажды я сказал:

— По убеждению вы коммунисты, но по действиям являетесь самыми отчаянными спекулянтами-эксплуататорами. Нельзя же назначать такие цены на пряжу, да ещё и ограничивать нашу прибыль десятью процентами. Ведь это же не что иное, как эксплуатация промышленников.

— Мы соблюдаем интересы казны.

— Нет, вы их не соблюдаете. Интересы казны заключаются в насаждении промышленности в этом крае, а вы режете курицу, которая может нести вам золотые яйца. Дайте нам окрепнуть, тогда и собирайте посильные налоги.

Эти слова, по-видимому, подействовали, и нам продали небольшое количество пряжи за наличный расчёт, с тем что вся пряжа остаётся в нашем распоряжении и будет выдаваться по мере надобности за наличный же расчёт нашей фабрике и наши барыши не будут ограничены.

Надо было собирать капитал. Я внёс две тысячи иен, Ценин — пятьсот и ещё один новый пайщик — тысячу. На полторы тысячи подписался Кузнецов, обещая внести деньги в самом скором времени.

С большими хлопотами за сходную плату нашли в арендное пользование казённый каменный сарай на Егершельде. Станки установили. Нашлись ткачи корейцы и китайцы. Фабрика была пущена в ход. На ней вырабатывалась плотная бумажная чёрная материя в белую полоску. Спрос на материю был приличный, и всё говорило за успех.

Перед открытием фабрики Кузнецов назначил заседание членов Волжского товарищества во Владивостоке. Приехали братья Карповы, Першины, Ценины, а также Кошелев и Мельников. В прошлом это были богатые не только капиталом, но и опытом люди.

Часа в три ночи я был разбужен телефонным звонком. Говорил Ценин.

— Владимир Петрович, ради Бога, выручайте. Мы сидим в полицейском участке, куда попали за скандал, устроенный

Кузнецовым в ресторане. Вы знакомы с генералом Болдыревым? Созвонитесь с ним, упросите его приказать полиции нас выпустить.

— Ну, знаете ли, будить генерала ночью я не стану. Наскандалили, напились, так и сидите. Другой раз будет наука. Неужели нельзя было вести себя поскромнее? Ведь это чёрт знает что — приехать на деловое заседание и тотчас же напиться. — И я с досадой повесил трубку.

На другой день их выпустили без моего вмешательства и, вероятно, за мзду.

Заседание состоялось, как всегда, под моим председательством.

Выяснилась возможность продать остатки товаров тысяч за двадцать, из коих пятнадцать можно было потом поместить в наше фабричное дело, а за пять тысяч — купить в Харбине ресторан, в коем и отпускать бесплатные обеды всем членам товарищества и их семьям. Ресторан взялся вести опытный в этом деле Кошелев, бывший буфетчик гостиницы «Троицкая» в Симбирске. Членам же товарищества предоставлялось преимущественное право за плату обслуживать ресторан в качестве лакеев, швейцаров, поваров и т. д. На этом решении мы и остановились, отправившись в ресторан.

В каком-то ресторане мы заняли отдельный кабинет и вызвали перепуганного ночной телефонадой симбирского врача-бактериолога Левашова. Он спал. Над ним подшутили, сказав, чтобы он немедленно приезжал в ресторан, ибо вновь ожидается переворот. Чудак доктор так перетрусил, что наскоро собрал свой чемоданчик и прикатил к нам, где под наш неудержимый смех долго ругал нас за свой испуг.

Среди девиц, приглашённых нами в кабинет, оказалась и Ядя, ехавшая с нами в теплушке. Она, видимо, была сконфужена моим присутствием и держала себя скромно, просидев почти весь вечер со мной на диване и вспоминая эпизоды нашего пятинедельного путешествия.

На этом вечере в столь знакомом ресторанном угаре быстро пролетело время до утра.

Не прошло и двух-трёх месяцев, как рынок насытился нашим товаром, и дело остановилось. Кузнецов сказал, что он поедет в Харбин для сбыта товара, а сам потихоньку от меня продал станки, захватил товар, пряжу и пропал без вести, увезя и всю наличность нашей кассы.

От всего дела у меня на руках осталась шерстяная пряжа тысячи на полторы иен. Мы с Цениным разыскали мелкого промышленника Хмелёва, имевшего фабрику шерстяных платков

и других изделий. Заключив контракт, мы передали ему остаток шерсти. Он вернул нам товар приблизительно на одну тысячу иен, а остальные две тысячи, вырученные на платках из нашей шерсти, присвоил себе и сказал, что их не выплатит.

Что было делать? Подать в суд возможно, но получить с этого негодяя деньги по исполнительному листу было делом невозможным. Оставшиеся белые свитера и кофты я снёс к «Кунсту и Албersту» и оставил их на комиссию. Произошло это перед самым нашим бегством из Владивостока, потому эти деньги пропали тоже.

Ресторан в Харбине просуществовал недолго, не давая барышей. Внакладе оказался один Кошелев, арендовавший буфет на одной из станций Китайско-Восточной железной дороги. Куда делись товары Волжского товарищества, мне неизвестно.

Григорий Кузнецов разыскался в Харбине. Несмотря на то что ему посчастливилось найти наивного человека, купившего у него за десять тысяч иен половинное владение симбирской фабрикой, он не вернул присвоенные деньги, принадлежавшие нашему фабричному делу. Вскоре Кузнецов скончался от рака желудка.

ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Шевари был одним из настойчивых претендентов на руку моей дочери. По-видимому, и дочурка ему симпатизировала, но сердце её стал завоевывать Николаевский.

Если бы Шевари приехал недели на две раньше, дочь стала бы его невестой. Мы с женой не очень-то приветствовали это сватовство уже потому, что жених был по рождению хорват, сербский подданный. Мне почему-то казалось, что он был женат ещё до войны и скрывал это от нас. По крайней мере казалось странным, что Шевари всячески отговаривал нас от поездки в Сербию и советовал в крайнем случае ехать в Шанхай.

А политическое положение Владивостока диктовало мысль о необходимости покинуть Приморье. Земское правительство всё левело. Я не был лично знаком ни с председателем управы Медведевым, ни с её членами. В противоположность земским управам Европейской России, большинство которых состояло из поместных дворян, здешнюю управу заполонили разночинцы. Правда, среди лиц, ныне захвативших власть, не было коммунистов.

Медведев числился левым социалистом, а члены управы если не состояли в этой партии, то по убеждениям своим к ней примыкали.

Казалось бы, после разгона коммунистами Всероссийского Учредительного Собрания эсеры должны были стать их ярыми политическими противниками. Но выбор, сделанный Земской управой, показывал, что господа социалисты вошли в полный контакт с коммунистами. Сама управа была пленена советом управляющих ведомствами и никакого влияния не имела. Управляющие ведомствами были подобраны коммунистом Никифоровым из лиц, принадлежащих к его партии.

Чем иначе можно было объяснить и аресты чиновников и офицеров, и неслыханную по зверству кровавую расправу над офицерством на реке Хорь? Офицеров вывезли безоружными на реку, выстроили в шеренгу на железнодорожном мосту, разбивали черепа кувалдами и бросали в воду. Так погибло около семидесяти человек, и лишь один, уклонясь от удара, бросился в реку и, переплыв её, спрятался в камышах и тем спас свою жизнь.

Большевики не остановились перед ещё большими злодеяниями, перещеголявшими кровавую расправу на реке Хорь. До Владивостока дошли слухи о дикой расправе «товарища» Тряпицына и его подруги над всей буржуазией Николаевска-на-Амуре.

Город захватили красные, и вся буржуазия поголовно была вырезана и расстреляна. Говорили, будто и японский гарнизон, несмотря на отчаянное сопротивление, весь перебит. В это как-то плохо верилось, но слухи становились всё более достоверными.

Если всех перебили в Николаевске, то предупреждения Пети Зотова о том, что во Владивостоке готовится варфоломеевская ночь, могли превратиться в действительность.

Вновь страх за жизнь семьи холодил кровь, и в бессонные ночи картины одна ужаснее другой рисовалась в моём воображении.

Четвёртого апреля в одном из учреждений Владивостока была назначена лекция на тему «Россия и славянство». Я решил сходить на неё; ко мне присоединился Шевари.

Лекция затянулась, и приблизительно в полночь мы возвращались по Светланке домой. Недалеко от Китайской улицы, у гостиницы «Золотой Рог», мы сперва услышали ружейную, а затем и пулемётную стрельбу. Пули с визгом пролетали мимо нас. Наконец явственно послышались и пушечные выстрелы. Кое-кто из прохожих лёг на тротуар, а мы прижались к стене ближайшего дома в надежде переждать стрельбу. Стоять становилось опасно.

Тогда я стал, не отделяясь от стены, боком двигаться к Китайской улице. Положение было не из приятных, но большого страха я не испытывал. Свернув на Китайскую, мы очутились вне зоны обстрела и стали обсуждать положение, стараясь угадать, кто стреляет. А вдруг это белые? Какое это было бы счастье!

Идя по Китайской к нашей квартире, на пересечении улиц мы повстречали группу людей, которые сказали нам, что японцы бьют из пушек в упор в Земской дом.

Шевари, несмотря на явную опасность, моего предложения переночевать не принял и отправился в свой кооператив.

Ночь прошла в полной тревоге, а утром мы узнали, что город занят японскими войсками. На всех правительственных зданиях развевался японский флаг.

Мы решили пройти в гостиницу «Золотой Рог», где квартировали Николаевский, Русьен и Щербаков, чтобы предложить им перебраться к нам.

Стрельбы не слышалось. Я упросил сына надеть штатское платье, поскольку на его мундире и шинели красовалась красная звезда, установленная для военных.

Едва мы вышли на улицу, как заметили возвращавшегося со Светланки Толиного товарища по юнкерскому училищу. Толюша пошёл ему навстречу, дабы разузнать о случившемся. Но в это время к тому подскочили два японских солдата с винтовками.

Они грубо остановили офицера и стали тыкать пальцами в звезду на фуражке. Юноша скинул её и хотел тут же сорвать ненавистную звезду, но один из японцев ударил его в спину прикладом и велел идти перед ними, предварительно обыскав его карманы, в коих оружия не оказалось.

Тяжёлое впечатление произвела на меня эта сцена. Я хотел вступиться за юношу, но японцы не понимали русского языка. Особенно врезались в память их лица. В них было столько ненависти, особенно в глазах, блестевших зелёным огнем, совсем как у озлобленных собак, что становилось страшно не только за арестованного юношу, но и за себя.

На Светланке толпа не помещалась на тротуарах и шла улицей. На углу Алеутской, напротив Земского дома и гостиницы «Золотой Рог», стояла толпа в несколько тысяч человек. В стенах обоих зданий виднелись следы от пуль. Кое-где были разбиты стёкла. Японцы, установив пушки на балконе противоположного дома, стреляли в здания в упор. Оказалось, что в самой гостинице ранена одна горничная, в ногу которой попала пуля.

Мы вернулись обратно, и, когда я входил на крыльцо, из двери квартиры Руднева вышел Сергей Петрович. Он старался придать своему лицу скорбное выражение:

— Бедная Россия! Как смотрите вы на эти события?

— Сергей Петрович, радоваться тому, что Приморье занято японцами, русским людям вряд ли приходится, но для меня и вас это самый благополучный выход. Я считаю, что эта ночная канонада много лучше, чем грозившая нам варфоломеевская ночь.

— Конечно, — сказал он, — это месть японцев за события в Николаевске.

— Совершенно с вами согласен. Я бы перебил здесь всех коммунистов до единого. Это было бы справедливое возмездие за варварство большевиков. Воля ваша, а я считаю, что японцы держали себя очень сдержанно.

— Да, всё это так, но мне смертельно жаль нашу Родину.

— Сергей Петрович, не мы ли хотели изменить Родине, собираясь уехать в Сербию или в Японию? Теперь Япония пришла к нам, и поэтому я радуюсь и за себя, и за вас. Нам много легче будет жить здесь, чем в Японии, а ответственным за эти события я себя не считаю. Вся вина лежит на изуверах коммунистах, и жаль, что японцы их мало потрепали.

Но в своих предположениях я ошибся. Японцы перебили многих из «товарищей». Общее число убитых превысило сотню. Исчез и Лазо, вероятный инициатор убийства на реке Хорь.

Однако на другой день японские флаги были сняты. У власти

вновь водворилось Земское правительство, с некоторым изменением в распределении портфелей. Но состав управляющих ведомствами ничего хорошего не предвещал. Правительство состояло из людей, совершенно не подготовленных к государственной деятельности.

Если верить ленинскому изречению, что всякая кухарка может свободно и хорошо управлять губернией, то почему же и эти господа должны были отставать от притязаний кухарки?

Как сейчас помню распределение портфелей. Председатель Совета министров — Никифоров, министры: финансов — С. А. Андреев, внутренних дел Кругликов, продовольствия и снабжения — Соловьёв, промышленности — Леонов, путей сообщения — Кушнарёв, юстиции — Грозин, иностранных дел — Свирский и его помощник А. М. Выводцев, управляющий делами — Кабцан. Только Болдырев да Выводцев не числились ни в коммунистах, ни в левых эсерах.

Я удивился непоследовательности японского командования. Конечно, надо было перехватать всех коммунистов, а не разрешать им принимать участие в управлении краем. Но на Японию оказывали воздействие иностранные державы, и в особенности свободолюбивая и абсолютно не разбирающаяся в русских делах Америка.

После японского выступления всё успокоилось, и я с радостью откинул мысль о необходимости покинуть дорогую моему сердцу Россию.

Главнокомандующий Краковецкий бежал, и на его место был призван генерал Болдырев. Правда, обязанности главнокомандующего были низведены, в сущности, до обязанностей градоначальника. По соглашению с японским командованием число войск было сведено к минимуму. Их оставили столько, сколько нужно для поддержания внутреннего порядка. Были разоружены и те жалкие остатки флота, что уцелели после японской войны. Мне, невоенному, чрезмерная осторожность казалась смешной, диктуемой трусостью интервентов. Если бы количество судов и сухопутных войск было в три раза больше, то и тогда таковые не представляли бы какой-либо опасности для японских войск. Их армия не только вымуштрована до недосягаемого для других наций предела, но, что самое главное, их сердца и помыслы так же хорошо маршируют под команду офицеров. Японцы бегают, не отставая от кавалерии, делая рысью большие, в несколько десятков вёрст, перегоны.

Вскоре Толюша, придя со службы, обратился ко мне за советом.

— Папочка, генералу Болдыреву как главнокомандующему нужны два адъютанта. Одного он должен иметь для переговоров с коммунистами, а другого — для переговоров с интервентами и правыми организациями. В штабе Русьян и Николаевский указали ему на меня как на бывшего правоведа, говорящего на французском и немецком языках. Что скажешь, если выбор генерала остановится на мне?

— Конечно, Толюша, тебе хочется надеть адъютантские аксельбанты, и желание твоё я понимаю. К тому же я не вижу разницы между ныне занимаемым тобой местом и предполагаемым, ибо и та и другая службы есть, несомненно, служба коммунистическому правительству, хотя и в скрытой форме. Поэтому я думаю, что тебе отказываться от более видного предложения не следует. Но с другой стороны, теперь продолжается всё та же революция, и самое благоразумное — не выдвигаться, а прятаться в щёлку. Чем выше поднимешься, тем больнее будет падать. А это рано или поздно произойдёт. Поступай же, дружочек, как знаешь, и служи своему генералу верой и правдой.

На другой день Толюша явился сияющим. Болдырев остановил свой выбор на нём, и Толюша вскоре перебрался жить на казённую квартиру генерала, где ему была предоставлена хорошая комната.

Наступило хорошее время для Владивостока. Аресты прекратились. Приближалось время открытия Народного собрания, а не совдепа, и надо было приниматься за дела.

К этому времени приехал из Харбина Буяновский, бывший управляющий Русско-Азиатским банком в Омске, одно время занимавший должность товарища министра финансов в Омском правительстве.

Я получил от него предложение принять участие в заседаниях Банковского комитета.

На первом же заседании пришлось заявить, что моё присутствие вряд ли законно, ибо наш банк более не существует. Но Буяновский просил ему не отказывать, так же как не отказал и Щепин.

— Мы все дорожим вашим мнением бывшего председателя Банковского комитета в Екатеринбурге. К тому же нам необходимо собрать как можно больше членов, дабы к нашей организации прислушивались.

Я согласился.

С первых же заседаний стала выясняться и политика Русско-Азиатского банка. Она состояла в том, что Буяновский рассчитывал получить от местного правительства монопольное

право возобновить деятельность банка во всех городах Забайкалья. Уже поговаривали об образовании буферного государства под названием Д.В.Р.

Почему было не помочь этому делу? Тем более что если бы это удалось, то я мог бы получить место управляющего в одном из отделений.

На втором заседании комитета было зачитано приглашение министра финансов Никифорова пожаловать к нему на собеседование. Буяновский и Щепин, видимо, опасаясь того, что я на этом заседании позволю себе резкие выражения в адрес коммунизма, которые могут испортить всё дело, предложили вести переговоры только с ними двоими — близкими знакомыми Никифорова.

Я сказал:

— Не лучше ли в таком случае мне совсем не приходить?

Но весь комитет просил меня присутствовать и выслушать прения сторон.

В назначенный день и час мы явились в министерство, помещавшееся, кажется, в бывшем морском штабе.

Как мне потом говорили, коммунисты будто бы готовились к этому заседанию и предварительно обсуждали все вопросы, вплоть до таких мелочей, в какой одежде должен был встретить нас Никифоров. Он не соглашался надеть пиджачную пару, а склонялся к косоворотке. Приняв среднее решение, он встретил нас почти в велосипедном костюме, в длинных тёмных брюках и в белой рубашке с полосками и отложным воротничком, опоясанный широким велосипедным поясом. Здесь же присутствовал и Леонов, министр торговли и промышленности.

Никифоров, встав с места, обратился к нам, очевидно, с заранее подготовленной речью:

— Господа, я коммунист по убеждению и всё время вёл беспощадную борьбу с частным капиталом, разрушая его со всей присущей мне энергией. Но теперь под влиянием требования интервентов волею судеб вынужден вести обратную политику, охраняя капиталистический строй, и даю торжественное обещание, что приложу ту же энергию в оказании помощи национальному капиталу, и твердо надеюсь на нашу совместную работу по указанному пути.

Далее банкам предлагалось развить свою деятельность и обратить особое внимание на создание тяжёлой промышленности. И Буяновский и Щепин не возражали, а лишь одобряли планы министров, обещая всяческое содействие банков. Совещание продолжалось довольно долго, но, по моему мнению, самые кардинальные вопросы задеты не были, поэтому, несмотря

на сговор, я позволил себе задать интересующий меня вопрос.

Никифоров предоставил мне слово.

— Вот вы, господин Никифоров, сказали, что приложите ту же энергию к воссозданию национального капитала, с коей ранее шли на его разрушение. Я нахожу, что разрушать капитал значительно легче, чем создавать. Поэтому предвижу, что вам придётся не только утроить, но и учетверить вашу энергию. Надеюсь, в вашем лице мы не только найдём помощь, но и получим от вас нечто большее, а именно гарантию в том, что наша совместная работа не будет разрушена. Иначе говоря, я прошу указать точный срок, во время которого мы можем спокойно работать. Необходимо заранее определить размер налогов на прибыль предприятий, ибо только при этих условиях возможна продуктивная работа в желаемом направлении. Я закончил, господа.

Моё выступление произвело эффект взорвавшейся бомбы. Очевидно, ни та, ни другая сторона не позаботилась эти вопросы обсудить.

Оба министра стали продолжительно шептаться и даже отошли от стола.

Щепин бросал на меня недружелюбные взгляды. Я молчал.

После довольно долгого перерыва последовал ответ:

— Мы можем дать вам полную гарантию на срок в пять лет.

— А размер обложения?

— Мы не можем допустить беспредельной наживы. Он не должен превышать десяти процентов на вложенный капитал.

— Так. Если я составлю компанию, чтобы открыть суконную фабрику, в которой здесь такая нужда, и на это, скажем, потребуется основной капитал в сто тысяч рублей, то за пять лет акционеры получат пятьдесят тысяч прибыли, а отдадут коммунистам все сто. Сами, господа, решайте, найдутся ли наивные люди для столь «выгодного» помещения капитала.

После длительного молчания Никифоров встал и начал прощаться, обратившись с просьбой к комитету высказать своё мнение о необходимости девальвации кредитного рубля.

На следующем заседании комитета никто не упрекнул меня в нарушении обещания молчать, понимая вескость высказанных мной соображений. Было совестно сознаться в собственной наивности.

Я пришёл к выводу, что даже в тех случаях, когда иностранному капиталу удастся получить концессии от коммунистов на более продолжительный срок, скажем на пятьдесят лет, с установленными заранее и приемлемыми налогами, то и тогда эти концессии будут даваться с явным

намерением нарушить договор ранее срока и отнять в пользу партии вложенный капитал.

Услышав значительно позднее о суде над англичанами, инженерами компании «Лена Голдфилд», я нисколько не удивился и никак не мог понять той наивности, какую проявили бритты, связывая себя концессией с советским правительством.

На следующем заседании Буяновский предложил приступить к обсуждению предстоящей девальвации и обратился ко всем членам с просьбой в трёхдневный срок письменно изложить свои соображения.

ГЕНЕРАЛ БОЛДЫРЕВ

С большим трудом и после долгих розысков Толюша наконец приобрёл почти новенькие адъютантские аксельбанты и предстал перед нами во всём своём величии и красоте.

Красивый юноша сиял счастьем. Жаль, что он был мал ростом. Всей своей фигурой Толюша напоминал покойного деда по матери, Сергея Васильевича Алфимова. Даже склонность к облысению проглядывала на его темени. Вместе с фигурой он унаследовал от деда большие способности и любовь к технике.

Не помешай революция, смело можно было бы отдать его в какое-нибудь техническое училище, и я был более чем уверен, что из него вышел бы выдающийся инженер.

Толюша заезжал к нам на автомобиле почти каждый день, хвалил генерала и, видимо, был доволен своей судьбой.

На второе или третье воскресенье после его назначения он выпросил у генерала «кадиллак» и пригласил нас прокатиться за город. Эта поездка, как и последующие, была большим удовольствием для всей нашей семьи.

Окрестности Владивостока удивительно живописны, а хорошее шоссе делало поездки особенно приятными. Куда мы только не ездили!

Приблизительно через месяц пребывания сына в адъютантах Болдырев выразил желание познакомиться с нашей семьей и нанёс нам в одно из воскресений визит.

Молодой генерал, приблизительно сорока пяти лет, был мужчиной среднего роста, довольно плотного сложения. Носил небольшую бородку и усы.

Генерал любил при удобном случае щегольнуть своим пролетарским происхождением. В то время это было не только в моде, но требовалось и политическим положением. Прекрасным подспорьем в карьере для политических деятелей того времени являлась тюрьма. При этом плохо разбирались, сидел ли человек в тюрьме по политическому делу или по уголовному.

Генерал в тюрьме не сидел, а его простоватое лицо, всё изрытое оспой, подтверждало, что он сын сызранского кузнеца. Но серые глаза отражали высокий интеллект.

Василий Георгиевич в первый же визит поделился радостью, что его выбор остановился на моём сыне.

— Говоря откровенно, из многочисленных адъютантов, что я имел, ваш Толя лучше всех. Хотя и он не без недостатков, к коим относится и его любовь подольше поспать по утрам. Эта слабость приводит к тому, что не адъютант будит и дожидается меня, а я

бужу и ожидаю пробуждения своего адъютанта. Ну да это грех небольшой. Я упоминаю о нём, скорее, как о курьёзе.

Любовное отношение к сыну проявилось и в том, что в нескольких местах генерал Болдырев упоминает о нём и о нас в своём капитальном труде «Директория, Колчак и интервенты», изданном уже в советской России.

Впоследствии я близко сошёлся с Василием Георгиевичем и совершенно не согласен с теми, кто позволял себе называть генерала коммунистом. Он не был коммунистом, хотя по политическим соображениям примыкал к эсерам. Я считаю его кадетом левого толка, не монархистом, а республиканцем, и думаю, что если бы он жил в Соединенных Штатах, то, скорее всего, записался бы в Демократическую партию, что ныне находится у власти.

Его политическая окраска ярко сказалась на одном заседании в Народном Собрании, на котором я лично присутствовал.

Это было незадолго до падения Земского правительства. Армия генерала Каппеля, проделав свой беспримерный поход, вынуждена была покинуть Читу и, теснимая красными войсками, не без помощи японского командования вторглась в полосу отчуждения — в Китай.

Очутившись на чужбине без средств, обезоруженная китайцами, армия машинально двигалась вперёд вдоль полотна железной дороги и, вполне естественно, рвалась на русскую территорию в Приморье.

Этому вторжению не сочувствовали ни японцы, ни коммунисты.

Генерал послал на станцию Пограничная телеграмму о беспрепятственном пропуске в Приморье каппелевских частей.

Коммунисты, засилье коих и в правительстве, и в Народном Собрании было слишком очевидно, внесли через Цейтлина запрос и выразили недоверие генералу.

Как сейчас помню мощный голос Болдырева. Он не говорил, а как бы командовал с трибуны, и с такой силой, что Цейтлин не выдержал и вскочил на ноги.

— Я не коммунист, а прежде всего солдат, — кричал Болдырев. — Но если бы и был коммунистом, то как солдат отдал бы точно такой же приказ, спасая остатки доблестной русской армии. А вам, товарищ Цейтлин, следовало бы помнить, что именно я спас вас от неминуемого ареста японцами в день их восстания. Не вступись я тогда за вас, весьма возможно, что вас бы расстреляли. Поэтому не мешало бы иногда проявлять и чувство милосердия в отношении русских воинов, с невероятной трудностью проделавших переход через всю Сибирь и ныне

теснимых и китайцами, и интервентами.

Благодаря этому выступлению генерала Болдырева каппелевская армия нашла приют в Приморье.

С тех пор я искренне полюбил генерала, и мы стали с ним большими друзьями. Много вечеров и обедов провёл он под нашей кровлей, а впоследствии, когда ему грозила опасность от белого офицерства, не понявшего заслуг Болдырева перед Белой армией, он несколько раз у нас ночевал.

Не нравился мне генерал только в одном отношении: был слишком большим бабником. Пора было угомониться, особенно по приезде к нему из Константинополя супруги, двух взрослых пасынков и двух малолетних детей.

К сожалению, он был влюблён тогда в одну даму, и этот роман повлиял на его решение не эвауироваться, а остаться во Владивостоке, что привело к долгому сидению в советских тюрьмах и к расстрелу, последовавшему в 1933 году в Новониколаевске. За что расстреляли его коммунисты, мне узнать не удалось. Неожиданный расстрел, вероятнее всего, был связан с крестьянским восстанием в Сибири, о чём писали в эмигрантских газетах.

СВАДЬБА НАТАШИ

Приблизительно в конце апреля в нашей семье произошло крупное событие. Однажды вечером Наташа, вернувшись домой с прогулки, заявила, что Николаевский сделал ей предложение и завтра будет официально просить нашего согласия. Для меня это было полной неожиданностью.

— Послушай, — сильно волнуясь, говорил я Наташе, — неужели мы заслужили так мало доверия, что ты не могла посоветоваться по столь важному вопросу несколько ранее? Что я могу сказать теперь? Ясно, что я вынужден дать согласие. Наконец, как быть с Шевари? Ты так обнадёживала его всё время, что мне совестно за тебя перед человеком.

— С Шевари переговорит Лев Львович. Я его не люблю и замуж за него не выйду.

На другой день после несколько натянутого объяснения с женихом предложение было принято, и Наташа вскоре была официально объявлена невестой.

Помолвка произошла за ужином.

К вечеру того дня мы пригласили немногочисленных знакомых: Рудневых, Циммерманов, Арцыбашевых. Подали ужин, во время которого я предложил выпить по бокалу вина за здоровье жениха и невесты.

Начались обычные в подобных случаях тосты и пожелания. Вечер прошёл весело и оживлённо.

Однако то обстоятельство, что Лев Львович со своей особой манерой шутить, при которой было трудно разобраться, шутит ли он или говорит серьёзно, неоднократно хвалил большевиков, заставляло Рудневых быть с ним осторожными. И на вечере произошла характерная для того времени история.

Мой сослуживец по банку Александр Фёдорович Циммерман произнёс милый тост, в котором со свойственным ему ораторским талантом остроумно уронил несколько ядовитых фраз в адрес большевиков. Настало неловкое молчание, после которого Елизавета Александровна Руднева, уведя в другую комнату Циммермана, сказала:

— Будьте осторожней в этом доме, ведь Николаевский и его товарищи большевики.

Со свадьбой наши наречённые торопились, почему и решено было устроить её 23 мая.

Несмотря на скудность средств, хлопот было много. Целыми днями Наташа с матерью бегали по модисткам и портнихам. Наконец настал и день свадьбы. Мы украсили, насколько могли,

нашу небольшую квартирку.

Особенно, помню, много возни было с установкой столов. Гостей пригласили сорок человек, а места не хватало. Но голь на выдумки хитра. Мы поставили стол поближе к стене, у которой вместо стульев стояли сундуки, накрытые разными гардинами, и затем к нему с обеих сторон придвинули узкие столики, взятые из кофейной. К нашей радости, все приглашённые разместились в одной комнате. Сервировка была привезена ещё из Иркутска. Стены комнаты очень остроумно раскрасила Е. А. Руднева, прибив на небольшом расстоянии друг от друга плоские жестянки из-под китайской водки. В них налили воду и поставили цветы.

Вся комната превратилась в беседку из цветов. Преобладали белая сирень и черемуха.

Ни обеда, ни завтрака мы сделать не могли, сервировали чай с тартинками и заготовили в большом количестве крюшон, который так вкусно умел готовить Толюша.

На свадьбу шаферами были приглашены Русьян и Щербаков — к жениху, а Толя и Шаравьев — к невесте. Все четверо носили аксельбанты, что делало обряд венчания парадным. К тому же генерал Болдырев и начальник его штаба Антонович любезно уступили свои автомобили, что было совсем шиком.

Венчание совершалось утром в университетской церкви, куда против обычая проехал и я с женой. Хор певчих был великолепен и тронул меня до глубины души. Дома встретили молодых, как водится, благословением образом и хлебом-солью, а затем принялись за классически холодный крюшон.

Молодёжь сильно подвыпила, говорилось много тостов, хороших слов и пожеланий.

Но я был настроен далеко не весело. Грустно было расстаться с дочуркой, да ещё при таких исключительно скверных обстоятельствах — неустойчивости политического положения, материальной нестабильности и полной необеспеченности завтрашнего дня. Тяжёлое настроение внезапно вылилось в моей небольшой речи, которую совершенно неожиданно для себя я закончил почти слезами, чувствуя от этого себя виноватым перед дочуркой.

Часов в пять вечера молодые в сопровождении шаферов выехали на двух автомобилях на дачу Липарских, где нам удалось нанять для молодых хорошенькую комнату, общими силами уютно меблированную.

Гости, не исключая генералов Болдырева и Антоновича, засиделись далеко за полночь.

На следующий день особенно остро почувствовалось наше одиночество. Настало время, семья созрела, и птенцы вылетели

на волю, оставив в гнезде лишь нас, стариков.

День был хороший, и я отправился на сопку Орлиное Гнездо, что высилась против наших окон.

Улегшись на землю, смотрел я в бесконечную глубину полного величавого спокойствия неба и горячо молился Всевышнему о том, чтобы выйти из затруднительного положения и найти работу, дабы смочь содержать семью.

Какой величавый вид открывался с этой горы и на прекрасный город, и на причудливые берега многочисленных бухт и заливов, и на бесконечное, местами точно завесой прикрываемое спускавшимися туманами, сверкающее на солнце зеленовато-голубыми волнами море.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Во время семейных хлопот и забот продолжались заседания Банковского комитета.

В назначенный трёхдневный срок я исполнил задание и представил в комитет проект девальвации.

Оставленные при бегстве из Владивостока бумаги лишают возможности подробно остановиться на этом интересном вопросе. У меня нет не только копии проекта, но не сохранился и опубликованный закон о введении новой денежной единицы, приравненной в своей стоимости к нашему гривеннику.

Необходимость девальвации с ясностью диктовалась тем, что Приморье, не имея собственных денег, было наводнено кредитными рублями уже не существующего Омского правительства. Эти деньги прибывали с потоками беженцев и привозились главным образом чешскими эшелонами, которые, как говорили, печатали их в своих типографиях. Немудрено, что их курс упал до двух тысяч — двух тысяч трёхсот рублей за иену. В сущности, и эта цена была для них высока. Правительства, выпустившего их, не существовало, а коммунисты, захватившие территорию, их аннулировали.

Становилось непонятным, как можно за эти деньги отдавать товар. В своём проекте я рекомендовал не столько девальвацию, сколько деноминацию, исходя из курса иены, и предупреждал об опасности, таившейся в денежной реформе. Отсутствие новых денежных знаков мелкого достоинства, несомненно, поведёт к вздорожанию жизни и внедрит мелкие разменные знаки Японско-Корейского банка, которые водились у японцев в изобилии. И эти мелкие деньги проложат путь иене и вытеснят русский приморский рубль.

Принеся проект в условленный срок в Банковский комитет, я был несколько изумлён отказом коллег заслушать его. Но вскоре я понял их линию поведения: комитет опасался за последствия девальвации, одобренной им как учреждением компетентным. На самом деле осведомлённость моих коллег по вопросу была чрезвычайно слаба, что я имел возможность наблюдать ещё на самарском съезде управляющих банками, где из ста человек только трое имели кое-какое представление о природе кредитных рублей.

Никто и здесь не смог подготовить проект. Мне заявили, что они отказываются от ознакомления с ним и я свободен в своих действиях и могу подать его от себя в Кредитную канцелярию. Срок подачи, назначенный управляющим финансовым

ведомством, ещё не прошёл.

Прямо с заседания мы прошли на митинг по вопросу о девальвации в помещение Земской управы, где я впервые увидел дюжую фигуру Манцветова, директора Кредитной канцелярии, а впоследствии председателя местного парламента, и А. А. Меншикова, занимавшего должность члена управы и члена Земского областного правительства.

Митинг был чрезвычайно многолюдный и настолько же малоинтересный. Я не досидел до конца, а отправился в Кредитную канцелярию и сдал свой проект под расписку «товарищу» Лукасюку. Подал я его в начале мая. Время шло, и наконец в конце июня я был приглашён министром финансов на заседание по рассмотрению проектов девальвации.

На заседание были приглашены и мои коллеги по Банковскому комитету. Тут же находились и чиновники Министерства финансов, в числе коих были Никифоров, Манцветов и Андреев.

Нас заставили долго ждать, а когда началось заседание, председательствующий заявил, что проект девальвации выработан в окончательной форме и никакого обсуждения поданных проектов не будет, равно как и чтения принятого проекта до его опубликования.

«Для чего же было огород городить?» — подумал я и, недовольный таким отношением к делу, покинул заседание. Посмотрим, как ленинская кухарка справится с задачей, непосильной и нашим прежним губернаторам.

Пятого июля закон о девальвации был опубликован. Около огромных афиш стояли толпы народа, и никто ничего не понимал.

Я, прочитав несколько раз этот шедевр кухаркиной изобретательности, направился к Бейлину, занимавшему должность товарища директора Кредитной канцелярии, для разъяснения некоторых непонятных пунктов закона.

С Бейлиным мы были знакомы ещё по Министерству финансов Омского правительства, поэтому принимал он меня охотно и вне очереди.

— Ну, что скажете, Владимир Петрович, про нашу девальвацию? Надеюсь, вы довольны?!

— Я как раз пришёл за разъяснениями. Хочу написать в газету критическую статью, но, признаться, не всё понимаю.

— Вот тебе на, вы — да не понимаете? Что же вам непонятно?

— Вы выпустили сто пятьдесят миллионов кредитных билетов двадцатипятии сторублёвого достоинства и производите обмен сибирских денег по двести рублей за один новый рубль,

тогда как курс иены сейчас колеблется от двух тысяч двухсот до двух тысяч трёхсот рублей.

— Да, совершенно верно. Мы оцениваем наши кредитные рубли по десять золотых копеек. Сами посудите: не можем же мы платить в десять раз больше, чем платят за сибирки японцы?

— Я понимаю, но вот что меня смущает. На новых купюрах уже напечатано прежнее соотношение рубля к весовому золоту. Там чёрным по белому написано, что один рубль равен 17,424 доли чистого золота. Как же вы просмотрели это важное обстоятельство? Нельзя же за гривенник выдавать золота на один рубль.

— Как так, как же это мы проглядели?

— Для меня это тоже непонятно. Как можно было такую вещь проглядеть? Но помимо этого вы пишете, что на обеспечение этого выпуска в сто пятьдесят миллионов кредитных гривенников у вас имеется пятьдесят миллионов рублей золота в русской монете.

— Ну да, одна треть стоимости всего выпуска.

— Однако до девальвации по балансам Государственного банка имелось золота на восемьдесят миллионов полноценных рублей. Куда девалось это золото? Надо полагать, что ныне, после девальвации, на обеспечение кредитных гривенников на одну треть золотом вам понадобится лишь пятьдесят миллионов золотых гривенников, не так ли? А вы торжественно указываете, что у вас имеется фонд в пятьдесят миллионов золотых рублей, то есть в десять раз больше, чем требуется. Да, такой роскоши не смог бы себе позволить ни один банк на всём свете.

Бейлин схватился за голову и застыл в неподвижной позе.

— Боже мой, что мы наделали! — воскликнул он. — Что же теперь делать?

— Уж этого я не знаю, — ответил я, прощаясь.

Не далее как через час Бейлин прислал ко мне одного из чиновников и от имени директора Кредитной канцелярии Манцветова просил критическую статью не писать и передал обещание Манцветова предоставить мне место в Кредитной канцелярии. Я согласился.

Однако обещание осталось обещанием, и я места не получил. Министерство выпустило дополнительное разъяснение закона о девальвации, приравняв рубль к гривеннику.

Эта девальвация, с таким умением проведённая «ленинской кухаркой», привела к тяжёлым последствиям. Население осталось без мелких денег, что отозвалось и на поднятии цен на товары, и, помимо этого, способствовало быстрому переходу на иены. Единственной мелкой разменной единицей остались бумажные

сены Чосен-банка.

Японцы, ознакомившись с актом о девальвации, объявили бойкот новым деньгам и их не принимали. По этому поводу запомнился такой эпизод. Я отправился стричься в японскую парикмахерскую. В то время, когда меня уже обкорнали машинкой с одной стороны, закончил стричься сосед по креслу, русский. Он протянул парикмахеру кредитную бумажку в двадцать пять рублей, прося сдачи. Японец заявил, что сдача ещё печатается в Государственном банке, а менять русские деньги на иены он не согласен. Сосед уплатил сенами.

У меня были в кармане сены, но из солидарности с русским соседом я заявил, что имею только русские деньги. Японец приостановил стрижку, и с полуподстриженной головой я был вынужден отправиться к русскому парикмахеру. Но здесь тоже не могли обменять русские деньги.

Однако недели через две японцам пришлось снять бойкот. Усиленно вводя иену, они встретились с полным безденежьем русских покупателей.

Новые русские рубли стали принимать, благо к тому времени напечатали и несколько мелких купюр. Да и курс приёма денег с каждым днём быстро снижался, и месяца через полтора стоимость рубля упала с гривенника до семи-восьми копеек.

Такое быстрое падение курса приморских денег с несомненностью указывало на полный провал денежной реформы. В падении курса главную роль сыграло лживое заявление о наличии золотого разменного фонда, хотя такового в Государственном банке не оказалось и на пять миллионов. По поводу исчезновения золота говорили, что оно из опасения ограбления банка перевезено японцами в Благовещенск. То, что золото перевезли в Благовещенск, я знал. Однако сказать по этому поводу что-либо определённое трудно.

Управляющим Государственным банком был назначен молодой коммунист Иванов. Вряд ли он мог в прежнее время справиться с конторскими обязанностями. Его присутствием, вероятно, и объясняются манипуляции с балансами банка, да и исчезновение золота из сейфов произошло не без его содействия.

Провал денежной реформы вызвал, по свидетельству генерала Болдырева, в Народном Собрании скандал и падение министерства, в состав которого были введены затем несколько министров из буржуазной среды.

На самом же деле не провал кредитной денежной реформы имел решающее значение для судьбы Приморья, а сам факт передачи восьмидесяти миллионов рублей русского золота в руки коммунистической партии, сильно усилившей свои финансовые

ресурсы.

Опасность захвата золотой монеты японским командованием была реальна. Но всякое другое правительство, не танцевавшее под дудку коммунистического совета управляющих и имеющее понятие о курсовых операциях, сумело бы продать золото находившемуся во Владивостоке отделению английского Гонконгско-Шанхайского банка. Получив английскую валюту, стоившую в то время четыре с половиной — пять иен за фунт стерлингов, в течение двух лет можно было бы нажить около семидесяти миллионов иен, ибо за два года курс фунта поднялся до девяти иен.

Я БИРЖЕВОЙ ГОФМАКЛЕР

С установлением коалиционного министерства открытие фондовой биржи для удержания курса буферных рублей перешло из области пожеланий в реальную необходимость.

Опять начались совместные заседания Банковского и Биржевого комитетов. В них принимал участие уже не Буяновский, а вернувшийся во Владивосток Исакович, занявший пост государственного контролёра. Председательствовал Синькевич; сменял его Овсянкин, председатель Биржевого комитета.

И тут, как и прежде, сведущих лиц не оказалось. Никто из присутствующих не только никогда не бывал на фондовых биржах Москвы и Петербурга, но даже не делал заказов через банки на дивидендные бумаги.

Это обстоятельство сильно подбодрило меня. На Московской бирже я бывал, кое-кто из моих клиентов вёл биржевую игру, и я интересовался биржевыми вопросами. Теоретически я был знаком с разными видами сделок — и на повышение, и на понижение как срочных, так и бессрочных акций.

С первого же заседания мои выступления привлекали к себе внимание присутствующих, и в конце концов ко мне обратились с коллективной просьбой сделать в возможно короткий срок доклад.

Чувствуя, что на этот раз я найду наконец и платную работу, я с удовольствием принялся за дело. Затруднения встретились при поиске материалов. Их во Владивостоке достать не удалось и пришлось ограничиться имеющимся у меня томом Банковской энциклопедии, начавшей выход в свет перед революцией.

Я довольно быстро и удачно справился с этой нелегкой задачей и через неделю к назначенному сроку представил доклад.

В нём я прежде всего подразделил биржи на вполне самостоятельные от влияния правительства (Нью-йоркская, Парижская, Лондонская) и на биржи, до некоторой степени зависящие, к каковым относились Петербургская и Берлинская. В состав комитетов входили чиновники Министерства финансов. Я горячо рекомендовал во Владивостоке, где даже в коалиционном министерстве большинство министров — коммунисты, оградить биржу от их вмешательства. Биржу необходимо было сделать совершенно самостоятельной, влияя на курсы лишь путём продажи валют. Хозяйничанье коммунистов в Государственном банке уже принесло свои плоды. К тому времени обнаружилось, помимо отсылки золота в Благовещенск, на территорию, нам

неподведомственную, исчезновение пятидесяти миллионов рублей, напечатанных ещё до девальвации по образцу сибирских рублей.

Но против этого выступил управляющий финансовым ведомством Циммерман, настояв на участии правительства и на введении в состав Биржевого комитета двух членов от финансового ведомства. Мало того, по настоянию интервентов разрешался приём в число членов биржи и Комитета иностранцев, что уставом Петербургской биржи было запрещено.

Мои протесты, несмотря на логичность доводов, не возымели действия.

— На самом деле, — говорил я, — какое задание намечает себе фондовая биржа? Почти единственной её целью является поддержание курса рубля. Это противоречит стремлению японцев заменить рубль иеной. Естественно, при неравных финансовых возможностях успех в достижении цели будет на японской стороне, и все наши старания, направленные на поднятие курса, пойдут насмарку.

После докладов мне предложили занять место председателя Биржевого комитета, но я уклонился от лестного для беженца предложения и пожелал занять место гофмаклера, ибо нуждался в заработке. При этом непременным условием я поставил приглашение и увольнение младших маклеров. На это согласились и выбрали Биржевой комитет. Председателем стал Абрам Львович Рабинович, членами — Гольдштейн от Центросоюза, Колесников от банков, Бондарев и Синькевич от купечества и два чиновника, Бейлин и Лукасюк, по назначению министра финансов.

Пятого августа состоялось торжественное открытие биржи с молебствием, совершённым местным архиереем, после чего был сервирован чай. Я произнёс длинную и обстоятельную речь, в которой, познакомив присутствующих с историей денежного дела в России, перешёл к описанию значения биржи и возможного её влияния на курс рубля.

Мои тезисы сводились к следующему.

Ни одна страна не может рассчитывать на твёрдость курса кредитных билетов, неразмениваемых на драгоценный металл, при условии, если бюджет не сбалансирован, как должен быть сбалансирован расчётный по вывозу и ввозу баланс.

Это аксиома. Можно ли думать, чтобы бюджет и расчётный баланс нашего Приморья подчинились этим требованиям за непродолжительное время? Конечно, нет. Податной аппарат ещё не налажен, и единственной крупной статьёй дохода является ввозная пошлина.

Стало быть, достигнуть твёрдой цены кредиток возможно только при установлении размена их на золото. Если мы и установим размен, то банку предъявят все выпускаемые бумажные деньги. Стоит ли в таком случае их печатать? Так что же делать? Надо открыть биржу, где небольшой группе членов предоставилась бы возможность обменивать кредитки на иены, золото, доллары и на мелкое серебро. Небольшая группа людей займётся за невысокий процент обменом денег рядовых граждан. Предположим, Министерство на скупку кредитных денег станет давать в день по пять тысяч иен, что и будет частично заменять размен. Конечно, падение буферок будет продолжаться. Скажем, Министерство истратит на операцию полтора миллиона иен в год, что составит десять процентов на кредит от ста пятидесяти золотых гривенников. Это большой процент, но кто даст при переживаемых условиях заём за меньший? Наконец, поддерживая курс и покупая через биржу на твёрдые валюты наши кредитные рубли. Министерство приобретает почти равное богатство. Поэтому ошибочно говорить, что операция обойдётся в десять процентов, как предположил я. На самом деле затрата выразится, вероятно, в сумме не более двух-трёх процентов.

Ну, а если биржи не будет, что произойдёт? Кредитные рубли в месяц-два совершенно обесценятся, и правительству придётся вести своё хозяйство за наличный расчёт. Задача неисполнимая.

Моя речь была прослушана с интересом и одобрением. План ведения биржевых операций был одобрен Биржевым комитетом.

В помощники я пригласил своих безработных коллег, бывших управляющих банками А.Ф. Циммермана и Кульчинского. Последний вскоре от предложения отказался, решив уехать в Польшу.

Каждое утро я являлся к министру финансов и получал две-три тысячи иен. Ровно в полдень начинались биржевые операции. До этого с самого утра члены биржи приносили кредитные рубли и вручали их артельщику, отдавая приказы Циммерману на покупку иен по определённому курсу. Ровно в двенадцать начинались биржевые операции и продолжались всего полчаса. Это короткое время было единственным ограничительным средством для сбережения казённых иен.

Да простит меня Господь за моё откровенное признание в ловкости рук и в тех фокусах, к которым приходилось прибегать ради сохранения курса приморских кредитных рублей.

Работа была очень трудная и сводилась к следующему. Артельщики, быстро сосчитав кредитки, сообщали их общую сумму. Количество полученных иен было известно только мне. Я должен был быстро сообразить, насколько будут удовлетворены

требования. Если иен было достаточно — легко было под конец поднять курс, но если их было мало — курс неизбежно падал. Начинал я обычно со вчерашнего курса, предлагая пакеты по сто и более иен. Я называл цену и, не имея покупателей, понижал её на копейку, потом на две и т. д. Этот аукционный способ требовал поддужного, так как никто в торговлю не вступал, ожидая ещё большего понижения. Когда курс подходил к назначенному министром минимуму, я отпивал глоток чая из стоявшего на столе стакана. Это был условный знак моему помощнику Циммерману, чтобы тот купил пакет иен по этому курсу. Он совершал покупку, конечно, на имя той же Кредитной канцелярии, которой принадлежали и иены, но об этом никто не знал. С этого момента члены биржи, боясь, что иен не хватит, вступали в торг, и курс поднимался. Так шло с небольшими колебаниями до тех пор, пока в кассе не истощалась вся наличность принесённых буферок. С этого момента, если оставались иены, опять по условному знаку выступал мой помощник, скупая их для Кредитной же канцелярии, чем курс несколько поднимался. После окончания работы биржи следовал подсчёт всех сделок и выводился средний курс, который и вывешивался у ворот дома «Кунста и Алберста» на Светланке, в котором было снято помещение под биржу.

Подходило двадцатое число — день выплаты жалованья правительственным чиновникам. Обычно накануне министр давал крупные суммы на поднятие курса рубля. Один раз он выдал сразу сорок тысяч иен. Курс взлетел вверх, по нему сделали расчёт жалованья. А на другой день мне отпустили только тысячу иен, и курс, конечно, понизился. Чиновники оказались в убытке, и началось совершенно справедливое недовольство биржей. Тотчас я подал докладную записку, настаивая на необходимости изменить систему выдачи жалованья, перейдя с месячного расчёта на еженедельный, что делало бы курс более равномерным и устойчивым. Но на это предложение последовал отказ. Выдачу иен стали сокращать, и бывали дни, когда мне давали вместо ожидаемых по плану пяти тысяч только пятьсот. Конечно, это привело к падению курса буферных кредиток, и месяца через два они совершенно исчезли с рынка. Взамен стали выдавать мелкое серебро, которое к этому времени японцы вернули нашему правительству в количестве двенадцати миллионов рублей. На поддержку курса серебра правительство ничего не отпускало. Курс вывести по паритету не удалось, он даже упал ниже стоимости содержащегося в серебряном рубле металла и оценивался в пределах тридцати семи — сорока сен за рубль.

В декабре биржу закрыли, и я вновь остался без заработка.

За все пять месяцев действия биржи я заработал четыреста с небольшим иен, на что существовать было невозможно.

К тому же на бирже у меня украли прекрасную хорьковую шубу, взамен которой Биржевой комитет отдал мне пишущую машинку.

Эта пятимесячная работа маклером дала мне много практических знаний в области эшанжа, и я решил открыть свою меняльную контору. Риск сводился главным образом к плате за помещение. Биржа платила за аренду триста пятьдесят иен в месяц. Из этой суммы фирма «Кунст и Алберст» не скинула мне ни одной сены. Я оставил помещение за собой и стал хлопотать в Кредитной канцелярии о разрешении открыть меняльную контору. Но ответ затягивался, а помещение обходилось каждый день в двенадцать иен. Придя в канцелярию, я стал ругаться. Во Владивостоке действует более пятидесяти меняльных японских лавок и более ста китайских- и ни одной русской. Что же прикажете делать, принять китайское подданство, что ли? Это подействовало, и к 1 января 1921 года я открыл собственное дело.

* * *

Осенью, в конце сентября 1920 года, моему зятю и сыну удалось выхлопотать казённую квартиру.

Квартира была не из важных, помещалась в одноэтажном каменном доме, была сыровата и грязна, но вмещала в себя пять небольших комнат, что было достаточно для нашей семьи в шесть человек.

Но в декабре и зять, и сын ушли в отставку, и мы все трое остались без заработка, да и квартиру должны были очистить в месячный срок. Только одна Наташа бегала по своим урокам. Наступило тяжёлое время.

За период пребывания во Владивостоке припоминаю курьёзный случай. У нас был повар-китаец. Старик ещё носил длинную косу, что указывало на консервативность его взглядов и давало некоторую гарантию его честности. Под влиянием китайской революции нравы у китайцев изменились так же сильно, как и у нас. И прекрасная в прежние времена китайская прислуга стала хулиганить. Однажды под утро я был разбужен поваром.

— Вставайте, капитана, к нам забрался хунхуза.

Я, быстро одевшись, прошёл в кухню, захватив с собой

браунинг.

Повар указал мне на сломанный замок у входных дверей. Выяснилось, что хунхуза ничего не успел украсть, ибо был пойман поваром.

— Где же он?

— Хунхуза на дворе, — ответил повар.

Я, опасаясь нападения, с браунингом в руке вышел на двор. Посреди небольшого двора стоял высокий фонарный столб, у которого стоял хунхуза. Ничего страшного в нём не оказалось. Когда я к нему подошёл, то заметил, что руки его связаны и привязаны к столбу, но связаны мочальной верёвкой. Если бы вор сделал малейшее движение, мочалка порвалась бы.

— Послушай, Василий, зачем ты связал его этой мочалкой? Ведь разорвать её ровно ничего не стоит.

— А потому, капитана, что рвать нельзя. Хунхуза не может разорвать, раз он попался и ему связали руки.

Что за странный народ, думал я. Ведь это всё равно что если бы я, поймав вора, приказал ему дожидаться на улице рассвета, с тем чтобы, когда настанет день, отвести в участок.

— Ну, Василий, что же нам с ним делать?

— Что скажет капитана.

— Ну, веди его в участок.

И наш Василий взял кончик мочальной верёвочки и повёл покорного хунхузу в участок.

Вся эта история произвела на меня впечатление. Я даже подумал, что хунхуза, вероятно, голодая, решил сам попасть в участок, где и тепло, и сытно кормят. А без взлома и воровства туда не попадёшь.

С этой скромной квартиркой связано и воспоминание о приезде во Владивосток нашей хорошей знакомой по Симбирску — Екатерины Максимилиановны Перси-Френч. Нам удалось поместить её в комнату Толюши. Она приезжала с целью расспросить и разузнать что-либо об Петре Михайловиче Братке, своём гражданском супруге.

МЕНЯЛЬНАЯ КОНТОРА

Итак, жребий брошен. Разрешение на открытие меняльной конторы получено. Помещение, что занимала биржа в доме «Кунста и Алберста», снято за триста пятьдесят иен в месяц. Одна беда: мал капитал. К тому времени у меня оставалось около шести тысяч иен, у моей матери — около двух тысяч и у Льва Львовича от продажи привезённых франков образовалась сумма в восемьсот иен.

Я засел за приготовление бухгалтерских книг и ордеров с целью добиться наиболее упрощённой и удобной формы ведения дела. Помимо этого, надо было обучить служебный персонал, состоявший из членов моей семьи.

Каждому я установил жалованье в размере пятидесяти иен в месяц, а себе назначил сто иен. Вся прибыль от семейных капиталов делилась на две равные части. Половина распределялась пропорционально капиталу каждого, а другая половина делилась между работниками пропорционально получаемому жалованью. Таким образом, больше всех теряли я и моя мать, а молодёжь, капиталы коей были ничтожны, выигрывала.

Я строил надежды главным образом на скупке-продаже мелкого серебра. Этим серебром по несколько вздутому курсу казна расплачивалась со служащими. Рыночный курс у китайских и японских менял был меньше казённого сен на пять, т. е. тридцать семь сен вместо сорока двух за серебряный рубль. Продавался же рубль за сорок сен. Именно на эту операцию нужно было обратить особое внимание. В банках приём и выдача серебра производились счётом, что брало немало времени и занимало много счётчиков. Поэтому я решил принимать серебро не счётом, а весом. Монеты были совершенно новые, нестёртые, и обвес был невелик. Самое большее, как показала практика, я мог потерять два двугривенных на тысячу рублей серебра. Но помимо этих недостатков, серебро было неудобно своими размерами. Получит человек на четыреста иен пуд серебра, а иногда и несколько мешков весом в десять — пятнадцать пудов — и тащи это… Для того чтобы доставить такой груз, надо было или нанимать не одного, а двух-трёх извозчиков, или носить его на спине кули и брать с собой охрану. Поэтому от серебра все старались отделаться поскорее и стали прямо из банка носить его ко мне, теряя на этом от трёх до пяти процентов.

Сам зал я устроил так, как обычно устраивают в банках, — отделив публику от служащих перегородками с оконцами.

Приступили к делу мы с робостью и замиранием сердца.

К общей радости, в первый же день к нам понесли и серебро, и американские доллары, и русское золото.

Вся семья дружно работала с девяти утра до пяти вечера. Затем около часа уходило на подсчёт кассы, так что возвращались мы домой к половине шестого — семи часам. Тотчас после обеда я засаживался за составление ежедневного баланса, что отнимало время до часу ночи. Работа была тяжёлая, но чувствовалось, дело пойдёт и даст хорошую прибыль. Это подбадривало и меня, и всю мою милую команду. Но всех волновал вопрос, куда я дену серебро. Вся кладовая была засыпана серебром, едва успевали шить мешки. Однако в первый день никто серебра не купил, хотя бы на одну иену, и жена в тревоге говорила, что надо прекратить его покупку.

А иен уже на третий день не хватило. Пришлось обратиться к Японскому банку с просьбой открыть онкольный счёт под разные валюты. Но в приёме серебра отказали. Тогда я заложил на первое время русское золото и американские доллары, коих скопилось уже немало. Русско-Азиатский банк тоже отказал в приёме серебра в залог, не соглашаясь принимать его весом. Помог мне домохозяин Алберст, разрешивший кредит под серебро на полторы — две тысячи иен и принимая его мешками на веру, не беря с меня процентов. На третий день вечером я прошёл на квартиру к управляющему Сибирским банком Олесову. Он жил совместно с помощником Цершке и бывшим управляющим Азовским банком Щепиным. Все трое тогда начали экспортировать в Шанхай лес и деньжата имели. Я предложил им войти в компанию, но они не доверяли моему делу, и я еле уговорил их дать мне на три дня под американское золото восемьсот иен, за что по уговору выставил бутылку шампанского.

На другой день я нашёл компаньона в лице Н. И. Сахарова, внёсшего тысячу восемьсот иен и обещавшего недели через две добавить ещё три тысячи двести, за что пришлось взять его в число служащих с окладом в семьдесят пять иен. Он занял место артельщика. В это тяжёлое время выручил меня генерал Болдырев, внёсший семь тысяч иен серебром. Дело стало на ноги.

Наконец на пятый день возник сильный спрос на серебро. Одна только фирма «Каган и Кулагин» потребовала тридцать тысяч рублей серебром. Запасов не хватало, пришлось прикупить серебро у китайцев. Но мы справились и, очистив всю кладовую от серебра, заработали на этом заказе сто двадцать иен. Вся моя семья успокоилась и получила веру в дело.

Но теперь явилась другая забота: к нам начали нести американские доллары, золотые и серебряные. Последние

оценивались немного выше веса, и мы покупали их по одной иене пятьдесят сен. Это был прекрасный заработок, ибо продавали мы серебряные доллары на сорок пять сен дороже покупной цены.

С отходом парохода в Америку спрос на доллары был так велик, что я скупил их у Кредитной канцелярии, нажив на этом деле более пятисот иен.

Американские доллары особенно волновали Льва Львовича, убедившегося в целесообразности их покупки.

Когда-то давно, будучи в Котрексевиле, я купил альбомчик с открытками, изображавшими золотые и серебряные монеты всех стран. Вот он мне и пригодился. Ко мне приносили валюту всего мира.

Наконец наступило 1 февраля, и, просидев почти всю ночь, я вывел отчёт. Прибыль несколько превышала шесть процентов на вложенный капитал. Согласно условиям, это почти удваивало наше жалованье и увеличивало капитал на три процента. На жизнь вполне хватало, да ещё и оставалось, чтобы отложить на чёрный день. Какое было ликование!

Казённую квартиру нам удалось отвоевать до марта, а на Масленой неделе Толюша привёл к блинам командира своей тяжёлой батареи Немчинова. Молодой человек оказался в чине полковника, но в каком ужасном виде предстал он перед нами! Всё его платье требовало усиленного ремонта, сапоги — в дырах и заплатах; бельё, должно быть, не менялось много времени. Вряд ли был он и сыт, поскольку набросился на еду с огромным аппетитом.

— Папа, — обратился ко мне после блинов Толюша, — я прошу тебя принять полковника к себе на службу.

— Милый мой, да ведь мы обходимся своими силами, и брать служащих я не намерен.

— Ну, отпусти старика сторожа. К чему он тебе? А на его место возьми на то же жалованье Немчинова и младшего офицера Колесникова.

— Да ведь сторожу я плачу тридцать иен. Этого же будет мало.

— Ничего, они будут жить в конторе, а при квартире им на пропитание хватит.

— Ну, Толюша, пусть будет по-твоему. — И я передал Немчинову условия найма.

— Я могу взять вас двоих в качестве прислуги и охраны. Помещаться вы должны в конторе и там же ночевать. Один из вас должен быть дежурным и вовсе не отлучаться. За это я даю вам завтрак в двенадцать часов и по пятнадцать иен каждому.

Немчинов предложению очень обрадовался. Уехав в

Раздольное за Колесниковым, он вернулся через два дня в контору с просьбой разрешить ночевать в конторе и третьему офицеру батареи — Добровольскому.

— Пусть ночует, но на что вы будете жить?

— При вашем завтраке тридцати иен хватит на троих.

— Ну, Бог с вами, оставайтесь все трое и будете получать по пятнадцать иен каждый, но с тем, чтобы всегда в конторе безотлучно были двое из вас.

Охрана была необходима, время было тревожное, многих капиталистов уводили в сопки. Я опасался нападения на контору. К моему большому счастью, над конторой квартировал японский жандармский генерал. У него была надёжная охрана, и я рассчитывал на его помощь в случае нападения. Генерал почти каждый день, идя по лестнице к себе, заходил к нам и, остановившись в операционном зале, подолгу присматривался к нашей работе. Я познакомился с ним, ведя беседу через переводчика.

Это знакомство было для нас полезным, и я весьма охотно принял его приглашение прийти к нему со всей семьёй на чашку чая.

Приглашённых было немного: хозяин дома Алберст с супругой, моя семья и управляющий делами «Кунста и Алберста» Мари с супругой. Было и несколько офицеров, ему подчинённых, говорящих по-русски.

Угощение не ограничилось чаем, а был подан и ужин с винами и сакэ.

За ужином хозяин, выпив за здоровье гостей, сказал тост и намекнул, что верит в скорое образование белого буферного государства, в которое войдёт всё Забайкалье от Иркутска, и в то, что государство будет населено белыми русскими. Япония развития здесь коммунизма не допустит.

Пришлось ответить таким же приглашением, устроив ужин в конторе и пригласив генерала Болдырева.

Знакомство состоялось.

Генерал, когда политическое положение обострялось, приходил к нам и говорил:

— Сегодня вечером не выходите из конторы. Может быть худо.

Однажды мои служащие, которых жена всегда называла «мальчиками», прибежали в контору и сообщили, что они видели, как в одном ресторане местные коммунисты арестовали двух смельчаков офицеров, пришедших в ресторан в погонах. Ими оказались два отважных каппелевца, приехавших во Владивосток из Пограничной.

— Что делать? — вопрошали наши мальчики. — Как их спасти?

— Бегите наверх к генералу и доложите ему о происшествии.

Генерал принял их и, выслушав рассказ, отослал своего адъютанта, а пришедших усадил за стол и стал угощать чаем.

Молодые люди сидели как на иголках, ибо время шло, а генерал разговоры на эту тему прекратил.

Прошло около часа, когда возвратился адъютант и что-то доложил генералу. Генерал приказал передать моим служащим, что он рад удовлетворить просьбу. Оба арестованных офицера были обнаружены японцами на гауптвахте. Им по приказанию японцев вернули и шашки, и погоны, сказав, что они могут свободно ходить по Владивостоку в форме и никто их больше не тронет.

Такое любезное отношение было нам весьма приятно.

БОЛЕЗНЬ НАТАШИ

Дела нашей конторы шли блестяще. Тревоживший меня более года вопрос о том, чем я прокормлю семью, разрешился самым благоприятным образом. Но подкралась и большая беда — заболела Наташенька какой-то неизвестной докторам болезнью. У неё поднялась температура до тридцати восьми градусов и не спадала, несмотря на все принимаемые докторами меры.

Большинство врачей, смотревших её, — братья Моисеевы, и доктор Панов склонялись к мысли о начале туберкулёза легких.

Это сильно смутило только что установившийся душевный покой. Наташенька теряла в весе, плохо ела, несмотря на отборный и вкусный стол. Наконец доктора посоветовали переменить климат, рекомендуя Циндау. Однако жить ей за границей с мужем было не на что.

Поэтому мы решили устроить дочурку с мужем где-нибудь на даче близ Владивостока и начали подыскивать подходящее помещение. Благо наступало время, когда и нам нужно было покинуть казённую квартиру.

В этом сложном вопросе нам посчастливилось. По рекомендации генерала Антоновича, бывшего нашим соседом по квартире, мы нашли комнату со столом. Взяли не очень дорого — сто пятьдесят иен за двоих, и мы перевезли дочурку на дачу.

Дача была выстроена из превосходного леса, снабжена водопроводом и ванной. Хозяева оказались милыми и кормили прекрасно. Мы с женой приезжали по воскресным дням и насилу упросили брать с нас за стол.

Ввиду создавшегося положения решено было не искать квартиру в городе, а переехать в контору. Правда, это было не приспособленное для жилья помещение. Оно состояло из прихожей, большого зала, одной небольшой светлой комнаты и одной полутёмной, расположенной над воротами. Мы с женой заняли последнюю, в которой находился сейф с деньгами. Это было важно в целях охраны нашей кассы. Здесь спали я, жена и Толюша. Светлую комнату мы перегородили на две части, в первой из них устроили кухню, а во вторую поместили мою мать. Прихожую тоже перегородили и там устроили помещение для наших вещей и имущества «мальчиков», которые вечером переносили походные кровати в зал, где и спали, пользуясь большой кубатурой воздуха.

Зал был настолько велик, что за перегородкой, отгораживающей публику от служащих, образовалась большая комната с массой света, где свободно разместился привезённый

нами в теплушке гостиный гарнитур и пианино. Получилось нечто вроде гостиной. Было светло, тепло и уютно, и, если бы не тревога за Наташу, я бы считал себя вполне счастливым человеком.

Единственное, что было отвратительно и портило всем нам жизнь, — это невероятное количество клопов. Их были не тысячи, а миллионы. Они наполняли все щели полов, перегородок и кроватей. Никакие ромашки не помогали. Они кусали нас не только ночью, но и днём ожигали своим ядом. Но и против клопов нашлось хорошее средство: слесарная паяльная лампа. Каждое утро и каждый вечер мы по очереди направляли огонь лампы во все существующие щели и после долгой борьбы значительно понизили их количество. Совсем уничтожить клопов мы не могли: слишком быстро они размножались и приползали из соседних помещений. Клоп — бич Дальнего Востока, так же как в Америке — блоха.

По окончании занятий в 5 часов мы ставили посреди зала стол, за ним обедали и по вечерам пили чай. После обеда молодёжь удирала гулять по Светланке, оставляя одного дежурного. К «мальчикам» присоединился пробравшийся из Совдепии Боря Сопетов, студент Горного института, бывший товарищ Толи и Наташи.

С Наташиной болезнью пришлось Немчинова и Колесникова засадить за конторскую работу с окладом по тридцать пять иен в месяц, чем они были очень довольны. С переездом в контору, имея своего повара, мы приняли их столовниками, удерживая за обед по девять иен. Стол был превосходный.

Пользуясь отсутствием молодых людей, в полной тишине я усаживался за машинку и продолжал писать мемуары, а после вечернего чая появлялись шахматы. Я играл поочередно со всеми молодыми людьми и обычно каждому из них прописывал мат.

БИРИЧ

В начале мая мы перебрались на Седанку, где на даче Бирича заняли комнату, смежную с Николаевскими. Дачка была прелестная. Её строил для себя военный инженер Мак. И планировка комнат, и их отделка превосходны. Дача была выстроена у подножия горы и фасадом выходила на море, отстоящее не более как на треть версты. Все туманы, тянувшиеся по оврагу, обходили дачу. И она стояла среди зелени, всегда освещённая лучами солнца.

Перед самой дачей росла огромная старая липа, под сенью могучих ветвей которой находился почти весь палисадник. Под липой была устроена скамеечка, на которой я любил проводить часы заката.

Прогулки тоже были превосходны. Морской залив омывал берега Седанки, прорезанные рельсовыми путями. В этом заливе в огромном количестве водились прозрачные медузы и электрические скаты, что делало купание небезопасным. Скаты, ударяя хвостом, обдавали человека потоком электричества, и ударенный жестоко страдал несколько дней. Единственным лекарством были виски и водка, которыми приходилось напиваться допьяна.

Общественных купален не было. Приходилось сходить в воду по отлогому пляжу с массой ракушек и острых камней. Однажды я нырнул и острым камнем оцарапал себе до крови живот; ещё немного — и я устроил бы харакири.

Некоторые любители плавания в одиночку уплывали далеко от берега, и в их числе всегда была «морская русалка», красивая и крепкая сложением Шура Бирич, дочь наших хозяев. Это была яркая блондинка с красивыми карими глазами, пользовавшаяся успехом и всегда окруженная молодежью, которую она и услаждала по вечерам превосходной игрой на рояле. На даче ютились влюблённые в Шуру студент Строительного института Миклашевский и заурядный врач Долгов. Впоследствии и мой сын Толюша пленился седанской русалкой и отбил её от соперников. Его любовные успехи меня тревожили, особенно после того, когда пришлось ознакомиться с биографией Бирича и ближе узнать всю его семью.

Хозяйка была полная, ещё нестарая, лет сорока пяти — пятидесяти. Чрезвычайно властная по характеру и даже заносчивая, она, несомненно, держала супруга под каблуком.

Но интереснее всех был сам хозяин — Христиан Платонович. Был он лет шестидесяти, роста ниже среднего, худощавого

телосложения, носил небольшую круглую бороду и очки. Лицо Бирича всегда было освещено приветливой улыбкой. Его подход к людям дышал благожелательностью, добродушием и хлебосольством. Сидя на своём хозяйском месте, он постоянно наполнял рюмочки водкой, и трудно было отказать ему в удовольствии совместной выпивки.

Ко всему меня подкупало и его милое отношение к моей больной дочурке. Утром, работая на сепараторе, он всегда приносил ей стакан густых сливок и напоминал о необходимости лежать в садике на солнышке. Меня же Бирич всегда утешал, говоря, что никакой чахотки у неё нет и этим летом всё пройдёт. С наступлением весны и лета температура постепенно начала падать, и румянец стал просвечивать на щеках Наташи, а глазки становились веселее.

Но особенно интересны были рассказы Бирича о его прошедшей бурной жизни.

Правда, уверяя, что в качестве политического ссыльного он отбывал сахалинскую каторгу, делиться воспоминаниями об этом Бирич не любил. Я же всегда старался наводить разговор на данную тему.

Но он искусно обходил мои вопросы и переходил к рассказам о рыбной ловле на Камчатке, где совместно с очень богатым человеком, Дембри, проживающим в Японии, имел рыбный завод.

Я представлял себе рыбный завод в виде большого озера, в котором содержится и размножается рыба. Но мои предположения оказались неправильны.

По словам Бирича, кета в определённое время бросается в устья рек, где впереди сплошной массой идут самки, а за ними такой же стаей плывут самцы. Самки, часто израненные, добравшись с великими препятствиями до истоков реки, мечут икру в мелких местах, после чего и околевают. Идущие за ними самцы оплодотворяют икру молоками и затем тоже кончают свою недолгую жизнь.

Икру владельцы заводов собирают и переносят в небольшое мелкое озерцо, где под влиянием солнышка развивается малёк. Когда он окрепнет, отделяющую озерцо от реки сетку убирают, и малёк уходит большими стаями в реку. Мальки, не съеденные хищниками, попадают в море и там, развиваясь в большую рыбу, ровно через четыре года возвращаются в устье непременно той реки, из которой вышли, и, выметав икру, околевают. Поэтому ловля для соления и консервов происходит в устьях рек сетями, когда икряная рыба ещё полна жизни и жирна.

Рыба живьём направляется в помещение консервного завода. Там, почти без участия человеческих рук, она потрошится

особыми механическими ножами, чистится, режется на части, попадает в консервные банки, варится в них, обливается соусом и запаивается.

Обычно в северных реках, помимо человека, поджидает рыбу и зверь. Он рано утром выходит из лесу, располагается в воде около берега и лапами, а то и прямо зубами вылавливает рыбу, всегда лакомясь только её головой, а туловище выбрасывает.

Здесь непременно можно встретить и медведя, и волка, и лису — все хотят полакомиться рыбкой.

Запомнился мне и рассказ Бирича о встрече с акулой во время купания.

— Я любил, так же как и Шура, далеко плавать. Здесь это безопасно. Акула — редкая гостья, а вот на севере она заплывает и в заливы. Горе пловцу, повстречавшемуся с этой хищной рыбой.

Однажды я отплыл мили две от берега — пловец я был неутомимый. Вдруг вижу: в заливе появилась акула. Она плывёт обычно близко к поверхности, так что видны её плавники, и оставляя след в тихих водах залива в виде маленькой бороздки. Я замер, и сердце стало усиленно биться. «Пронеси, Господи!» молился я, плывя к берегу. Но акула меня заметила. Надо сказать, что эта рыбища никогда не бросается на жертву по прямой линии, а всегда описывает круг и подплывает по спирали. Затем, подплыв близко, перевёртывается, ибо её огромная пасть находится внизу у начала брюха, почему она и хватает свою жертву, находясь вверх животом. Спасение заключается в том, чтобы, угадав момент перевёртывания, нырнуть под неё. Первый нырок я сделал удачно. Акула промахнулась и прошла надо мной. Удалившись, она снова начала своё спиральное наступление. Я плыл к берегу, надрываясь от крика. Меня услышали и отплыли на помощь в лодках, но расстояние было велико.

Мне пришлось сделать много нырков, и в один из них рыба, проходя надо мной, сильно поцарапала мне спину. Но, слава Богу, она заметила приближающиеся лодки и удалилась в открытое море. Я был вытащен на берег почти без памяти, будучи обессиленным и обескровленным от полученных глубоких царапин.

После завтрака по воскресеньям мы садились на террасе играть в преферанс. Среди гостей чаще всего бывали супруги Любченко-Фоменко, тюремный инспектор Соколов и иногда жена Николая Меркулова, очень симпатичная и воспитанная дама польского происхождения.

Ей, видимо, понравилась моя жена, и она усиленно приглашала нас к себе. Но мы никуда не выходили, сильно уставая от работы, да и болезнь Наташи не давала жене покоя.

Биричи, видимо, были в хороших отношениях с Николаем Меркуловым, имевшим на Седанке спичечную фабрику. Помнится, мы с женой прошли однажды к нему на фабрику, но не застали хозяев дома.

Бирич говорил, что Меркуловы, стоя во главе национальной организации, готовятся к перевороту. Я как-то не обратил на это должного внимания, ибо в успех подобного предприятия верилось плохо.

По словам Христофора Платоновича, он, выйдя из числа компаньонов Дембы, получил пятьсот тысяч иен. Он хотел было купить имение на своей родине, в Черниговской губернии, но, приехав туда, затосковал по Дальнему Востоку и морю. Вернувшись назад, купил в городе несколько доходных домов и дачу. Капитал же, хранившийся в банке в русских процентных бумагах, превратился в прах.

— Я не считаю себя бедняком. Доходов с домов хватает на скромную жизнь, но всё же я вынужден сдавать и комнаты, не столько с целью материальной выгоды, сколько для большей безопасности, ибо не хочу попасть в сопки.

— Ой, смотрите, уйдут японцы, придут большевики и все ваши дома отберут. Продавайте-ка их, пока есть возможность.

— Пробовал, да трудно найти покупателя.

Кто-то из обласканных им гостей — Скурлатов или присяжный поверенный Миллер, арендовавшие у меня письменные столы для приёма клиентуры в моей же конторе, — узнав, что мы поселились у Биричей, задал мне вопрос:

— Как это у вас хватило смелости поселиться в такой семейке, как Биричи?

— Быль молодцу не укорь. Много нашей молодёжи побывало на каторге. Достаточно вспомнить Достоевского.

— Ну, батенька, Достоевский — политический, а этот — уголовный.

— Как — уголовный?

— Да так, он бывший фельдшер, отравивший за деньги богатого купца.

— Да что вы?

— Самое лучшее — почитайте Чехова и Дорошевича. Оба описывают его в своих записках о Сахалине.

Дорошевича я читал давно и, конечно, упоминания фамилии Бирича не помнил, а Чехов имелся под рукой, и я воочию убедился в правоте сделанного предостережения.

Конечно, после этого наше пребывание под кровлей дома убийцы было до известной степени омрачено.

И Христос прощал разбойников за их покаяние. Думаю, что

Бирич много раз покаялся в своих проступках, а то обстоятельство, что два крупных писателя посвятили Биричу свои страницы, с несомненностью указывает на незаурядность этого человека. Из десятка тысяч сосланных суметь привлечь к себе внимание Чехова и Дорошевича было не так-то легко.

До осени оставалось немного и бросать дачу, где хорошо жилось, а дочурка поправлялась, было трудно. И мы решили дожить здесь до сентября. Конечно, наше отношение к хозяевам стало несколько иным. Мы начали запираться на ночь, да и замечаемые и ранее мелкие пропажи разных вещей стали относить не к действиям прислуги, а скорее к работе хозяев.

А вещи пропадали. Так, Лев Львович по просьбе сына Бирича, Сени, очень милого юноши, одолжил ему однажды браунинг. Сеня его не вернул, а на вопрос зятя ответил, что браунинг у него украли.

Мы стали замечать, что в наших чемоданах роются. Стали запирать и их. Пропадали такие мелкие вещи, как шёлковые чулки Наташи, очутившиеся на ножках Шуры.

— Ну, — говорил я, — просто прачка перепутала.

Пропадали и новые игральные карты.

— Просто не было карт, вот они и взяли, да забыли об этом сказать.

Наконец, однажды, в воскресенье, перед завтраком, моя руки в уборной, я положил на подоконник браунинг, который носил с собой более пятнадцати лет. Это был подарок моей жены, который она привезла из Берлина.

Вспомнив о нём за завтраком, я пошёл в уборную, но браунинга там не оказалось. Слава Богу, удалось купить подержанный.

Мой зять рассказал мне историю, слышанную от зятя Бирича, офицера-финна, заведовавшего радиостанцией на Русском острове. Его двое сыновей воспитывались у Бирича на даче. Сам офицер был женат на старшей дочери Бирича и был с ней разведён, что не мешало ему по праздникам посещать своих мальчиков Ростю и Славика. Сойдясь с моим зятем, он поведал, что вся семья Бирича, как его сыновья, так и дочери, очевидно, унаследовали от родителей склонность к преступлениям, и главным образом к присвоению чужой собственности.

О Пелагее Петровне он сказал, что она не уголовная, но мать её, дворянского происхождения, была сослана на Сахалин, где и прошло детство её дочери, на которой и женился Христиан Платонович.

А старшая дочь Бирича, бывшая жена этого офицера, оказалась форменной воровкой. Финн жаловался:

— У меня стали пропадать не просто деньги, но деньги казённые. Однажды пропали из стола четыреста рублей, и я, заподозрив денщика, отдал его под суд. Денщика сослали, а прекратившиеся пропажи через некоторое время стали повторяться, что заставило меня выслеживать вора. И я поймал собственную жену, которую так любил.

Это открытие привело к полному разрыву с женой, с которой он и развёлся.

После этого она сошлась с американцем и уехала с ним в Шанхай.

Перед отъездом, прощаясь и обнимая растроганного отца, она вытащила у него из жилетного кармана ключ от сейфа, стоящего в его спальне, и очистила его, увезя и бриллианты, и деньги.

Рассказ на нас так подействовал, что мы решили покинуть дачу. В это время в семье Биричей произошли исключительные события, и мы наше решение отложили.

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Ещё до переворота братьев Меркуловых нам пришлось пережить несколько неприятных и тревожных минут.

Я проснулся ночью от ружейного выстрела вблизи дачи. Подбежав к окну, я с трудом различил в ночной тьме в палисаднике несколько человеческих фигур. В одной из них я с трудом узнал старика Бирича с ружьём в руках, не ходившего по двору, а скорее ползающего на четвереньках. Мы с зятем, наскоро одевшись и захватив по револьверу, выбежали во двор.

Там мы застали Бирича, Миклашевского, Долгова и Сеню Бирича.

— В чём дело? — спросил я старика.

— Напали на соседнюю дачу. Уведут в сопки…

Соседнюю дачу несколько дней назад сняли инженер Горяев совместно с Колесниковым. Первый был наш хороший знакомый по Екатеринбургу, где мы совместно владели асбестовыми рудниками, второй — хоть и был мне знаком по Самарскому съезду управляющих банками, но, видимо, избегал вести со мной знакомство. Поэтому оба соседского визита нам не сделали. Надменную фигуру Колесникова я хорошо помнил и по биржевым заседаниям.

С их дачи слышались вопли о помощи.

Я обратился к мужчинам с предложением бежать на помощь, но и старик Бирич, и Лев Львович говорили, что это опасно и надо выжидать. Я настаивал на своём и двинулся к даче. Лев Львович, схватив меня за руку, не отпускал. Я вырвался и, быстро пробежав палисадник соседней дачи, вскочил на террасу и встал в углу с револьвером в вытянутой руке. Сердце сильно билось, было жутко.

— Откройте дверь! — крикнул я соседям.

— Кто говорит? — послышалось из-за двери.

— Это Аничков.

В это время подбежали и остальные. Дверь открылась — на пороге стояли оба перепуганных жильца.

— Что случилось? — спросил я.

— Кто-то лез к нам с чёрного хода и стрелял из ружья.

Мы обошли дачу, но никого ни в саду, ни во дворе не нашли. Очевидно, нападающие скрылись.

На другой день оба соседа пришли к нам благодарить за оказанную помощь.

МЕРКУЛОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Раза два биржевой зал сдавался под устройство митинга национальных организаций, и мне как маклеру удалось посетить митинг. Лидерами организаций были братья Меркуловы, из коих первое место занимал старший — Спиридон Денисович. Он обладал ярким темпераментом и незаурядным ораторским талантом. Его речи выслушивались с большим интересом и вниманием, и вполне ярко обрисовывалось его водительство. Был он ростом выше среднего, худощав, шевелюра — жидкая, но его серые глаза горели огнём вдохновения и выдавали непреклонную волю.

Второй брат, Николай, был среднего роста и плотного телосложения и по своей фигуре напоминал гостинодворского купца.

Несмотря на зычный голос Меркуловых, речи их не производили впечатления глубокой продуманности, но дышали большой энергией.

Эти митинги произвели на меня хорошее впечатление, и, если бы было свободное время, я постарался бы сделаться их активным членом.

Национальные организации насчитывали немало членов. На средства братьев Меркуловых издавалась газета «Слово» с приличным по месту и времени тиражом.

Несмотря на близкие отношения Биричей с Меркуловым, мы не были предупреждены о дне переворота и в тот день, 26 мая, отправились, по обыкновению, с Седанки во Владивосток. Подходя к нашей конторе, на углу Китайской и Светланки мы увидели значительную толпу, посреди которой на каком-то возвышении стоял знакомый мне по национальным митингам Гущин, обладавший большим ораторским даром. Его речь прерывалась частыми аплодисментами и одобрительными выкриками толпы. Он призывал народ к восстанию против засилья коммунистов, уверяя, что вся каппелевская армия идёт за Меркуловыми.

Мы прошли в контору и застали там моего сына и всех служащих в большом волнении.

— Папа, вчера у нас был генерал с переводчиком и приказал не выходить на улицу ни вчера вечером, ни сегодня, потому что будет «война».

Мы всё время не отходили от окон, наблюдая за движением на улице. Светланка переполнилась любопытствующими.

Совершенно непонятно, каким образом и для чего по

Светланке повели партию политических, состоявшую из белого офицерства. Их было человек триста, а может быть, и больше. Их сопровождали конвойные, вооружённые винтовками. Когда арестанты прошли небольшое расстояние от моей конторы к Гнилому углу, толпа бросилась на конвойных, которые, не сопротивляясь, дали себя разоружить. Арестанты, захватив винтовки, под одобрительные возгласы толпы двинулись по улице в том же направлении, а вдали от собора послышались первые выстрелы. Их было немного, были они редки и одиночны. Залпов и пулемётной стрельбы я не слышал.

Потом я узнал, что на Светланке мужественное сопротивление оказали лишь чины местного Ч.К., да и то их было не более десятка, по всем вероятиям, перебитого каппелевцами. Один из защитников дэвээровского флага взобрался на крышу и, скрываясь за трубой, расстреливал нападающих каппелевцев в течение нескольких часов, счастливо избегая пуль противника.

Правительство Земской управы во главе с Антоновым и Цейтлиным, поддерживаемое грузчиками, матроснёй и небольшими группами партизан, спустившихся с сопок, сосредоточилось в казармах Гнилого угла, где и вело продолжительную борьбу, кажется, весь день. Но уже часов в двенадцать дня было ясно, что меркуловское выступление удалось и мы вновь очутились под властью национального правительства. Русский, красный с синим углом, флаг сменил всюду дэвээровский.

Я вновь испытал почти такую же радость, как в Екатеринбурге после взятия города чехами, с той лишь разницей, что тогда сильно верилось в полную победу над коммунизмом, а теперь закрадывались сомнения в дальнейших успехах Белого движения.

Вскоре появились афиши с извещением о переходе власти в руки национального русского правительства под названием Приамурского, чем определялась и его граница, включающая в себя чуть ли не всё Забайкалье. На самом же деле его территория, несмотря на то что в неё вошли Никольск-Уссурийский и Гродеково, всего Приморья не охватывала. Впоследствии многие называли его «правительством до Первой Речки».

Само собой разумеется, что переворот был совершён при благосклонном содействии японского командования, которое препятствовало продвижению по линиям железных дорог красных войск из Д.В.Р. и, как говорили, вмешивалось в бои, когда они разрастались с явным успехом для красных. Но всё же японское командование не воспрепятствовало правительству Антонова с преданными ему частями покинуть Владивосток, удалившись в сопки.

На другой же день к нам пришёл Сергей Петрович Руднев и сделал предложение Николаю Ивановичу Сахарову занять пост управляющего делами Приамурского правительства, а моему зятю Льву Львовичу — помощника Сахарова. Лев Львович отказался, а Сахаров согласие дал.

Предполагая, что правительству вряд ли удастся надолго удержаться у власти, я уговорил Сахарова оставить свой капитал в деле и обещал временно выплачивать ему сверх дивиденда половину жалованья, если он обещает держать меня в курсе всех финансовых распоряжений и намерений правительства. Это и было обещано.

На место ушедшего Сахарова я посадил Немчинова с тем же окладом, что получал у меня кассир-артельщик, т. е. семьдесят пять иен. А остальным «мальчикам» прибавил до пятидесяти иен. Все были очень довольны и с большим рвением продолжали работу.

Мне было страшно за новых правителей. Трудно добиться власти, но ещё труднее удержать её. Для этого нужны средства. Податной аппарат бездействовал. Правительство, несмотря на малую территорию, должно было содержать большой штат чиновников, выплачивать пенсию безработному офицерству, содержать войско да ещё в подражание демократическим странам содержать приносящее не пользу, а вред Народное Собрание.

Россию охватила революция. Она представляла собой бушующее море, но не морской воды, а вонючих помоев. По этому зловонному морю братьям Меркуловым предстояло вести свою утлую ладью. Что было делать? Неужели капитану корабля в часы бури надо собирать матросов на митинг и спрашивать, куда и как вести судно? Конечно, нужна была диктатура, а вместо неё продолжало функционировать Народное Собрание. Впрочем, само правительство образовалось из пяти лиц — братьев Меркуловых, Еремеева, Макаревича и Адерсона.

В сущности, это была та же диктатура, но скрытая, получившая впоследствии имя «Торгового дома братьев Меркуловых». Название для правительства совсем не лестное…

Как не могли братья понять и столковаться, что оставлять себе два голоса из пяти не совсем удобно? Много лучше было бы верховную власть передать одному Спиридону, а Николаю предоставить министерские портфели военного и иностранных дел, которые он имел. А Народное Собрание нужно было или распустить, или собирать раз в год на месяц для контроля и утверждения смет.

Тяжело было и политическое, и финансово-экономическое положение нового правительства. Дело в том, что всё отчетливее

становилась близость ухода интервентов. В Вашингтон посылалась депутация с просьбами удаления японских войск. А это было равносильно самоубийству Приамурского правительства. Было совершенно ясно, что с уходом японцев здесь водворятся большевики.

Для меня подобное решение было непонятно. Мне казалось, что надо хлопотать перед союзниками о создании на востоке белого буферного государства под общим протекторатом держав Согласия и под верховным водительством одного из Романовых.

Экономическое положение всех правительств, бывших во Владивостоке, зависело главным образом от количества застрявших во Владивостоке грузов как Императорского правительства, так и частных лиц. Но эти грузы начали расхищаться ещё при Розанове, и Меркуловым достались лишь крохи. Золотой запас, около восьмидесяти миллионов рублей, был передан Земским коммунистическим правительством Читинскому правительству Д.В.Р. Таким образом, касса нашего банка тоже была пуста.

БОЧКАРЁВ

Ещё в те дни, когда «товарищи», спустившись с гор, захватили власть в свои руки и устроили избиение арестованного белого офицерства на реке Хорь, я, гуляя по Светланке, увидел густую толпу, движущуюся от вокзала к Китайской улице. Толпа улюлюкала, как на охоте на волка.

Я стоял на возвышении на Китайской улице и при повороте толпы со Светланки увидал посреди неё пленника со связанными за спиной руками. Это был человек высокого роста, хорошего сложения, в черкеске, в казацкой папахе, лихо надетой набекрень. На его молодом и красивом лице не было и тени страха. Оно дышало презрением и гордостью.

— Белобандит! — кричала толпа. — Разорвать тебя надо! Сволочь!

Он шёл, как бы не слыша криков, не видя толпы.

— Кто это? — спросил я одного из прохожих.

— Правая рука казачьего атамана Калмыкова из Хабаровска.

— Попался, сукин сын! — пояснил мне другой. — И чего только время зря терять? Давно пора его либо на фонарном столбе повесить, либо на кол посадить.

Мне стало жаль несчастного пленника.

Как-то в одно из воскресений этот человек, столь мне понравившийся, появился в столовой Бирича…

Мы познакомились, и, сидя против него за завтраком, я не удержался сказать, что давно его знаю, и описал виденную картину.

— Я думал, что вам не миновать смертной казни, и сердечно рад видеть вас живым и в добром здравии.

С его появлением на даче и началось то событие, о котором я упоминал ранее. По отрывочным фразам я понял, что он приехал сюда неспроста, а с каким-то секретным предложением.

Оказалось, что Биричи давно знали Бочкарёва, когда тот был ещё капитаном парохода, делавшего рейсы по Амуру.

Появления Бочкарёва на даче стали частыми и сопровождались долгими совещаниями с Биричами, для чего они втроём запирались в спальне, даже позабыв про преферанс.

От меня эти переговоры долгое время скрывались, но однажды старик Бирич посвятил меня в свою тайну.

— Так вы говорите, что Бочкарёв произвёл на вас хорошее впечатление?

— О да. Первое впечатление было почти восторженное. Ведь, в сущности, его вели на казнь, а он шёл ясным соколом и таким

орлиным взглядом смотрел на толпу, готовую его разорвать, что не только меня, но и всю толпу подчинил своей воле. Струхни он хотя бы на секунду, и его бы разорвали.

— А когда познакомились, очарование прошло?

— Конечно, Христиан Платонович, ко всему привыкаешь, привык я и к Бочкарёву. Но скажу определённо: он и теперь мне нравится.

— И вы не ошиблись в нём. И теперь он не падает духом, а придумал такой блестящий план защиты от большевиков, что я просто диву дался. Он говорит, что с уходом японцев отразить нашествие большевиков на Приморье — дело почти безнадёжное. Единственное, что надо сделать, — это захватить теперь же Камчатку, берега Охотского моря, Якутск и, двигаясь на юг по Лене, угрожать Хабаровской железной дороге с севера. И только тогда при совместных действиях с войсками Приморья возможно и поражение большевиков, и дальнейшее наступление на Читу и Иркутск. Лена как единственный путь сообщения с Якутской областью местами так сдавлена скалами, что если их укрепить, то получатся вторые Фермопилы. Что скажете про этот план?

— Я не военный, не стратег, но, насколько помню карту тех мест, думаю, что план говорит сам за себя.

— Очень рад, что вы так думаете. Теперь скажу, что и Меркуловы, особенно Николай, склоняются к данному предложению и предлагают мне стать во главе экспедиции.

— Почему же вам, а не Бочкарёву как его автору?

— Нет, вы не так поняли меня. Конечно, военная власть вручается Бочкарёву, но он будет на основании общих законов подчинён в административном отношении непосредственно мне как вновь назначенному генерал-губернатору Камчатки и всего Северного края.

— Почему же, скажите мне, Меркуловы в своём выборе остановились на вас? Ведь вы немолоды и, наконец, невоенный человек.

— Вот потому-то и назначили, что я великолепно знаю Камчатку и весь Северный край. А мои годы служат порукой, что я сумею удержать Бочкарёва от чрезмерных увлечений.

— Ну, а откуда же он наберёт себе армию? Ведь там население очень редкое?

— Она у него готова: к нему стеклись его бойцы из Хабаровска. Их около пятисот, и всё это испытанные люди, скованные дисциплиной и верящие в своего атамана.

— Ну, положим, это так… Но ведь для того, чтобы победить, нужны средства.

— Эх, батюшка, да ведь вся Камчатка засыпана золотом, и мы

сумеем его достать. Помимо золота, там масса рыбы и оленины. Нужна мука, спирт и порох. Всё это Меркуловы дают в достаточном количестве, чтобы перезимовать двум-трём тысячам людей. Оружие и артиллерию тоже дают, а шкуры оленей будут и обувать, и одевать.

— Ну что же, дай Бог успеха, — сказал я Биричу, пожимая руку. — По правде говоря, хоть и кажется мне всё это сказкой из «Тысячи и одной ночи», но я искренне желаю вам успеха.

С этого дня по воскресеньям Бочкарёв стал появляться со своей супругой, женщиной из хорошей семьи. С ним почти всегда приезжал пожилой генерал, фамилию которого не могу вспомнить. Его Бочкарёв отрекомендовал мне как начальника штаба. Помимо генерала, приезжали и два адъютанта Бочкарёва и титуловали наших хозяев «Ваше Высокопревосходительство», что особенно нравилось Пелагее Петровне.

Во время завтрака и обеда разговоры вертелись главным образом вокруг деталей плана. Мечты Бочкарёва доходили и до захвата Бодайбо.

— Вот, Владимир Петрович, где неисчерпаемое богатство. Если бы нам удалось захватить прииски, золота хватило бы для ведения войны с большевизмом в большом, всероссийском масштабе.

— Раз это так, то вам следует с первых же дней установить аффинаж и чеканку собственной монеты, чтобы ею расплачиваться с золотоискателями. По вашим словам, там золото очень высокой пробы и его охотно продают по три три с половиной тысячи иен за золотник. Это даст семь-восемь тысяч барыша с пуда купленного золота.

— А ведь правда, — подхватил Христиан Платонович. — Ведь вы знаете аффинаж?

— О да, знаю по нашему банку. Это стоит грош, но нужны кислоты и химическая фарфоровая посуда. Наша небольшая лаборатория в две комнатки могла пропустить в год до двадцати пяти пудов золота. А вот чеканка мне незнакома, но нужен небольшой моторный молот. Золотые листы можно легко изготовить на прокатных станках.

— Эх, Владимир Петрович, бросайте-ка вашу меняльную контору и едем с нами. Там я вас назначу министром финансов. Все мы там разбогатеем, да и служением Родине замолим наши грехи.

— Нет, Христиан Платонович, хоть меня всегда интересовал север, но при таких политических условиях я боюсь его. Да при этом не очень-то и верю в ваш военный успех. Мне думается, что на севере, где больше инородцев, большевизм не успел ещё

вполне расцвесть. От него население ещё не потерпело достаточно бедствий. Ведь смотрите, и здесь крестьянство стоит за большевиков, ещё недостаточно познав их. Русский человек своим глазам не верит, ему всё надо перетерпеть на своей шкуре. Вот почему я мало верю в успех вашего прекрасного плана, как и в то, чтобы Меркуловым с вашей помощью удалось отстоять Приморье от нашествия большевиков, когда уйдут японцы.

— Ну что ж, поживём — увидим, а складывать рук не будем, — возразил мне Бирич.

Отъезд был назначен на конец июля, и мы решили пока не оставлять дачу. Впоследствии отъезд экспедиции затянулся и только в конце августа Бирич с отрядом Бочкарёва на двух судах двинулся на Камчатку, к Петропавловску.

Мне, признаться, очень нравился план Бочкарёва, но я никак не мог понять, как это Меркуловы назначают бывшего каторжника генерал-губернатором Северного края. Ведь прошлое Бирича там известно. Даже откидывая в сторону его прошлое, я не остановился бы на этом выборе из-за склонности старика к рюмочке, а главное, не нравилось мне влияние на него жены.

Нет сомнения, что это она назначается на должность генерал-губернатора. Помимо этого, очень не нравились мне и открытые разговоры о возможности составить там личный капитал. Не эта ли мысль являлась главным двигателем решений и не заинтересован ли здесь лично был и «Торговый дом братьев Меркуловых»?

Но назначение Христиана Платоновича на высокую должность генерал-губернатора Камчатки мало отразилось на манере нашего хозяина держать себя. Он остался тем же добродушным и хлебосольным человеком, каковым и был, и только на радостях стал выпивать несколько лишних рюмок водки.

За неделю до отъезда Биричей Наташа сняла две комнаты в квартире Болдырева, а мы вернулись в нашу тёмную комнату над воротами. За несколько дней до отъезда сделал нам прощальный визит Бочкарёв. Он приехал с супругой и засиделся. Разговор вскоре привёл к его жалобам на тяжёлый и своенравный характер Пелагеи Петровны.

— Сам старик, — говорил Бочкарёв, — хороший, покладистый человек. Но ведь беда в том, что им командует жена, а это приведёт к таким столкновениям, что отравит нам всю жизнь.

— Ну что же, — сказал я, — придётся вам с ней по-дружески и конфиденциально поговорить, да так, чтобы после этого разговора она прикусила свой язычок.

— Да, — сказал Бочкарёв, — и мы с женой думаем, что без этого не обойдётся, благо и случай для разговора предвидится уже теперь. Генеральша потребовала отвести себе и мужу две лучшие каюты, указав номера. Я ответил письменно, что приказания Её Высокопревосходительства исполнены в точности, а сам переставил номера, так что лучшая каюта стала худшей. Завтра при погрузке выйдет первый скандал. Но я решил не уступать, а выдвинуть свои ультимативные требования.

На другой день мы пошли провожать отъезжающих. «Генеральша», видимо, была не в духе, а Бочкарёв шепнул мне:

— Был бой, но я остался победителем.

— Поздравляю с первой победой. Это несомненный залог дальнейших успехов.

Разговор пресёкся командой «смирно!». Войска вытянулись вдоль борта в две шеренги. На корабль входил военный министр Николай Меркулов.

— На караул! — И Меркулов под звуки «Коль славен» обошёл фронт.

После гимна Меркулов обратился к отъезжающим с короткой, но прочувствованной речью, покрытой дружным «ура!».

Мы вышли на берег и долго смотрели вслед удалявшимся кораблям.

Вскоре после меркуловского переворота знакомый нам японский генерал обратился ко мне с просьбой устроить ему комнату на той даче, где жили мы.

Я передал желание Биричу, и тот с большой готовностью уступил свой кабинет. Старик генерал прожил с нами недели две, ходил в японском кимоно, сандалиях и с веером в руках.

Был он по-своему очень любезен, но плохое знание русского языка делало это сожительство малоинтересным. Однако из немногих его фраз я понял, что через две недели последует переворот в Благовещенске, а через месяц — в Чите, что должно способствовать образованию белого буфера.

Это сообщение укрепляло во мне надежду на то, что японцы не покинут края. Я начал обдумывать вопрос о превращении своей меняльной конторы в банкирскую с отделениями в Харбине и в тех городах, которые войдут в буферную зону. В Чите и Благовещенске жило несколько служащих нашего банка, да и во Владивостоке место конторщика на Уссурийской дороге занимал хорошо мне известный и дельный служащий нашего банка, бывший управляющий Бугульминским комиссионерством, Сергей Андреевич Петров.

Но очень скоро все планы развеялись как дым. Японская политика приняла диаметрально противоположное направление.

Японцы решили покинуть Сибирь, и образование буфера скрытно, но не без участия японцев приняла на себя советская Россия, прикрываясь флагом демократизма.

Никакого переворота в этих городах не произошло, а наш знакомый старик генерал, сочувствовавший Белому движению, вынужден был уйти в отставку и уехал, не простившись с нами. На его место был назначен молодой генерал. Он занял ту же квартиру и нанёс нам визит, отрекомендовавшись самым молодым генералом во всей Японии. Последовало и приглашение на чашку чая, после чего и нам пришлось ответить ужином с большим количеством холодного крюшона. Во время ужина, после тоста, сказанного мною «за здоровье самого молодого генерала японской армии», гость попросил разрешения взамен ответного тоста спеть песню. Переводчик пересказывал её содержание.

И генерал поведал историю, в которой говорилось, что когда-то в принадлежавшем Японии Никольске-Уссурийском пели песни веселые гейши. Теперь же он поёт песню нам о том, что есть на свете самая многоводная река с прозрачной холодной водой, в которой воды так же много, как здесь на столе прекрасного вина. Вода реки столь же холодна, как и хозяйское вино. И он уверен: настанет время, когда мы вновь встретимся в прекрасном городе за Байкалом, что стоит на той реке, и будем с таким же удовольствием пить её холодную воду.

Недурно сказано. Значит, японцы, несмотря на слухи об уходе, всё же мечтают занять Сибирь до Иркутска.

Мне оставалось только чокнуться с генералом и сказать, что я буду рад, находясь в Иркутске, оказать дружеский приём почтенному гостю, но мои годы не позволят дожить до этого времени.

Незадолго до оставления Владивостока генерал пришёл к нам с прощальным визитом и поднёс свой фотографический портрет с дарственной надписью.

ПОНЕДЕЛЬНИКИ

Большое помещение нашей конторы дало идею устроить у себя нечто вроде клуба. Пригласив беженцев Симбирска и Екатеринбурга, мы предложили им собираться у нас каждый понедельник, а дежурная дама устраивала бы чай и закуски, разложив расход на всех участвующих в журфиксе.

Эта простая мысль всем понравилась. У большинства жилищные условия были неважные. Надоело сидеть в отдельных комнатах, где было трудно принимать гостей, да и средства не позволяли этого делать. А тут в большой, тёплой и ярко освещённой комнате имелось и пианино. На понедельниках бывали: супруги Шипановы; бывший нотариус из Екатеринбурга Николай Флегонтович Магницкий; бывший юрисконсульт нашего банка, екатеринбургский мукомол и гласный думы, впоследствии отравившийся цианистым калием в Харбине, милейший Павел Степанович Первушин; Георгий Андрианович Олесов, управляющий Сибирским банком, со своей супругой Елизаветой Алексеевной и товарищем управляющего Першке; Валентин Фёдорович Щепин, бывший управляющий Азовско-Донским банком, с супругой; инженер Всеволод Сергеевич Горяинов с молоденькой супругой Александрой Александровной, часто бравшей на себя дежурство; Алексей Кузьмич Ценин. Однажды зашёл и Лев Афанасьевич Кроль. Всегда присутствовал Василий Георгиевич Болдырев, очень редко бывали Рудневы, почему-то от нас отдалившиеся. Раз пришли инженеры Бострем и Бехли, приехавшие из Харбина. Из молодёжи бывали моя дочурка Наташа с мужем, Лиза Олесова, Митя Критский, адъютант контр-адмирала Старка, моряки Буцков, барон Мегден и наши служащие. Обычно бывало весело. Молодёжь танцевала, взрослые садились за преферанс. Я иногда читал свои записки, а больше вёл бесконечные разговоры на политические темы и вступал в споры о том, уйдут или не уйдут японцы.

Дежурные дамы старались перещеголять друг друга искусством вести хозяйство, ради чего потихоньку приплачивали свои собственные деньги.

Засиживались обычно за полночь.

Так, на товарищеских началах, встретили мы и Рождество, и Новый год. На эти два вечера расходы превысили иену на человека, что дало возможность и устроить ужин, и выпить крюшон.

ДЕЛА КОНТОРЫ

Дела моей конторы шли в гору. Я начинал завоёвывать общественное доверие и по времени большого кредита, ибо паевой капитал совокупно со вкладным подходил к пятидесяти тысячам иен. Этого было более чем достаточно, даже иногда чувствовался переизбыток средств. Это обстоятельство заставляло меня не только отказываться от новых вкладов, но и при случае избавляться от лишних денег. Однажды явилась ко мне вкладчица из Никольска-Уссурийского и, польстившись на большой процент в двадцать четыре годовых, внесла две тысячи иен сроком на один год. Но не прошло и месяца, как дама явилась в контору и, трепещущая от волнения, начала умолять меня вернуть деньги.

— Сударыня, кто вас так напугал, зачем вы волнуетесь? Берите ваши деньги хоть сейчас, но вот проценты за это время я вам не заплачу.

Получив деньги, барыня имела растерянный и, пожалуй, недовольный вид. А через две недели вновь пришла с просьбой принять от неё вклад, в чем я ей уже отказал. Такие отказы были лучшей рекламой для моего дела и увеличивали число желающих поместить свои капиталы в нашу контору.

Первого января 1922 года по случаю Нового года моя контора была закрыта. Я со служащими с утра приступил к заключению годового отчёта. К двенадцати часам дня отчёт был завершён и выведена прибыль, выразившаяся в восьмидесяти процентах на паевой капитал. Я ликовал и отправился покупать закуски и вино, устроив обильный завтрак. Капитал всех вкладчиков почти удвоился. Было чему порадоваться…

ПОХОД НА ХАБАРОВСК

Приблизительно в ноябре 1922 года на севере Приморья появились белые повстанческие отряды. Конечно, эти отряды и формировались, и содержались на средства меркуловского правительства, каковые тратились без всяких ассигнований Народного Собрания. Но в результате деятельности повстанцев Хабаровск оказался освобождённым от большевиков и красных войск. Я радовался успехам Меркуловых, предполагая, что в движении участвуют и отряды Бочкарёва. К сожалению, как я узнал впоследствии, мои предположения не сбылись. Экспедиция Бирича никаких реальных результатов в смысле помощи Меркуловым в борьбе с красными не принесла. Но движение белых партизанских отрядов постепенно развёртывалось в серьёзную военную операцию, которая вначале была благоприятна для Приамурского правительства. Однако наши парламентарии узрели в этом нарушение конституции и вынесли порицание правительству, упрекая его в растрате народных средств, совершенно упустив из виду, что при решении японцев покинуть Приморье необходимо было начать в оборонительных целях наступательные действия. При этом пришлось вести таковые не в виде открытой войны, а прикрываясь как бы вспышками местных восстаний населения.

Конечно, Меркуловым, стесняемым и японским командованием, и Народным Собранием, ничего не оставалось делать, как распустить последнее, что и было сделано перед наступлением Рождественских праздников.

Народное Собрание выбрало комиссию, во главе которой стал генерал Болдырев, и поручило ей обследовать партизанское движение. С этой целью комиссия отправилась в Хабаровск.

Генерал взял с собой и своего адъютанта. Мы очень боялись отпускать сына, хорошо памятуя о той опасности, которая грозила во время посещения Болдыревым Симбирска в годы гражданской войны. Эта поездка продолжалась недели три, и мы были очень рады возвращению генерала.

А военные действия затягивались. Армия Меркуловых страдала от отсутствия тёплой одежды и оружия, подвоз которого стесняли японцы. Первые удачи сменились поражениями, и вместо ожидаемого продвижения вперёд началось отступление. Несмотря на огромную энергию, проявленную Меркуловыми, движение пришлось признать авантюрой, унёсшей и без того скудные средства Приамурского правительства. Это положение привело к яростным нападкам депутатов вновь собравшегося в

феврале 1922 года Народного Собрания. Мне было сердечно жаль Меркуловых. Власть их подтачивалась, и повторялась та же картина, что мы уже наблюдали при начале нашей «бескровной» революции.

В Народном Собрании, как и в Государственной Думе, началась борьба за власть, за создание ответственного министерства. Но безлюдье в Народном Собрании было ещё большее, чем в своё время в Государственной Думе.

Я частенько спорил по этому вопросу с генералом Болдыревым, говоря, что даже при ответственном министерстве нельзя рассчитывать на лучший подбор министров, чем сделано теперь. Если и допустить мысль, что мои предположения неправильны, то новое правительство не достигнет конечной цели: отстоять Приморье от нашествия коммунистов, как только уйдут японцы. Скорее всего, эти раздоры только ускорят приход большевиков, ибо поведут к выступлениям грузчиков и других элементов, сочувствующих коммунизму. Дабы не тратить зря деньги на содержание двухсот шестидесяти депутатов, надо или сократить их число до пятидесяти, или совсем распустить Народное Собрание.

Реплики генерала были справедливы, но и он соглашался, что отстоять Приморье от пришествия коммунизма не удастся.

Вскоре после его приезда из Хабаровска генерал Болдырев был командирован Народным Собранием в Пекин, на свидание с генералиссимусом Жофром, чтобы высказать протест против участия большевиков в Генуэзской конференции. Генерал опять взял с собой моего сына. На этот раз я радовался за Анатолия. Поездка в Китай, а особенно в Пекин, да ещё на казённый счёт, была интересна для сына и не связана с какой-либо опасностью. Но генерал запоздал и прибыл в Пекин накануне дня отъезда Жофра. Поэтому тот не смог его принять и высказал предложение повидаться в вестибюле гостиницы.

Болдырев на это «свидание в прихожей» не пошёл.

Представителям побеждённых народов не нашлось места за общим столом. Ещё долго придётся нам пресмыкаться перед бывшими союзниками за оказанную ими помощь.

ПАДЕНИЕ МЕРКУЛОВЫХ

В июне 1922 года произошёл революционный переворот, устроенный Народным Собранием и свергший власть меркуловского правительства. Японцы заявили враждующим сторонам, что не допустят никакого кровавого столкновения на улицах, а если таковое произойдёт, то обе стороны будут моментально разоружены.

Началось с акта, изданного Меркуловыми в конце мая, об уничтожении всех выданных их правительством ассигновок, находящихся на руках у третьих лиц. Месяца за два до этого чинам Министерства финансов рекомендовалось учитывать таковые у частных лиц. Денег на их оплату в силу большой стоимости военных действий не было ни в Казначействе, ни в Государственном банке.

А что такие действия поощрялись, вытекает из случая с нашей конторой, толкнувшей и меня, за избытком свободных средств, на неприятную работу по залогу правительственных ассигновок.

Меня вызвал по телефону Мусин-Пушкин, состоявший тогда министром финансов, и в присутствии Дмитриева, исполнявшего обязанности управляющего, обратился ко мне, как «к доброму знакомому», с просьбой выручить банк из крайней беды и одолжить на несколько дней тысячу иен.

— Разумеется, мы не можем заплатить вам никакого процента и даже выдать расписку. Но взамен этих денег выдадим вам ассигновки на таможню. Вы знаете, что это главный источник наших доходов. По прибытии первого же парохода ассигновки будут оплачены сполна. Если же, паче чаяния, оплата задержится и приведёт к убытку, то мы даём честное слово, что убытки компенсируем. Ведь стоимость ассигновок теперь упала ниже пятидесяти процентов.

Мне не хотелось прерывать установившиеся добрые отношения с Государственным банком, и я дал согласие. Однако с приходом парохода ассигновки мне не оплатили. Одновременно правительство, нуждаясь в деньгах, вручило их на значительную сумму и другим лицам. Пришлось вывёртываться из создавшегося положения, и я, послав Льва Львовича на таможню, стал, согласно существовавшим правилам, брать от получателей товара поручения на оплату пошлин. Причём китайцы, боясь вносить деньги вперёд, требовали кредит без всяких письменных обязательств и выговаривали приличную скидку. Операция была рискованной, но в ней заключался единственный выход из

создавшегося положения.

Надо отдать справедливость Льву Львовичу: он провёл операцию хорошо, а Дмитриев исполнил слово и компенсировал мои хлопоты и убытки, оплатив купленные за сорок процентов ассигновки. Ко времени издания этого акта, нелепого по своей сущности, у меня было в залоге тысяч на десять разных ассигновок.

Предстояла крупная потеря, заставившая меня провести такую же операцию — но не на таможне, а в Казначействе — по оплате налогов.

Поручения были мелкие, и китайцы требовали их исполнения в трёхдневный срок и со значительной скидкой. Чиновники Казначейства отказывались исполнить работу ранее недельного срока. Всё это были голодные, измученные работой люди. Я пообещал заплатить сто иен и послать всем барышням по коробке конфет, если квитанции будут готовы в два дня. Чиновники просидели две ночи подряд и к назначенному сроку работу исполнили; это спасло меня от потерь.

Изданный Меркуловыми вынужденный акт банкротства не больно ударил по дисконтёрам. Ассигновки принимались ими по сорок процентов стоимости. Служащие, которые закладывали ассигновки, теряли на каждом рубле более шестидесяти копеек. Такое не снилось ни одному ростовщику. Но что было делать?

Чтобы оправдать ростовщические действия, должен сказать, что назначенный на место Исаковича управляющим Русско-Азиатским банком Десево открыл мне специальный счёт под разные валюты. Причём банк, начисляя двенадцать процентов годовых, брал комиссию в размере полупроцента с суммы вносимых обеспечений. Таковые постоянно менялись, и приходилось вносить за деньги сверх процента не менее двух процентов комиссии в месяц, что доводило стоимость кредита до тридцати шести процентов годовых.

Всё это привело меня к мысли написать проект о выпуске кредитных рублей, оплачиваемых не по предъявлении, а по тиражам. Это давало возможность правительству, пользуясь только поступлениями с таможни, выпустить до восемнадцати миллионов кредитных рублей с очень небольшим процентом стоимости кредитов. Не буду упоминать подробности проекта. Скажу лишь, что он рассматривался на заседании в присутствии Мусина-Пушкина, Дмитриева, правителя Кредитной канцелярии и меня.

Проект был принят ими единогласно, но был отклонён Меркуловыми. А через два месяца Спиридон Меркулов, выдав проект за свой собственный, утвердил его и опубликовал в

правительственной газете.

В этом плагиате он был впоследствии уличён, но стоял на своём, что окончательно оттолкнуло мои симпатии от представителя власти.

Вслед за опубликованием этого уничтожающего ассигновки закона был выпущен и приказ о роспуске Народного Собрания. В ночь с 31 мая на 1 июня 1922 года собрались депутаты Народного Собрания и провозгласили свержение власти меркуловского правительства, вынеся постановление об аресте Николая Меркулова и заявив о переходе власти к Народному Собранию.

ПЕРЕВОРОТ ДИТЕРИХСА

Я почти никогда не бывал в кинематографе, но на этот раз ко мне зашёл генерал Болдырев и усиленно стал звать пойти с ним. Генерал был чем-то обеспокоен; спустя час к нему кто-то подошёл. После коротких переговоров Болдырев, не досидев до конца сеанса, предложил пройти к нему в контору.

Когда мы пришли, генерал сообщил мне о свершившемся перевороте и сказал, что чувствует и даже знает, что на него готовится покушение со стороны меркуловцев. Поэтому он опасается возвращаться на свою квартиру и просит меня оказать ночной приют. Я с удовольствием предложил Болдыреву устроиться на ночь у меня, но извинился, что придётся, за отсутствием отдельной комнаты, спать в общей зале со служащими.

Мы долго сидели за чаем, обсуждая положение. Генерал был уверен, что Меркуловы не уступят своей власти и будут бороться до конца. Не будучи поклонником братьев Меркуловых, он отдавал должное их энергии и работоспособности.

Ночёвки генерала продолжались несколько дней. По утрам он уходил в Народное Собрание и, вернувшись, сообщал нам обо всём происходящем.

По его словам, милиция, бывшая на стороне Меркуловых, явилась в Народное Собрание и потребовала ухода депутатов, угрожая в случае неповиновения применить силу. Но, пока шли переговоры. Собрание окружила дивизия воткинцев и ижевцев, которая выгнала милицию и заняла все входы и выходы. Вслед за ижевцами явился генерал Молчанов, начальник каппелевцев, и заявил, что он приемлет власть Народного Собрания и берёт на себя исполнение приказа об аресте Николая Меркулова.

Это была большая победа восставших депутатов. Против этих войск могли пойти только старковцы и морские стрелки.

Николай Меркулов тотчас же лёг в бест, т. е. предался в руки японцев.

Городской голова Еремеев, состоящий членом меркуловского правительства, принял сторону Народного Собрания.

Меркуловы со своими приверженцами заперлись в доме № 67 и под охраной частей войск генерала Глебова чувствовали себя вне опасности, памятуя запрещение японцев прибегать к оружию.

Положение становилось комичным. Чем же бороться с врагом, если оружие запрещено? Оставалось слово и газетные статьи… На балкон дома № 67 поочередно выходили Меркуловы со товарищи и произносили речи, громящие депутатов Собрания.

В выражениях, они не стеснялись. Представители Народного Собрания тоже не остались в долгу и громили Меркуловых, называя их ворами и обманщиками. Но у Меркуловых оказалось преимущество. В их распоряжении оказалась газета «Слово».

Главным преимуществом Меркуловых оказались великолепная и обильная закуска и вино. Каждого, кто попадал к ним, ждало прекрасное угощение. Из окон квартиры дома № 67 часто слышалось весёлое «ура!». Народное Собрание совершенно пренебрегало этим простым, но сильно действующим средством.

Перед домом № 67 в первые дни переворота целый день стояла толпа, то аплодировавшая, то свистящая.

— Ну, послушали Меркуловых, пойдёмте и тех послушаем.

Порой толпу искусственно создавали войска и милиция, останавливая и прохожих, и трамваи.

Генерал Молчанов, принявший поручение арестовать Николая Меркулова, сперва тянул с ответом, а затем отказался от поручения, заявив, что без кровопролития сделать этого нельзя. А кровопролитие грозит разоружением всех русских войск, чего он допустить не может.

Между прочим, народные представители сообщали, что приказ Меркулова об уничтожении ассигновок будто бы даёт братьям хороший барыш. Ассигновки скупаются за грош сыном Николая Меркулова. Он и получает по ним через отца полным рублём.

Слухи действительно ходили. И я был рад, продав свои ассигновки приходившим комиссионерам по тридцать три сены за рубль, теряя на операции семь сен, но зато избавившись от большого убытка.

Начались засылки парламентёров к той и другой сторонам.

Пошли и перебежчики. Одним из первых оказался Еремеев. Это была большая победа Меркуловых в том смысле, что в эти дни один член правительства отсутствовал, а теперь появление Еремеева дало законный кворум, и Меркуловы могли говорить уже не лично от себя, а от Приамурского правительства.

Наконец, довольно решительный удар Народному Собранию нанёс генерал Молчанов, заявивший, что каппелевцы по-прежнему остаются преданными Народному Собранию, но при условии, если в число членов правительства войдёт главнокомандующий армией, а единственным кандидатом на эту должность воинские части считают генерала Дитерихса. Против этого назначения выступало большинство Собрания, ибо все знали о мистицизме генерала.

— Вот если бы, — говорили они, — мы могли его назначить митрополитом, никто бы ничего против не имел. Но «блаженный»

генерал при всех своих прекрасных качествах совершенно не годится на роль Верховного Главнокомандующего.

Однако ультиматум подействовал, и Собрание выбрало Дитерихса огромным большинством голосов.

В Харбин была послана телеграмма. Согласие Дитерихса было получено.

После долгих ожиданий генерал Дитерихс прибыл во Владивосток. Его встречали депутаты Народного Собрания, гражданские и военные власти. Генерал проехал в Народное Собрание, где и высказал благодарность за избрание. Однако вскоре он сделал заявление, что не признаёт революционных действий, а потому по-прежнему считает законным правительство Меркуловых и является сторонником идеи роспуска Собрания с созывом вместо него Земского Собора.

Таким образом, выходило, что революционные постановления Народного Собрания Дитерихс не признаёт, за исключением акта о его избрании.

Вскоре был созван и Земский Собор. Биржевой комитет просил меня явиться не то в качестве депутата, не то в качестве заместителя отсутствующего депутата. Не вступая в прения, я воздержался от голосования за многие непонятные для меня постановления. Собор избрал председателем правительства Гондати, но из-за его отказа председателем оказался Спиридон Меркулов, что в итоге подтверждало его полную победу над Народным Собранием.

При этом было заключено граничащее с наглостью соглашение между богомольным Воеводой Земской Рати и бывшим правительством Меркуловых, в силу коего Дитерихс давал торжественное обещание не производить ревизии сумм, израсходованных предыдущим правительством.

Дитерихс передал управление краем церковным приходам. Право голоса предоставлялось тому из прихожан, который постоянно причащался в течение последних трёх лет.

Возможно, в этом решении был некоторый смысл, но при условии, если бы наше духовенство стояло на высоте своего положения. Мне думается, что именно духовенство во многом было виновато в смуте и распространении коммунизма, иначе трудно объяснить, почему и староверы и лютеране в западном крае не восприняли коммунизма. Отшатнулась от него и католическая Польша. А вот в России, стране Православия, он расцвёл махровым цветом.

ПРОЩАЙ, ВЛАДИВОСТОК

Быстро придвинулась осень. Воевода Земской Рати, пополнив военные силы юнкерами и даже кадетами, повёл их в бой против более многочисленных регулярных войск Красной армии, подкреплённых партизанскими отрядами.

Для каждого, даже невоенного жителя города было совершенно ясно, что победы ожидать трудно. Тем не менее Воевода Земской Рати генерал Дитерихс опубликовал воззвание к армии и народу. Дитерихс совершенно откровенно сообщал, что японское командование в эту критическую минуту не только не держит обещанный нейтралитет, но отказало выдать принадлежащие Приморскому правительству оружие и патроны. Несмотря на это, он приказывает своей славной рати идти в бой. «За нами Господь Бог, и я уверен, что Он окажет Свою милость и помощь правому делу».

Одновременно с этим приказом последовал и приказ всем мужчинам, способным носить оружие, явиться на сборные пункты.

Началась невообразимая паника. Военные патрули стали хватать всех мужчин подходящего возраста как в кинематографах, так и просто на улицах.

Все справедливо вопрошали: для чего нужны люди, если нет оружия? Все, кто имел деньги, садились в поезда и уезжали в Харбин.

Я тотчас позвал сына и настоял на его отъезде. На другой день утром мы проводили его на вокзал и страшно боялись, что он будет задержан в пути. Слава Богу, моему сыну удалось беспрепятственно добраться до места назначения.

Многие мужчины ушли в сопки, некоторые покупали шаланды и направлялись или в Корею, или в Китай.

Служащим я выдал по двухмесячному жалованью, чтобы они могли покинуть Владивосток. Колесников выехал на отходящем пароходе на Камчатку, а мой зять Лев Львович, так же как и Добровольский, за небольшие деньги переменил подданство: первый превратился в румына, а второй — в поляка.

Один полковник Немчинов решил ехать на фронт, но через два дня вернулся. Ему, как и многим другим, не дали никакого оружия.

— Что же я буду там делать? Не могу же я воевать с красными дубинкой? Безоружные воины сдадутся красным при первом их наступлении. Лучше я сдамся им в городе.

Узнав, что винтовка моего сына не увезена в Харбин,

полковник Немчинов попросил её дать ему, что я охотно сделал. Винтовка была японская, и патронов к ней имелось мало. Однако Немчинов, взяв винтовку, в тот же день выехал на фронт.

Происходящее подсказывало мне мысль о бегстве из Владивостока, благо китайский пароход «Шэнью» выходил через три дня.

Перед тем как принять окончательное решение, я отправился на заседание Биржевого комитета. Против обыкновения заседание было многолюдным.

Грустно было видеть, как перекрасились люди. Это было не собрание членов национального общества, к коему до этого времени все принадлежали, это были люди, восхваляющие если не коммунизм, то победу Д.В.Р. Раздавались речи, в коих воспевалась патриотическая радость по поводу ухода японцев и прихода войск Д.В.Р.

Председательствовал Овсянкин, предложивший высказаться каждому в отдельности. Единственным из присутствующих, не испытывающим радости, оказался я. Мне сочувствовал только Десево, не проронивший ни слова.

Я искренне советовал всем покинуть Владивосток.

— Я не верю в Д.В.Р. Буфер нужен был японцам. А раз они ушли, то ясно, что буфер прекратил своё существование и здесь расцветёт стопроцентный коммунизм, о котором вы, господа, не имеете ни малейшего понятия. Я полагаю, что присутствую на последнем заседании Биржевого комитета, который, конечно, будет упразднён за полной ненадобностью. Частная торговля будет или запрещена, или станет облагаться таким непосильным налогом, что окажется убыточна.

Многие из присутствующих были впоследствии расстреляны или покончили жизнь самоубийством. Из харбинских газет мне удалось узнать, что застрелились Овсянкин, Бондарев и Циммерман.

В тот же день я сходил в контору Кунста и купил для всей семьи билеты на пароход «Шэнью», следовавший в Шанхай.

И лишь одна моя мать упрямо протестовала против поездки. Пришлось потратить много времени, чтобы уговорить старушку ехать вместе с нами.

Вечером я собрал всех пайщиков и познакомил их с решением покинуть Владивосток.

Все уговаривали меня остаться, что повело к некоторому компромиссному решению, а именно: оставить служащим небольшой капитал для продолжения ведения дела. Я выдал доверенность на имя генерала Болдырева, с тем что вся прибыль, которую удастся получить, пойдёт в пользу служащих. На этом

остановились, и генерал уверял меня, что недели через две я вернусь и буду продолжать своё дело.

За составлением отчёта пролетела вся ночь. К вечеру 14 октября все пайщики были удовлетворены полным рублём с прибавлением семидесяти процентов прибыли за период с 1 января по 15 октября 1922 года.

Перед отъездом наша контора несколько дней работала с невероятным напряжением и с огромной прибылью. При паевом капитале, равном приблизительно тридцати пяти тысячам иен, мы делали более ста оборотов в день. С уходом японцев все бросились обменивать иены на русское золото, серебро, американские и китайские доллары. И эта работа шла при большой конкуренции двух подобных учреждений: меняльного дела сына Николая Меркулова и Славянского. Последний из депутатов Народного Собрания образовал крестьянский кооператив для снабжения армии продуктами питания и, помимо этого, на полученные им крупные казённые авансы начал заниматься и эшанжем. За день или два до моего отъезда он пригласил всех своих пайщиков на завтрак, во время которого заявил, что его жена уезжает сегодня в Японию. Все высказали пожелание проводить её на пароход. Он затянул завтрак до самого отхода парохода и, нежно прощаясь на палубе с женой, на виду у всех провожающих не успел сойти по сходням и уехал в Японию.

Когда пайщики вернулись в контору и поинтересовались состоянием кассы, то оказалось, что таковая пуста. Славянский её увёз, захватив не только деньги пайщиков, но и казённые авансы, коих числилось более семидесяти тысяч рублей.

А вот я оделил всех до последнего гроша и уехал, увозя с собой около одиннадцати тысяч иен, принадлежавших мне и моему семейству.

Я не ограбил своих пайщиков, но меня ограбили собственные служащие в лице Добровольского, Сопетова и вернувшегося с фронта Немчинова. Всё, что я им оставил для ведения дела, и все деньги, что они собрали, — всего около четырёх тысяч иен — они поделили между собой и уехали в советскую Россию.

Для меня была чрезвычайно тяжела не только потеря денег, половина коих принадлежала моей семье, но и разочарование в служащих, коих я спас от голода, дал приют, кормил и платил приличное по тому времени жалованье.

Должен сказать, что последнее время в кассе обнаруживались пропажи денег. Помимо небольших просчётов, однажды пропали китайские даяны на сто иен. Тогда я отнёс это к возбуждённому состоянию кассира Немчинова, но теперь уверен, что деньги

воровал Добровольский.

Итак, прощай, Россия! Прощай, Владивосток, и прощайте, мальчики, к которым мы с женой относились так же, как и к своим детям.

За несколько дней до нашего бегства из Владивостока явился в мою контору Бирич. Он только что приехал с Камчатки и зашёл всего на одну минутку.

— Христиан Платонович, я надеюсь, вы не останетесь здесь. Я уезжаю в Циндау и бросаю дело.

— Совсем напрасно, — сказал старик, — я совершенно не боюсь коммунистов и очень прошу вас приехать ко мне на дачу, где я расскажу много интересного о нашей неудачной экспедиции. А теперь нет времени, сейчас отходит поезд. И мы простились.

Побывать у Бирича на даче мне не удалось, а потому я не узнал и подробности его путешествия и управления краем, о чём я теперь очень сожалею. Но несколько лет спустя в Сан-Франциско приехала его супруга Пелагея Петровна. Она была в моём магазине «Русская Книга» и вкратце рассказала о том, что очень скоро после водворения коммунистов её муж был арестован и судим за измену Родине. Его в числе нескольких участников экспедиции расстреляли ночью на Эгершельде. Перед казнью старик пал духом и совершенно не мог идти, поэтому его привезли на место расстрела в экипаже.

Так закончил свою полную приключений жизнь Бирич, судьбе которого уделили внимание Чехов, Дорошевич и я, если только мои записки когда-либо появятся в печати.

От Пелагеи Петровны же мне удалось узнать, что Бочкарёв, занявшись грабежом местных золотопромышленников и не делясь награбленным со своей дружиной, был затравлен на одном из приисков собаками и зверски добит людьми. Куда делись его жена и дочь, мне узнать не удалось.

Покидая Владивосток, я в последнюю бессонную ночь вспоминал всю свою жизнь и перечислял правительства, при которых мне довелось жить в России.

Я был верноподданным Государя Александра II, Государя Александра III, Государя Николая II, гражданином республиканского Временного правительства, рабом коммунистического правительства на Урале, бесправным пленным чешского командования, подданным Уральского правительства, Директории, правительств адмирала Колчака, генерала Розанова, Земского правительства Приморья, рабом коммунистического Земского правительства, подданным Коалиционного правительства, Воеводы Земской Рати Дитерихса,

правительства братьев Меркуловых.

И вот теперь превращаюсь в эмигранта, которому придётся подчиняться правительству Китая…

19 ноября 1934 года